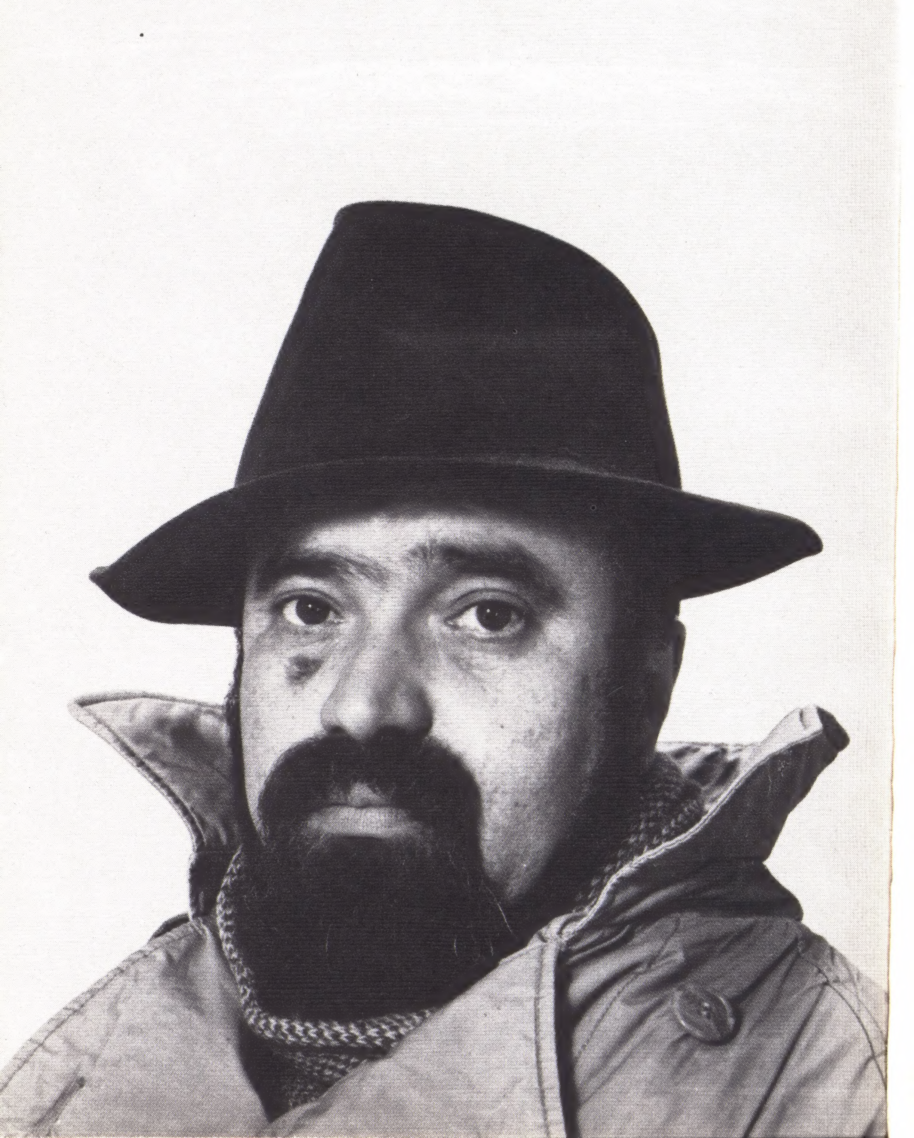
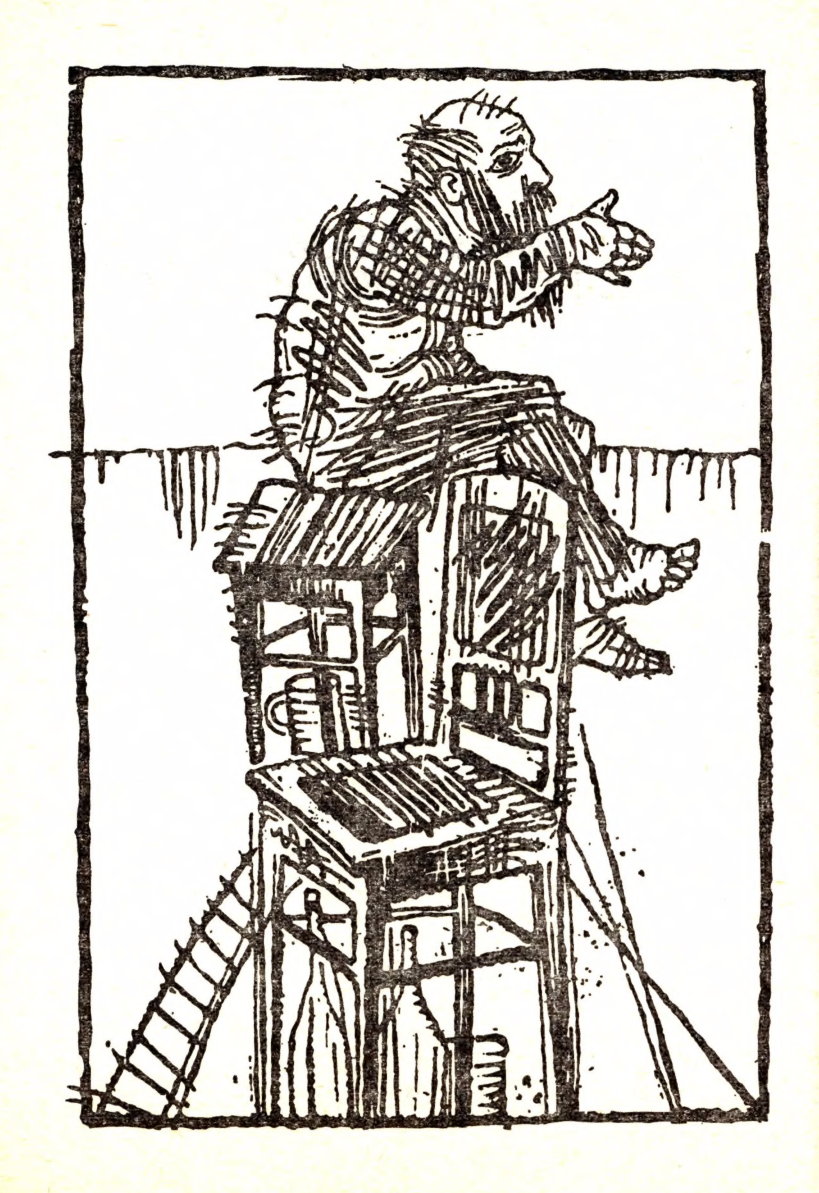
Евгений ПОПОВ

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ





Евгений ПОПОВ
ЖДУ ЛЮБВИ *НЕ ВЕРОЛОМНОЙ*



Евгений ПОПОВ

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ББК 84Р7
П 58

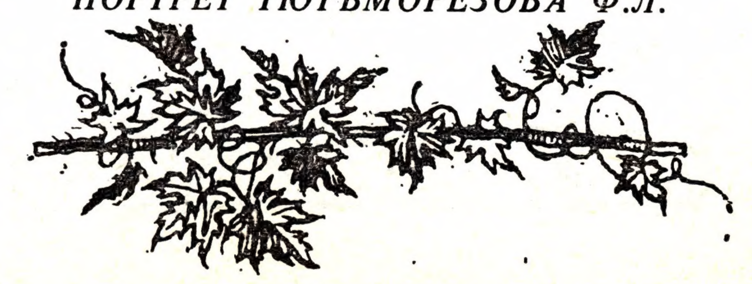
Художник СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ

$$П\ \frac{4702010201-051}{083(02)-89}\ 106-89$$

ISBN 5—265—00613—3

ЖЕСТОКОСТЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
САНИ И ЛОШАДИ
СТИЛЯГА ЖУКОВ
КОТЕЛОК ПОХОДНЫЙ ПРОХУДИЛСЯ
ДОМА ПУСТО
ВОРЮГА
ГОРЫ
ПЕНИЕ МЕДНЫХ
ДЕБЮТ! ДЕБЮТ!
ПРО КОТА КОТОВИЧА
ИВАН ДА МАИРА
ТАМ В ОКЕАН ТЕЧЕТ ПЕЧОРА...
ОТЧЕГО ДЕНЬГИ НЕ ВОДЯТСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА
ПОРТРЕТ ТЮРЬМОРЕЗОВА Ф.Л.





ЖЕСТОКОСТЬ

Рылись в бумагах, опрашивали рабочих, поднимали наряды за прошлые годы, уехали хмурые, парниковых огурцов «на дорожку» не взяли. Груня Котова тормошила мужа:

— Ты чего? Чего? Ты бы хоть в город позвонил кому...

А директор как сел в «газик», так и пустились во все тяжкие. Вместе с тишайшим и вернейшим главбухом Коленькой Николаевым.

Пили на салотопке, пили у рыбаков, в слободе пили. Допились до того, что шофер Степан вышел из машины, бросил ключи под ноги в пыль и ушел, даже спиной не сказав ни единого слова.

— Чует... крыса бегущая! — Директор проводил его тяжелым взглядом.

— Зато я, я — все равно, я всегда с вами, до самого конца,— лепетал Коленька.

Дальше стало уж совсем невмоготу: денежки все прекратились, домой ехать — тошно, и само собой созрело: на выселки, к Ваньке-Клещу.

А у Ваньки-Клеща дом стоял высокий да красивый. Свежий тес белел; бегал, свистя кольцом по проволоке, пес. Дым плыл, и все что-то в доме скрипело, ухало, ныло, посвистывало.

На стук да лай и сам хозяин вышел — плешив, могуч, бородат.

И домочадцы высыпали — баба Ванькина, белоголовые деточки, старуха.

— А что, Ваня, здравствуй, Ваня,— присунулся было бухгалтер.— Как живешь, Ваня? Как, Ваня, твоя химия процветает — не взорвалась еще твоя химия?

Но Клещ, на него внимания не обращая, отнесся непосредственно к директору:

— Приполз, Котов, приполз-таки?

Директор отвернулся. Он и не выходил из машины.

— Приполз, приполз,— не унимался Ванька.— Я знал, что приползешь!

— Да что уж там? Кто старое, как говорится, помянет, тому, как говорится, глаз вон,— снова зачастил бухгалтер.— А давайте-ка мы, милые други, самогоночку твою маленько попользуем, Ваня. На машиночке отъедем к лесу до родничка, ножки в его все положим да и отдохнем маленько.

Так и сделали. А лишь хватили по одной, Ванька завел прежние речи.

— Во, Котов! Крыл! Крыл ты меня на собраниях, тараканил, в сорок восьмом за куль картохи усадил, а нынче и сам получаешься — полный тюремщик!

— Я б тебя и сейчас посадил,— вскинулся директор.— Люди голодовали, а ты добро на дерьмо переводил.

— Вот! Эт-то точно. А только чем ты-то щас от меня отличаешься? Тюремщик. Будущий полный тюремщик! И будут твои Светка с Валеркой обои сиротки при живом папаше-тюремщике.

Директор закрылся ладонями. Когда все это началось? С чего? Как полезли в руки эти нечистые проклятые деньги — уж и не помнил директор. А только и Груня последнее время поговаривала, что хватит, однако, что пора и чур знать, не ровен час случись что — вечный конец.

— Да как же тебе не стыдно, Иван?! Ты совсем потерял чувство реальной меры! — гневно сказал бухгалтер.— А кто совхоз в люди вывел? Ты помнишь, что после войны жрали? А нынче, что ни дом — полная чаша.

— Особливо у директора, дорогого товарища Котова,— осклабился Ванька.— Вы что ж думаете — народ слепой? Народ, орлы, он все видит. Вы пакетами со складу таскали и на машине возили, вот на этой!

Ванька сплюнул.

— Ах, ведь и я уж ему тоже говорил,— вдруг неожиданно заплакал Коленька. И продолжал, всхлипывая:— Осторожней, говорю, ведь правильно? Ведь говорил, Иван Алексеевич? Но я, я — все равно, я всегда с вами, до самого конца.

Ванька встал. Его лицо сияло. Он взял в руки четверть.

— Старые вы, старые,— радостно сказал он.— И жили по старинке и воровать — хватились, когда воровать! Щас и без воровства исключительно жить можно. Вот ты возьми меня! Эт-то ты правда сказал, что я ране добро на дерьмо переводил. Зато щас у меня в аппарате все участвует — и стиральная машина, и холодильник «Бирюса». Весь, братцы, прогресс на меня работает! И это ж стала не самогонка, братцы, это ж стала теперь у меня натуральная слеза, Москву видать!

И Ванька приложил четверть к глазам.

Но видна была сквозь четверть далеко не Москва. Был виден лог широкий, березы, поле, серые крыши и вся родная Сибирь, в которой люди могут и должны жить долго и счастливо.

А только вдруг сползла с физиономии самогонщика улыбка. Клещ отбросил четверть и завопил:

— Иван Лексеич! Родной! Гони, родной! Помогай! Изба, изба моя горит! Ох ти-ти!

Бухгалтер опешил. Директор глядел в упор.

— Что сгорит, то не сгниет,— ухмыльнувшись, сказал он.

— Да Лексеич! Да родной! Век молиться буду! Ноженьки твои целовать! Помогай, родной! — выл Ванька-Клещ.

Но директор молчал. И самогонка булькала.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН

— Дома-то щас будет как непременно хорошо! Катька поварешкой в борще зашурудит. А борщ тот красный, как знамя. Что ж она, лапушка, на второе-то приготовит? Если курочку... или баранинки потушила... с капустой свежей... картошечки туда, помидорчиков — замечательно! Ну, а коли просто яишню сжарила с колбасой — тоже красиво. Господи! За что мне счастье-то такое, простому человеку? Витяха в колени сунется. «Папка! Папка! Давай будем конструктор собирать, луноход на Луну пустим!» Смышленый растет, чертенок, а не избаловался бы на всем обилии. Мы-то в его годы чрезвычайно не так жили. Вечно не жрамши... или хлеба там какого с солью подшамаешь... Господи! И за что мне счастье-то такое? Одному, все одному мне, простому человеку!

Таким примерно образом размышлял направляющийся домой после напряженного рабочего дня честный человек и хороший специалист среднего звена Пальчиков Петр Матвеевич, тридцати семи лет, семейный, как видите.

А дом его, равно как и десятков других семей рабочих и служащих, расположился, глубоко вписавшись в подножие отрогов Саянских, на правом берегу реки Е., довольно далеко от центра, а стало быть, и от места работы Петра Матвеевича, откуда он добирался и трамваем и автобусом.

Вот только и было одно неудобство, что транспорт этот. А так, согласно всем требованиям нынешней планировки и градостроения, имелось у них в микрорайоне решительно все, что нужно современному человеку для жизни полнокровной, интересной, насыщенной в любом отношении.

Судите сами — помимо ванн в домах — всегда парила на морозе прекрасная большая баня с прачечной и приемным пунктом химчистки, про магазины «Трикотаж», «Булочная-кондитерская», «Бакалея-гастрономия», «Рыба» и говорить смешно — тут они, под носом. Неподалеку же — колхозный аккуратный рынок с умеренными ценами, для игрищ и забав — клуб завода резинотехнических изделий, функционировал даже и пивной бар в микрорайоне, а к услугам любителей имелась настоящая музыкальная школа. Да в таком микрорайоне тыщу лет живи — и все помирать не захочешь!

Ну, в пивной бар Петр Матвеевич заходить, естественно, не стал. Там грязно, накурено, кричат. Пьянь какая-нибудь пристанет, вымаливая двадцать копеек. И ко всему прочему — не уважал Петр Матвеевич пиво, хотя и был наслышан о его волшебных свойствах. Что, дескать, оно и того, и сего... бодрит, стимулятор. В сон его и дрему тянуло с пива, а Петр Матвеевич всегда хотел жить, а не спать. Вот он и прихватил в магазине четвертинку. Шел, прихрустывая ледком, по смеркающимся улицам, где в домах уже зажигались желтые огни, и синие горы уже темнели, и небо уже сливалось с ними.

Шел привычной дорожкой, но ее всю страшно разбили ногами, и грязь, несмотря на ледок, кое-где еще не схватилась.

Петр Матвеевич влез раз, влез другой, ругнулся и решил идти по территории музыкальной школы. Там сразу же от штакетника начиналась асфальтовая дорожка и у противоположного штакетника заканчивалась. Там нужно было махнуть через забор, и уж дом — вот он, тут, рядом.

Сам Петр Матвеевич вообще-то не сильно поощрял подобное шастанье по территории школы. И сыну Витяхе наказывал, и дружков его чурал. «Нехорошо, пацаны,— убеждал он их.— Ведь вы уже взрослые мужики, правда? А там затрачен труд дворника. Играйте где-

нибудь в другом месте, учитесь уважать чужой труд, парни...»

Не поощрял. Но тут — уж больно не хотелось окончательно марать в грязи новые коричневые полуботинки. «И по досточкам, по кирпичикам,— шептал Петр Матвеевич,— доберетесь домой как-нибудь»,— напевал он.

И хоть был целиком погружен в заботы о сохранности собственной чистоты, а также в думы о грядущем семейном счастье, но все же вдруг углядел, что окна школы светятся для такого вечернего времени довольно неестественно: все до одного и ярко. Обычно в такое время — ну, одно там, два горят, там, где на скрипочке пилят, либо на пианино бренькают, или еще — разевают рот, а через стекло-то и не слышно, что за песня из него льется.

Любопытствуя, Петр Матвеевич напялил очки и обнаружил близ двери, на белом бумажном листе следующий рукописный текст:

Электронный баян
играет Куджепов
Произведения классики и советских композиторов
билеты продаются

— Билеты продаются! — протянул Петр Матвеевич. И сплюнул в сердцах: — Это ж надо такую чуму придумать — электронный баян! Совсем с ума съехали!

Осудил, но с места дальше не трогался.

Потому что много он в своей жизни видел баянов, и гармоник знал чрезвычайное количество, но вот чтобы это был баян электронный, то уж этого он себе представить не мог при всем старании. А руганью лишь распалял любопытство. Потому и решил все-таки сходить, чтобы на случай чего иметь и на этот предмет свое мнение. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем

сто раз услышать. Кроме того, и семье потом можно будет описать это интересное явление и на работе потолковать о его практической пользе либо вреде. Так что решил все-таки сходить Петр Матвеевич и, расходами не стесняясь, приготовил бумажный рубль.

Однако, войдя в фойе, он увидел, что, во-первых, билеты никакие не продаются, да и кассы-то никакой нету. А во-вторых, из-за белой двери доносились уже звуки какой-то организованной человеческой речи.

Петр Матвеевич сунул шапку в карман, осторожно приоткрыл дверь и оказался на последнем ряду маленького зальчика.

На него глянули рассеянно. Билета никто не спросил, только шепнули «тише», когда он скрипнул стулом. Все слушали человека, стоящего на эстраде.

— Таким образом, дорогие друзья, электронный баян — это очень интересное нововведение в музыке. И мы все надеемся, что наша промышленность вскоре начнет серийный выпуск этих замечательных инструментов, которые мы пока покупаем за границей и, к сожалению, за валюту, товарищи.— Говоривший тряхнул гривой.— Так что не за горами, товарищи, тот день, когда громадное число наших слушателей, любителей музыки, насладится глубокими звуками этого инструмента, который, как я уже говорил, богатством тонов близок в органу и клавесину, совмещая все это с компактностью и даже ординарностью исполнительского мастерства.

Это, по-видимому, и был сам Куджепов. Издали Петр Матвеевич не мог подробно разглядеть его лица. Так, видно было, что человек, видать, уже не первой молодости, с залысинами, несмотря на гриву, в черном костюме, аккуратненький — ну это уж как у них полагается.

Да и баян был как баян. И ничего электронного

в нем почти не наблюдалось. Разве что шнур уползал за кулисы? А так — баян да и баян.

— Надуваловка элементарная,— буркнул Петр Матвеевич.— Это ж надо такую чуму придумать!

А пока бурчал, то все и прослушал. Потому что Куджепов еще что-то сказал и тут же проворно развел мехи.

И вдруг — хватило! Схватило, закружило, понесло, к сердцу подступило, заполонило, ознобило, согрело — сладкая истома, головокружение. Мелодия, и сладкая боль, и молодость, и старость — все вместе!

— Это что такое? — прошептал Петр Матвеевич.— Эт-то что же такое?

— А это нужно знать, молодой человек,— с достоинством ответила ему соседка, сухонькая старушка в очках, подмотанных ниточкой.

— Я не про то. Со мной что такое? — шептал Петр Матвеевич.

— Не мешайте слушать! — рассердилась старушка.

— Я ничего,— смешался Петр Матвеевич.

И вдруг слезы беззвучно потекли по его щекам, и он не стыдился слез, и плакал ровно, совершенно беззвучно, прямо глядя вперед. Расплывались в глазах и зал маленький, и черный музыкант, и инструмент его волшебный. И плыла, плыла музыка.

Петр Матвеевич полез за носовым платком и внезапно наткнулся на четвертинку. И вдруг его такая злоба взяла, что он, окончательно изумив соседку, с места вскочил, потоптался, нелепо махнул рукой, что-то крикнул и пулей вылетел на улицу.

А на улице была прежняя ночь, поскрипывал от ветра фонарь, ровным светом горели жилые окна, все вокруг дышало ночью, тишиной, спокойствием.

Разгоряченный Петр Матвеевич хотел было хряпнуть четвертинку об асфальт, но потом передумал, помрачнел

лицом, решительно надвинул шапку на глаза и пошел домой, не выбирая дороги.

— Господи! Извалялся-то весь, как чушка! Все штанины в грязи! — ахнула жена.— Да где тебя, черта, носило-то?

Петр Матвеевич раздевался молча, но с остервенением.

— Выпил, что ли, с кем? — присматривалась жена.

Тут Петра Матвеевича прорвало.

— «Выпил»! «Выпил»! — заорал он.— Тебе бы все «выпил»! Тебе бы все пить да жрать! Кусочница! Живешь как карась подо льдом! И меня к себе в могилу тянешь? Да ты знаешь ли, как другие люди живут? Что там у тебя седни по телевизору? Штирлиц? Или кто?

— «Семья Тибо». Франция,— упавшим голосом сказала супруга.— Сейчас покушаем, и будем все смотреть.

— Дура! — крикнул Петр Матвеевич, набрав воздуха и повторил: — Дура! Дура!

Жена охнула, а Витька бросил конструктор «Луноход» и всхлипывал, пятясь в угол:

— Папа! Папа! Ты что? Ты зачем маму ругаешь?

— Пошел вон! — затопал на него отец.

А сын уже плакал навзрыд. И тут Петр Матвеевич вроде бы очнулся, вроде бы возвратился в себя. Он медленно огляделся. Дом как дом. Квартира как квартира. Мебель как мебель. Люди как люди.

— Действительно... что-то я это... такое...— он повертел пальцем у виска.— Ты, Катя, не сердись на меня. Накрутишься на этой работе проклятой, надергаешься... Вот сегодня опять: фонды же нам выделили на листовой алюминий, а я на базу приезжаю — нету, говорят. Пока вырвал... Дергают весь день, и сам дергаешься. А тут еще иду, и около музшколы — знаешь чуму какую придумали? Цирк номер два — электронный баян, ты это можешь себе представить?!

— Ну, ты меня напугал, напугал, артист,— облегченно засмеялась жена.— Что, думаю, пьяный он, видать, что ли. Или умом чиканулся, как Мишка, у нас в цехе подсобником который работал...

Петр Матвеевич тоже засмеялся. Они оба смеялись и колотили друг друга по мясистым спинам.

И лишь сынок Витька смотрел волчонком. Слезы на щеках у него уже высохли, но губы были крепко сжаты.

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Брат лежал на тюфяке у самого окна и пытался спать. Оконное стекло преломляло солнечный луч, и он ложился на пол желтым квадратом, граница которого медленно двигалась к бритой физиономии брата. Было утро, и оно обещало такой день, такой жаркий день, какого еще никогда не видел город К., да и вся Сибирь не видела. В такую рань на нашей сонной улице еще не поднялась пыль, не загудели моторы грузовиков, а скрипели пока ставни, зевали девки, собираясь на работу, последним криком горланили петухи.

Брат работал в другом городе, на оптическом заводе, и почему-то привез много лимонной кислоты. Мы сыпали искрящийся порошок в кружки с ледяным квасом, до устали пили квас и обливались пóтом, так как лето стояло жаркое, сухое, безветренное.

Мне тогда тринадцать стукнуло, а брат был здоровый парень и для меня все одно что мужик.

Он приехал в белой рубашечке с отложным воротником, в чесучовых брюках, сандалиях на босу ногу, и я, оробев, поперву звал его на «вы», а потом он дал мне разок папироской затянуться и сразу стал мне от радости «ты».

Он привез еще и подарков много: матери шелковый отрез на платье, сестре белые туфли-лодочки и зимнюю вязаную шапку, «менингитки» их у нас называли.

А мне ничего не привез. Так мне и не надо было, зато он со мной целые дни гулял, а к вечеру, дойдя до одного дома на нашей улице, давал мне рубль и выпроваживал.

Но я за ним как-то подсмотрел и увидел, как стучал он в окошко, и на его стук вышла Люба в белом платье, и они пошли, взявшись за руки и не смотря друг на друга, и долго-долго ходили, так что мне надоело за ними

подсматривать и я пошел домой спать, а ночью светлой услышал, как брат щеколдой скрипит, о притолоку стукнулся, тихонько чертыхается, пробираясь на свой тюфяк.

И было утро жаркого дня, и брат пытался уснуть, а желтый квадрат все подбирался к его бритой физиономии.

И тут я задумал его облить, и пошел набрать воды из огромной бочки, стоявшей под водосточным желобом, крашенным красным суриком. Но когда руку я опустил в бочку, то понял, что вода такая не подойдет, потому что была она теплая и вялая.

И я заставил угодливо склониться длинную жердь колодца — журавля, и та, поднявшись в небо, дала мне полведра воды такой чистой и холодной, что когда я отпил глоток, у меня сладко заныли зубы и струйка, попавшая за пазуху, щекотнула до визга.

Я набрал ковшик этой воды и встал над братом, а желтый квадрат все приближался и приближался к его бритой физиономии. На дне ковшика были видны все щербинки-ржавчинки, я выплеснул воду, и хоть летела она сотую долю секунды, успели поиграть в ней все цвета солнечного луча.

Рысью вскочил неспавший брат и в одних трусах, громадными прыжками кинулся за мной.

Я бежал, сам не зная куда, я раскинув руки бежал, бешено колотилось мое сердце, путала ноги трава, и слепило солнце.

— Ага, попался, гадость! — завопил брат. Он взял меня за ноги и понес. Совсем близко я видел быстро убегающие зеленые травинки и босые ноги брата, а когда с усилием поднимал голову, то видел и синее небо, и край крыши, и свирепую смешную рожу брата.

Он стал совать меня в бочку. Я не сопротивлялся, я открывал глаза и хватал руками зеленую слизь, которой обросли стенки, брат вынимал меня, приговаривая: «Попался, попался, зачем кусался?», и я видел тогда

бурые края бочки и желтый песок, а брат опять меня в слизь, в темноту. В наказание.

Вдруг он бросил меня. Я живо вылез из бочки, открыл глаза и в золотых звездочках света увидел в наших воротах Любу. Она хохотала, светлые пряди волос мешали ей смотреть, она откидывала их, и глаза у нее были коричневые, как и у всех нас.

Брат еще немного постоял остолопом и побежал надевать штаны.

А я к Любе подошел и спрашиваю:

— А чё это вы ходите, за руки беретесь, а не целуетесь?

А она мне говорит:

— Дурак.

А я ей:

— Дай закурить, дай закурить. Жених и невеста поехали по тесто, жених и невеста...

САНИ
И ЛОШАДИ

Тогда нашу улицу еще не замостили, вернее замостили, но не сразу. Сначала не замостили, а потом выложили звонким булыжником, а потом накатились асфальтовые катки, заклокотали асфальтовые чаны. Замазали все, закатали, пригладили улицу и даже стали зимой убирать снег. Вот какие изменения вышли на нашей тихой улочке.

А тогда было лето. Тогда была летом желтая и серая пыль, которую поднимали колеса телег, курицы и пацаньи ноги.

Пыль, где прятались маленькие невидные стеклышки, которые вспарывали пятку, и получались шарики, капли пыли. А кровь густела от желтой и серой пыли, и шла сначала грязная кровь, и она потом густела, и вообще ничего уже не было, и заживало все намертво.

Снег выпадал, и его мяли полозья по прямой, но еще не было скрипа. А лошадка заносила ножки немного вбок, потому что быстро: и горяч пар пасти лошадиной, и спиралька в воздухе исчезает. Изредка полуторка проедет или «ЗИС», а так все больше — сани и лошади.

Сани были разные. Самые любимые мои — трест очистки города — ездили с квадратными деревянными коробками. Внутри труха, грязный снег — ненужное за город. Цепляешься сзади — и спереди не видно, и удобно. И катишь каретным лакеем.

А вот сани «Хлеб» и сани «Почта» — отвратительные. Гладкие, все в железных замках, холодные.

А вот розвальни они такие — середка на половинку: ехать-то можно, а коли заметят, так и жиганут кнутом за милую душу.

Сани, лошадей вижу, а вот физиономии возчиков, кучеров стерлись все. Начисто. Некая обобщенная фигу-

ра. Полушубок. Опояска. Катанки. Шапка. Ватные рукавицы.

И лишь харя одного молодца мне все помнится и помнится. Как живая передо мной мельтешит. И ухмыляется, препаскудная.

Сани были кошевые, от начальника. Из-за угла шли ровно и медленно, хотя конь горячил, дергал башкой, грыз железо. А хозяин вожжу на руку намотал, и «хр-р-р» — конь желтые зубы показывает. «Хр-р-р».

И смотрит кучер на меня и знает, что я уже приспособился, ноги напружинил. И знает, что ни в жизнь не коснусь я его саней, потому что понял, что и он тоже все про меня понял.

И тогда —

а вид его был таков: москвичка — цигейковый воротник шалью, валяные сапоги — в сено по голяшки запиханы, спелая прядка выбивается из-под папахи, а рыло дышит силой, молодостью и красотой —

и тогда:

— Мальчик,— кричит,— а ты цепляйся, я прокачу, чё ты, пацан!..

А я молчу.

— Да ты не бойсь, дурачок, цепляйся, мы прокатимся щас.

Ну, я и цепляюсь, значит, дурачок.

А он коня тогда кнутом.

И — эх несемся мы! Я на запятках, он папаху заломил. Поет «Ты лети с дороги птица».

И от скорости кажется, что сани не по ровной дороге мчат, а по некой волшебной волнистой поверхности. И заносит, и выносит их, а голову опустишь — мельк в глазах, мельк снежно-серый. И ничего не видно.

— Ты лети,— говорит,— с дороги птица...

— Зверь,— говорит,— с дороги уходи...

А потом обернулся да как харкнет мне — прямо в

морду ли в лицо? Не знаю даже, как и назвать это после того, как в него плюнут.

Ну я утерся, и мы дальше едем. Но только я уже со смущенной душой, тоскуя и томясь. Прыгать надо, а страшно. А возчик-то, змей, и не смотрит на меня. И ни «га-га-га» и ни «хи-хи-хи».

А потом обернулся да и еще раз в меня «харк» — и вот это-то и погубило его, неразумного.

Потому что после второго раза я приобрел сноровку и смелость я приобрел.

Ссыпался с саней. Ледышку подобрал, кинул и вдарил точно по мужику. Со страшной силой. И вижу, что точно по башке я ему и заехал.

И тормозит раненый мужик, а я в подворотню. Встречную старушку в сугроб, сам за забор — скок. Пальтишко только мелькнуло. Дрова. Сарай. Затаился в углу.

И слышал тягостные скрипучие шаги, и скрежет зубов, и кашель, и мат, но был умен, тих, неподвижен, а потому и не найден.

А отсидевшись, вышел на ту же нашу улицу и вижу — снег, снег, снежинки новые уже падают, а на старом снегу, комковатом, желтеющем,— красные пятна. И их новые снежинки засыпают, засыпают. Скоро все скроют.

СТИЛЯГА ЖУКОВ

Стиляга Жуков был ребенок,
но джинсы он уже носил.
И всех попавшихся красоток
он с ходу в ресторан тащил.

Из поэзии Н. Н. Фетисова

В один из осенних вечерков 1959-го у нас в школе состоялся вечер отдыха учащихся. И уже с утра в школе чувствовалась приподнятая атмосфера: по-особому звонко звенел звонок, по-хорошему звонко отвечали мы на вопросы преподавателей и даже вахтерша Феня была в то утро на диво трезвая.

И неудивительно! Ведь праздник есть праздник. Все были по-настоящему взволнованы. Директор школы Зинаида Вонифантьевна сказала взволнованную, но теплую речь, а потом начался концерт художественной самодеятельности.

Пелись песни Матусовского и Богословского, разыгрывались сценки и скетчи Дыховичного и Слободского, читались стихи Маяковского, а я исполнил на домре-прима танец из оперы Глинки «Иван Сусанин». Мне аккомпанировал школьный оркестр духовых и эстрадных инструментов: баян, труба, пианино, контрабас. «Наш джаз» — как шепотом называли мы его в кулуарах (в туалете).

— А теперь — танцы! — торжественно провозгласила Зинаида Вонифантьевна.

И началось — кружение вальса, перестуки гопака и плавные переходы кадрили. Танцевали все: сама Зинаида Вонифантьевна с учителем физики по прозвищу Завман, завуч Анастасия Григорьевна, вся в пышнейших кружевах, юные, только что с институтской скамьи учительницы в длинненьких юбках и даже комсорг

Костя Мочалкин, Мочалка, в курточке-москвичке, из нагрудного кармашка которой выглядывала стальная головка «вечного пера». Сыпались кружочки конфетти, вершился бег в холщовых мешках и срезание с завязанными глазами различных конфеток, развешенных на ниточках. Взявшись за руки, шутливо кружились мы в веселом хороводе вокруг наших любимых наставников.

И вдруг все стихло.

Все стихло, потому что в зал вошел стиляга Жуков.

Стиляга Жуков был в длинном пиджаке, с прилизанным коком над лбом, усеянным прыщами. Стиляга Жуков держал за локти двух размалеванных девиц с прическами, выкрашенными желтым.

Троица пробралась бочком и уселась рядком на стулья под стеной. Жуков выпустил локти подруг и поддернул свои узкие и короткие брюки, из-под которых ослепительно и фальшиво мелькнули красные носки.

Все стихло.

— А скажите, Жуков, кто это вас пустил сюда в таком виде? — громко спросила Зинаида Вонифантьевна.

— Тетя Феня пустила, потому что я — ученик,— тихо ответил Жуков, глядя в пол.

— А эти кто, две... особы? — грозно поинтересовался Завман.

— Они — Инна и Нонна. Это — Инна, а это — Нонна,— так же робко объяснял Жуков.— С профтехучилища.

— «Нонна»! — только и крякнул Завман.

— А что, Саша,— криво улыбнувшись, обратилась к Жукову его юная классная руководительница,— твоим папе и маме нравится, что ты ходишь в таком обезьяньем виде?

Тут Жуков смолчал.

— Отвечайте, Жуков! Ведь вас, по-моему, спрашивают?!

Но Жуков опять смолчал.

— Это что же получается, друг? Шкодлив как кошка, а труслив как заяц? — недобро сказал Завман. И вынул расческу и зачесал на темя все свои оставшиеся волосы.

А Жуков и опять в ответ ничего. Зато, к удивлению всех, заговорили его лихие подруги.

— Ты чё тащишь на пацана! — хрипло выкрикнула в лицо директрисе или Инна или Нонна, не разобрать было, потому что обе они были совершенно одинаковые.

Зинаида Вонифантьевна остолбенела.

— «Папа с мамой»! Папа с мамой щас валяются по тюфякам после получки, им нас не нянчить. Ха-ха-ха! — развеселилась вторая девка.

— Господи боже ты мой! — простонала директриса, с тревогой оглядываясь на столпившихся учеников.— Что творится в этих неблагополучных семьях!

— Господи, господи — все люди проспали,— проворчала первая девка. И обратилась: — Жук, а Жук, пошли отсюда, а то развели тут муру!

— Пошли,— согласился Жуков и на глазах у всех поцеловал девку, с готовностью подставившую ему красные губы.

И они ушли. А веселье после некоторой заминки не только продолжалось, но и восторжествовало. Стали играть в «почту» и «море волнуется». Я помню, выиграл картонную дуду.

Но не все играли. За кулисами, у пыльного задника с изображением колхозника, несущего сноп, и сталевара в войлочной шляпе и конника на коне и пулеметчика у пулемета плакала комсорг 9 «а» класса Валя Конь. Одетая в аккуратненькое форменное платьице с беленьким воротничком и фартучком, и с пепельными кудряшками, и с чисто вымытым личиком, и с золочеными часиками на запястье, она плакала на руках у Зинаиды Вонифантьевны, приговаривая ей:

— Ах, Зинаида Вонифантьевна! Ах! Ведь все-таки в

нем тоже есть много хорошего, чистого и светлого. Он лобзиком выпиливает. У него есть щенок Дружок. Не надо с ним так.

— Пойми, девочка,— с мудрой улыбкой говорила Зинаида Вонифантьевна,— мы обычно идем на это как на крайнюю меру. Уж лучше сразу отсечь больной орган, чем позволять ему гнить дальше. Это — полезнее и для тела, и для органа,— с мудрой улыбкой говорила Зинаида Вонифантьевна.

А неподалеку мыкался Завман.

КОТЕЛОК ПОХОДНЫЙ ПРОХУДИЛСЯ

У деды Прони был медный котелок, в котором он варил пшенную кашу и гороховый суп.

Деда Проня очень любил котелок. Он его чистил песком речным, пока в городе не стал кругом асфальт. А потом — пастой «Скаидра» по цене 60 копеек пластмассовая баночка.

И вот надо же — котелок походный прохудился.

Деда Проня налил воды и включил электроплиту, а электроплита зашипела от котелка. И шипела, и шипела, и шипела.

А у деды Прони имелся также телефон. Деда Проня набрал номер под названием «Бюро добрых услуг».

— Алё!

А ему в ответ:

— Бюро добрых услуг.

— У меня... эта... котелок. Надо лудить,— объяснил деда Проня.

«Добрые услуги» сильно задумались:

— Как вы сказали?

— Лудить. Надо лудить. Оне... он прохудился. На донышке дырочка маленькая. Надо лудить.

— То есть вы хотите, дедушка, чтобы мы дырочку как бы заштопали? — добро рассмеялись «добрые услуги».

— Ну.

— Мы этого не делаем. Мы болоньевые плащи штопаем, кожгалантерею. Впрочем, ладно. Оставьте телефон. Я позвоню.

Довольный деда Проня, потирая старые руки, сходил к холодильнику и отрезал кусок рыбного пирога, куплен-

ного в домовой кухне. Пирог он запил кисло-сладким квасом, приобретенным на том же углу из цистерны.

Покушав, сел у телефона и стал дремать, дожидаясь сигналов.

...Старый дом снесли, выделив однокомнатную квартиру. Старуха давно померла. Дети разъехались по белу свету.

Аккуратненький старичок, содержащий себя в полном порядке. Рубашка, штанишки — из прачечной. Оттуда же — свежие простыни. Деда Проня сам нашивал свою именную метку. 3 С 625.

— Ты бы женился, Проня,— говорили ему друзья.— Одному не светит.

— Я не один. Со мной весь советский народ, и прачечная под боком,— обычно отвечал Проня. И глаза его не туманились.

— Помрешь, и никто не определит,— сулили друзья.

— После смерти моя смерть меня не интересует. Давайте-ка лучше споем.

И они запевали — три друга: Проня, Ваня и Николай.

Течет реченька да по песочичку-у,
Золотишко моет...

...Дзы-ынь. Разбудил телефонный звонок.

— Насчет котелка вы звонили? В общем — нигде. Придется вас огорчить. Подобного вида услуг не оказывается.

— И что мне делать?

— А я откуда знаю? Ха-ха-ха. Кастрюлю купите, эмалированную.

— Ты со мной, барышня, шутки не шути,— обиделся деда Проня.

— Вы простите, я так... Старик,— пояснила барышня кому-то шепотом.— Впрочем, попытайтесь на углу Засухина и Кривцова, там есть один, Сеня его зовут.

— Вас понял. Благодарю. Вас понял.

— Я вас давно понял,— бормотал деда Проня, выходя на улицу.

Чистый старик в черном длинном драповом. Укутанный в тепленький шарфик. Черная кепка. 3 С 625.

В мастерской он сразу сообразил, который из них Сеня. Тот сидел в свободной позе, но вид имел деловой. Плотненький молодой человечек с кудрявыми бачками. Нейлоновая сорочка и яркий широкий галстук.

— Сень, а Сень, ты подь сюда,— сказал дедушка.

— Это вы меня? — приподнялся Сеня, беседовавший за загородкой с двумя вальяжными дамочками. Одна шутя била Сеню замшевой перчаткой по волосатым пальцам.

— Если ты Сеня, так — тебя.

— Я — Сеня.

Дамочки не смотрели на просителя. Деда Проня только открыл рот, чтобы сказать дело, но тут вдруг совсем рядом дико рявкнул магнитофон и обоеполый голос взвыл:

А
Я
Жду у моря, жду у моря —
При-хо-ди!

И различные электро- и просто инструменты завыли такими электро- и просто воплями, что у деда зарябило в глазах. Дальнейший разговор с умельцем Сеней выглядел так:

— Ну!

— Чо?

— Ну вот...

— Чо вот?

— Котелок.

— Ну и чо?

— Надо лудить.

— Не.

— Чо не?
— Не можем.
— Денег дам.
— Все дают.
— Выключите вы свиристелок! — заорал деда Проня магнитофонщикам.
Те удивились и выключили.
— Сеня, будь другом, сделай,— тоскливо заговорил дедушка.— Я в долгу не останусь.
— Да ну правда же, дед. Я без туфты. Я правда не могу. И инструмента у меня на это дело нету.
— Точно?
— Без туфты. Я же говорю.
И деда Проня покинул веселую мастерскую, где Сеня немедленно продолжил свои ладушки с замшевой перчаткой.
И довольно долго везде ходил, но не добился положительного успеха. Даже и не обещали: на Русаковской штамповали латунные пуговицы для пиджаков, на Еремина — чинили электробритвы, а в Николаевке вообще — гравировали таблички про покойников.
Деда Проня встал на углу. Народ шел туда и сюда. Мужик нес старый телевизор, завязанный в простыню.
— Ты куда его тянешь? — поинтересовался деда Проня.— В ателье?
— Не,— мужик показал головой.— Сдавать иду, а доплачу — и куплю новый.
— Цветной, что ли?
— Не,— мужик почему-то испугался.— Нам не цветной. Нам на цветной доходы еще незначительные,— нервно засмеялся мужик.
— Наверняка цветной купит, пес,— сказал деда Проня, провожая его взглядом.— А что хорошего в цветном? Разве только что цветной, а так — телевизор да и телевизор.
Так сказал деда Проня и отправился на мост.

А мост — ажурное создание из камня и бетона — соединял новую и старую части города.

Видны были: широкая панорама развернувшегося до небес строительства, и стадион на десять тысяч мест, и купола Покровской церкви, и телевышка «Орбита», и бесконечная отступающая тайга, отступающая, тающая, уходящая.

Под мостом тек Енисей. Он был серый. Енисей тек из Тувы в Ледовитый океан.

— Надо же — столько воды и вся пойдет на дело,— пробормотал деда Проня и, перегнувшись через перила, выпустил котелок из рук.

Котелок летел вниз. Он летел вниз и, ослепительно сияя на солнце, превращался в точку. Он превратился в точку, но вошел в воду с плеском.

Плесь! И нету котелка!

ДОМА ПУСТО

Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

А я поехал в Алдан с целью заработать много денег, чтоб потом мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окраине городка и жили там так, пока не умерла бы сначала она, а потом и я.

Существовал без шума. Если по первому времени работа была для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не замечал. Я канавы рыл в геологической партии, со взрывом. Сначала бурку бурил, потом грунт взрывал, потом кайлом да лопатой углублял, расширял, чистил — забуришься, взорвешь, углубишь, расширишь, почистишь — и готово дело.

Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге, а на самом деле, как многие говорили, зверская эта работа, и многие с нее уходили, потому что — физическое изнеможение каждый день, невзирая на хорошую оплату.

...Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же коммунальном доме, в котором и осталась после одна моя мать, без меня.

Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь такое, эдакое, отличное от всего того, что меня окружало, а окружало меня одиночество матери, люди маленького нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны, отсутствие блистательной родни и книги Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре светового овала настольной лампы милые сердцу страницы и у мальчика ком в горле от неземной нежности.

Ходил по городу, камушки в реку бросал и знал, что все будет не здесь и все будет другое, а когда, где и как, даже и не задумывался и не знал, и никто в целом свете, в том числе и Паустовский, никто ничего не мог мне подсказать.

Ну и вот. Школа.. Вечер выпускной. Бал. Я задыхался. Угостили, плясал чарльстон, который я плясать не умею и никогда, по-видимому, не научусь. Выбегал на лестницу, раздувал ноздри, выкинул даже в окно последние свои школьные стихи — листочек из тетрадочки в клеточку. «Лети, лети! Это письмо в жизнь, а я скоро прибуду сам, я скоро буду, я скоро прибуду следом за письмом своим, я буду умен и важен, я буду на коне, на белом коне, в гриву которого вплетены красные ленточки...» Противно мне это вспоминать.

И потом как-то все не так, не туда: в институт поступил, поучился, заболел, отстал, плюнул, хотя, если разобраться, зачем мне было в инженеры? Поотирался и по различным мелкоинтеллигентным должностям — лаборант, чертежник, коллектор, техник, и все при разных институтах. Надеялся я таким путем, через институты, хотя бы заочный факультет кончить, что ли?

Пока к такому выводу не пришел, к которому все, кто не вылез, не прорвался, рано или поздно приходят, к простому такому выводу, что не будет толку.

А понял я это, когда как-то за полночь центральной улицей домой пробирался. А навстречу мне поток белозубой молодежи. Лет по семнадцати. Гитары они имели и играли звонко, а к нижней губе сигаретка приклеилась, а как одному играть надоест, так он гитару по воздуху приятелю своему перебрасывает, и приятель ровно с того места мелодию продолжает, на котором первый закончил.

Серость моя и незаметность на фоне этого парада новых форм были столь очевидны, что я даже и ночь бессонную проводить не стал, а напротив — хорошенько

выспался и на следующий день хорошенько выспался, и уж через недельку примерно объявил матери, как мы с ней дальше будем жить: что будут деньги и будет домик, свой, домик с двойным одиночеством, и что для этого всего мне нужно немного, но крепко поработать.

Мать моя книжек довольно много прочитала, пока окончательно не разболелась. И хотя книжки в то время, когда она не болела, продавались все больше сейчас неизвестные — без приключений, людских слабостей и всемирного негодяйства, она тоже не хотела видеть меня советским мещанином в собственном домике на окраине, тоже ей нужно было от меня чего-нибудь «эдакого», «такого», ну, в общем, чуть выше, чем папа с мамой жили, поинтересней и чтоб как-нибудь не так.

Ну а уж тогда, когда я на заработки поехал, а она осталась одна в нашем городке, она во мнениях не то чтобы переменилась, а просто, по-моему, их уже не имела, желая, чтобы все стало как-нибудь получше и потише.

Мой поезд уходил вечером, и весь день я угощался и угощал, прощаясь со своими друзьями, которых осталось у меня там не так уж много. И это хорошо, что я о своих друзьях сейчас вспомнил, потому что я люблю своих друзей. Но они — дома, а я — уезжаю, и о чем я буду говорить с ними, когда вернусь? Разверну свиток трагикомических ситуаций геологического типа: про патроны, взрывы, медведей и пресечение незаконных поступков чинами милиции — все те байки, которые рассказывает, вернувшись с Севера, молодой человек моих лет.

Угощался. Угощал. Потом с матерью прощался, крест-накрест целовался, а друзья в коридор вышли покурить — не мешать, а мама все в кровати лежала, болела, а тут встала и на тяжелых ногах вышла на крыльцо, когда я был уже около ворот, и слабо что-то кричала, а я не выдержал и вернулся от ворот назад, когда она уже просто плакала,— волос с проседью, «ну как? ну почему так?». И я еще раз поцеловал, крепко,

в лоб, и тут почувствовали мои губы, что кожа у нее дряблая и больная — от болезней, от одинокой комнаты, от жизни, в которой есть место не для всех живых...

Вот и рассказал я вам основные положения моей жизни до того момента, когда мать моя осталась там, а я жил на Алдане, тихо жил, пообвыкся,— копейку гнал, короче.

Канавы колупал со страшной силой на пару с Федей Александровым — новосибирским бичом. По вечерам дулся в «тысячу», в «кинга», читал случайную литературу, например: «У самой границы», «Тайна белого пятна», «Дон Кихот», «Юность» № 4 и № 5 за 1965 год, разговаривал с Федей насчет мировых проблем — в общем, тихо жил и ни о чем не думал.

Почти все деньги пересылал матери — крупно, оставляя себе лишь на жратву, слабую выпивку и некоторую одежду.

Так вот и жил. Покажется рубль на дне канавном, кайлом его цепляешь да лопатой, а рубль — он то покажется, то исчезнет, а ты, как пес, ковыряешься: все кайлишь да лопатишь, взрываешь да чистишь.

И вот как-то раз обрыдла мне вся хреновина эта, и решил я выбраться в поселок, в цивилизацию, где можно и пива выпить, и кино поглядеть, и в бане помыться, и на почту сходить. Набрал я от начальника денег и прибыл в поселок на казенной машине, утром.

А в поселке тихо. Там кто работает, так тот на работе. Кто пьет, так тот опохмеляется, и пошел я в столовую, где съел яичницу из настоящих яиц, поел, запил и отправился на почту, чтобы оформить очередной перевод домой.

А там сидят уже Даша и Вера — две местные «чувихи с печи», листают журнал мод «Рига — 66», и неизвестный мужик, которого всего аж трясет с похмелья, и перед ним лежит большой исписанный лист бумаги с различными

закорючками, которые являют собой нечто вроде росписи фамилии И. Иванов.

И объяснил мне мужик, заметив, что я очень сочувственно на него смотрю, что он самый и есть Иванов Иван и что «анадысь» он пришел и все заработанные деньги «поклал на аккредитив», а сам был «очень выпимши» и поэтому расписался непонятной закорючкой, которую сегодня он никак повторить не может — уж больно замысловата она, а повторить обязательно нужно — иначе денег «ни грамма» ему не дадут, согласно инструкции, хотя он и есть натуральный Иванов Иван и деньгам своим полный хозяин.

Но меня уже не интересовал мужик Иванов, потому что у меня были свои дела, своя жизнь и свой расклад. Мне перевод оформлять надо было, чтоб потом дом покупать на окраине нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

И во время то, когда я заполнял бланк на отправление, пришла мне на ум одна хорошая идея, которую я немедленно стал выполнять. Дай-ка, я думаю, навыписываю-ка я хорошую кучу журналов и газет самого разного толку, а подписку оформлю на мамашу. На целый год, а то лучше и на два. И ей напишу, чтоб она литературу до странички сохранила. Не подшивала, конечно,— зачем? — а просто так, хранила бы, и все. А я потом приеду, на диванчик заберусь в нашем домике на окраине, заберусь после легкого рабочего дня на той работе, которую я себе выберу, на которую я устроюсь, чтоб меня в тунеядцы не зачислили, заберусь и буду почитывать да покуривать. Ловко? А? А мать в это время будет смотреть телевизор и мне расскажет все, что там происходит, а если что-нибудь будет очень уж такое интересное, так я и сам встану взглянуть, а ужин нам по заказу из домовой кухни принесут, в трех судках.

— На два года,— говорю,— хочется подписаться.
— Только на год,— говорят,— можно.
— А на два нельзя,— говорю,— сразу?
— Нельзя,— говорят.
— А почему,— говорю.
— А мы не знаем,— говорят.
— Ну и ладно тогда,— говорю,— действуйте.

И заказал, так сказать, все ихнее меню.

А потом, покинув почту, я посетил и кино, где мне очень не понравился французский фильм «Бебер-путешественник» — про одного отвратительного балованного французского ребенка, которого нужно было драть ремнем, а все с ним только и знали, что носились и нянчились. Ну ладно. К вечеру я был погружен в казенную машину и доставлен к месту работы, чтоб опять взрывать, кайлить, чистить.

И вот на следующий день утром, сел я перекурить и вижу, что идет Коля Старостин, бич, тот самый, что на гулянках всегда засыпает. Другие шебутятся кто, покоя не знают, а он уже спит в это время — знай храпы выдает. Идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, стонет жалобно так вот: «Ой-ой-ой».

И стали мы с ним беседы вести, и рассказал Старостин ужасную историю, как он шел домой с собственных именин, которые он справлял не у себя дома, а у буровиков, шел и заснул под крестами, что так и спал он нынче под крестами, которые поставлены в память о погибших топографах в устье ручья, на тропинке, заснул, потому что всегда Старостин на гулянках спит, а пробуждение его было ужасным — звезды небесные, кресты под головой, три штуки, кругом ни души и филин еще ухает вдобавок...

А я на него смотрю, и в глазах у меня темнеет. Со страху, что ли, от предчувствия ли, черт его знает от чего.

И действительно — подает мне Старостин телеграм-

му, где черным по белому написано, что мать моя совсем плохая и чтоб я немедленно тут же ехал, как можно скорее.

— ...сплю, и все тут,— сообщает Коля.— Ты меня скоро не увидишь. Я скоро где-нибудь замерзну.

...а я вот сейчас расчет возьму и приеду домой, а дома пусто, а я пойду на кладбище, а сейчас — осень, а там ни скамеечки нет, ни оградки, ни кустика, нехорошо, ветер там на кладбище, вороны над церковью кружат, а у меня больше никого нет и никого не будет, а кто же будет со мной газеты и журналы читать? Все, все исчезло начисто, нету — никого, ничего нету, никого, ничего, и не будет. Никогда.

Забросил лопату.

— Я с тобой, Коля.

— На фига?

— Мать у меня при смерти.

— Помирает?

— Помирает.

— Моя тоже без меня померла. И я помру, и ты помрешь. Эх, Алдан ты мой, Алдан, ха-арошая страна! — запел и закривлялся бич.

— А может, успею? — сказал я.

— Может, и успеешь,— ответил бич.

ВОРЮГА

Как-то раз Галибутаев явился домой, имея во внутреннем кармане телогрейки пол-литра водки.

При нынешних ценах на водку и прочие крепкие напитки мысль о них вызывает горькую усмешку у пьющего, о чем Галибутаев и сообщил своей жене Машке.

А та отвечает:

— Ты много-то не болтай, а садись, будем жрать.

— Цыц, ворюга! — строго прикрикнул Галибутаев и поставил пол-литра на стол. А сам улыбнулся.

И стал умываться, сняв телогрейку, скинув сапоги, размотав портянки.

И босой, умытый, в майке, он сел за стол, где дымились щи и водка глядела из стаканов живыми глазами.

— Да. Водка,— сказал Галибутаев и выпил.

Выпила и Машка.

— Вот ты говоришь «ворюга». Сколько раз тебе повторять, чтоб ты так не говорил. Я — рабочая женщина,— завела она.

— Знаю. Галибутаев все знает. А «ворюга» — это тебе, чтобы тебя одушевить. Поняла?

— Я не знаю,— сказала женщина.

— А ты знай! Я хочу видеть одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не хочу видеть и не вижу. А тебя я хочу видеть в одушевленном виде, поэтому и называю «ворюга». Поняла?

— Воодушевить, что ли? — сказала Машка неуверенно.

— Нет, одушевить. Понимаешь?

Машка обиделась.

— Понимаю. Я понимаю, что я тебя с такими разго-

ворами скоро попру с квартеры. Пошел, пошел! Ишь, одушевленный нашелся...

И с расстройства выпила единым духом еще полстакана.

Галибутаев призадумался. А подумать ему было о чем. В том-то все дело состояло, что он не имел своего угла. А Машка, конечно, жена, но без загса. Так что в любой момент имела право попросить вон.

— Ну, ты шибко-то не хипишись,— примирительно сказал Галибутаев.

— А ведь выгоню,— пообещала Машка.— Вот дети приедут, и выгоню! Ты дождешься.

В том-то и дело, что — дети. Их у Машки было четверо, но две дочки, слава богу, вышли замуж за демобилизованных солдат и куда-то с ними уехали.

Потом Мишка — сын, главная язва. Он работал с Галибутаевым на одном производстве и постоянно допекал его. То спросит какую-нибудь гадость, то толкнет, а то еще начнет заставлять Галибутаева читать вслух газету, зная, что тот газету никак читать не может из-за болезненного косоглазия и малограмотности. Гонял его. Галибутаев язву опасался, но спуску тоже не давал. Баш на баш!

А младшенький Сережка — тот был бы вроде совсем безобиден, ввиду младшего пионерского возраста, но потенциально тоже угрожал Галибутаеву, его любви и квартире, так как, подрастая, тоже начинал стыдиться маминого поведения, о котором знала вся улица.

Покушав, настроение у супругов значительно возросло, и они включили Машкин телевизор.

«Американский буржуазный профессор в данном случае обнаруживает полное незнание основ марксизма-ленинизма»,— сказал диктор.

И — далее. А потом был концерт и кино «Ставка больше, чем жизнь». Про неутомимого капитана Клосса. После чего телевизор кончился и потух.

Потух и день. Кончился день. Кончился и вечер. Наступила ночь, после которой и Галибутаеву и Машке нужно было опять идти и зарабатывать деньги.

— Шалыжки колотить,— сказал Галибутаев, потягиваясь.

— Ась? — не услышала Машка, собираясь укладываться.

— Шалыжки, говорю! Оглохла?! — заорал Галибутаев и вышел на крыльцо.

На крыльце тоже была ночь. Светила полная луна. Белели в темноте сараи. Окна барака почти все потухли. Была ночь, и Галибутаев вернулся домой, в постель. А уж в постели-то он был полный король и хозяин.

— Машка, давай я тебя сегодня как бы изнасилую,— сказал он.

Машка заинтересовалась:

— Это как еще так?

— А вот так. Ты вроде бы сопротивляйся изо всех сил, но по-настоящему, а я тебя попробую шарахнуть.

— Давай! — обрадовалась Машка...

— ...И я набросился на нее, как лютый зверь,— рассказывал Галибутаев.— Сорвал с нее все. А она крутится, а она царапается, а она визжит. Другой бы насильник уже давно отступил. Но не таков Галибутаев. Сорвал с нее все и только хотел, как вдруг она меня как мотанет! И я больно упал с кровати.

— Ну и что?

— А то, что я сломал большой палец на правой ноге. Я упал на палец.

И Галибутаев длинно выругался.

— Ну, а потом?

— Вот слушай.

Утром Галибутаев хромая пришел на работу и, отозвав бригадира в сторону, изложил ему все обстоятельства. Бригадир ничего не сказал, и они пошли работать — разгружать бочки с огурцами.

Бригадир встал с Галибутаевым на погрузку и осторожно-осторожно, очень бережно опустил край бочки на ногу Галибутаеву. Причем даже на левую.

— Ой-ой-ой! — закричал и заныл Галибутаев.— Ой, ноженька моя! Ой, беленькая моя! Ой-ой-ой!

После чего был составлен акт о несчастном случае. Галибутаев пошел в больницу, где ему сделали рентген большого пальца. Рентген полностью подтвердил производственную травму, и Галибутаеву дали стопроцентно оплачиваемый листок о нетрудоспособности.

И Галибутаев пришел домой, где Машка ужасно хохотала, когда он ей все это рассказал.

— Значит, тебе за это дело еще и деньги будут платить? Вот так да!..

— И целый месяц просидел я дома,— рассказывал Галибутаев, блестя глазами.— Я ничего не делал. А с Машкой мы выделывали такие номера, каких больше никто не умеет.

— А потом?

— Что потом? Потом она меня все-таки выгнала. Мишка-подлец вернулся из командировки. Сережа из пионерлагеря. Выгнала, а плакала. Я, говорит, так не могу, а так тоже не могу. У меня все-таки дети. Ворюга! Сломала мне палец! В ней весу знаешь сколько? Девяносто шесть кило. Она меня на десять лет старше.

— Ничего себе!

— Нет, даже не на десять,— Галибутаев стал считать,— мне — тридцать два, а ей сорок три. Стало быть, она меня старше на одиннадцать лет... Все мне отдала,— продолжал он рассказ о своей несчастной любви.— Все, что на мне мое, отдала и даже кожанку своего первого мужика. Он у ней техник был на аэродроме.— Все — и телогрейку, и спецовку, и пальто «ГДР», и валенки, и шапку. Только вот деготь я у ней оставил.

— Какой еще деготь?

— Деготь. У меня была бутылочка дегтю, чтобы ма-

зать сапоги. Я его у ней оставил. Надо будет Мишку попросить, чтобы принес. Или самому сходить.

— А ты где сейчас живешь?

— А я сейчас не живу, а ночую. Я у нас ночую, в гараже. Но мне обещали дать комнату. На территории прямо... А то зима скоро. Я вообще-то зимы не боюсь, потому что она мне все отдала, и валенки, и шапку. А номера мы с ней выделывали — больше таких никто не умеет. Знаешь...

И Галибутаев радостно засмеялся.

Отсмеявшись, он продолжал:

— Одно скажу. Я с детства был болезненно близорукий. За это меня звали косым, и я кончил всего два класса. Потому что не мог учиться. О! Меня тонко нужно было учить! Специальное освещение, определенный час и мое настроение. А где все это взять, если я воспитывался в детдоме?

— Плохо было в детдоме?

— Почему плохо? Он мне и сейчас как родной. Они меня даже к главному глазному Филатову возили, но только тот сказал, что меня привезли слишком поздно, и хотел срывать у директорши с жакета медаль.

— Какую еще медаль?

— А я откуда знаю? У ней на жакете была медаль, и Филатов хотел ее срывать. Вы, говорит, испортили мальчика! А они тут при чем? Они обо мне заботились. Только они не знали, что меня нужно сразу везти к Филатову. Вот почему я и вижу только одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не вижу. А неодушевленный предмет — это все, что написано, и все, что есть вокруг.

— А одушевленный предмет — это была моя «ворюга»! — сказал Галибутаев и более не пожелал со мной разговаривать, считая, что дальнейшие мои вопросы задаются исключительно для того, чтобы над ним посмеяться.

ГОРЫ

Один тихий человек ходил вечерами харчиться на угол Засухина и Семенюка в шашлычную, которая, право, не заслуживала такого высокого названия, а должна была прямо и честно именоваться «шалман». Ибо вечно там крутились бичи, мелкие торговцы с базара, стиляги, спившиеся рабочие и другие гнусные личности, которых никак не возможно будет нам взять с собой в то грядущее светлое будущее, которое уже не за горами.

Да и сам ассортимент, качество пищи в этом мерзком заведении оставляли желать много лучшего. Естественно, что никаких шашлыков здесь и в помине не было, а подавались одни лишь тусклые щи из квашеной капусты да какой-нибудь очередной «хек», преступно жаренный в неизвестном механическом жиру. Отчего дух невыносимого зловония окутывал не только собственно пищевой узел, но и всю примыкающую окрестность, состоящую из шлакозасыпных домиков пригорода большого города. Странно, что районная санэпидслужба до сих пор не зачеркнула этот гнусный рассадник крепкими досками крест-накрест! Удивительно! И свидетельствует о наличии определенных упущений и в этой службе.

А наш тихий человек по фамилии Омикин был отнюдь не какой там искатель развлечений, не спекулянт, не алкоголик, а просто тихий российский человек, оставленный женою за робость и ленившийся в восьмом часу вечера искать какое-нибудь специфичней подходящее для культурной пищи место. Да тем более (не станем скрывать!), тем более что и доходы пока не позволяли ему, заняв приличный столик в шикарном ресторанчике, потреблять что-либо сильней калорийное и умеренно вкусное. Доходы... Возможно, еще и по этой материальной причине бросила Омикина красавица жена.

Случилось все так. Они ехали с женой из центра в переполненном автобусе на передней площадке, где вдруг начал тихо бесчинствовать средних лет юноша-хулиган. Он, небритый и патлатый, сначала как бы и дремал, притиснутый к дверке, а потом очнулся и, обнаружив красавицу Омикину, громко сказал:

— Ах, девушка. Поэзия, звезды, знаете ли вы, что это такое?

Подобное высказывание неприятно поразило тихого Омикина, и он сдержанно обратился к жене, напоминая ей, что завтра настает 19-е число, то есть тот именно день, когда надлежит забрать из прачечной их семейное белье: простыни, трусы, наволочки. Хулиган захохотал нарочитым смехом, а жена Омикина, преисполнившись непонятного гнева, стала как бы отделяться от мужа и отделилась окончательно на остановке, где, когда они вышли, она заявила ему так:

— Я не хочу жить с мужчиной, который не может меня защитить, как женщину, от первого распоясавшегося хулигана.

Омикин-муж робко заявил, что хулиган не совсем распоясался и, может быть, это даже был вовсе не хулиган, а какой-нибудь молодой непризнанный поэт или изобретатель, на что жена презрительно и длинно расхохоталась.

— Трус! Тряпка! — бросила женщина, отхохотавшись. И вскоре от Омикина совсем ушла. Бесповоротно, как следовало бы понять Омикину. Потому что новый ее муж, бывший вдовец — подтянутый, общительный, бравый, служил в каких-то военных частях, имел дачу и трехкомнатную квартиру, постоянно уезжал в длинные командировки. Да и кто ж это от такого замечательного мужа возвратится к старому, пускай и некогда любимому, к бывшему, который — рохля, живет в деревянном обветшалом домике, что все сносят, сносят и снести никак не могут, богатств не имеет и иметь их ни-

когда не будет, потому как — не суждено, энергия не та! Кто ж возвратится к такому мужу! Ясно, что полная лишь идиотка, а ею Омикина-жена отнюдь никогда не была.

Она и за Омикина-то вышла в свое время с прикидом. Поразила ее на фоне всеобщего безудержного хулиганства и лихости странная его мягкость. Он на все еще случающиеся в нашей не совсем совершенной жизни обиды и недоразумения отвечал безоружной улыбкой и мягкостью жестов. А уж когда его особенно припекали, лишь тогда он бормотал:

— Вы знаете, это нехорошо так делать, так нельзя делать, совестно так делать.

И к Омикиной-жене, а тогда невесте с девичьей фамилией Миляева, он не лез грубо и требовательно, а по-старомодному долго за ней ухаживал, водил в планетарий показывать различные планеты и лишь когда-то уже страшно потом сказал ей, глядя в порог общежития:

— Вы знаете, Люся, мне кажется, что я вас люблю. Не согласитесь ли вы стать моей женой?

Так и сказал: «Я вас люблю... Не согласитесь ли вы стать моей женой?» Чудак! Люся сначала хотела рассмеяться и решительно ему что-либо остроумное сказать, но потом глянула на его взволнованное, как бы затуманенное лицо, и что-то смеяться ей расхотелось. Она вдруг подумала, что есть, конечно, у нее и другие, ярче блестящие кавалеры, есть, да все какие-то они... шибко умные... Этот по крайней мере хоть водку литрами жрать не будет, брюки не станет трепать по чужим подъездам. Да и самой обрыдло по общежитиям толкаться. Тем более что и распределение в вечернем техникуме легкой промышленности на носу...

— Я не настаиваю, конечно, на спешном ответе,— несколько скрипуче продолжал он, услышав ее молчание.— Но ведь мы уже немного знаем друг друга, Люсенька. Так что вы, по-моему, уже в состоянии понять серьезность моих намерений.

Ну она и согласилась вскоре. Тайно очень надеялась на свой решительный характер. «Это хорошо, что он такой,— даже радостно думала она.— Я им буду руководить, он вежливый, я им буду руководить, и мы им покажем!»

Но ничего они никаким «им» не показали, да и как киселем руководить? Утекает сквозь пальцы. Омикин по-прежнему ровно служил в экономической лаборатории с окладом 110 рублей, старый дом по-прежнему не сносили, и Люся Миляева-Омикина, дипломированный специалист, стала сильно скучать на досуге. Когда Омикин сидит в мягких тапочках у телевизора и читает какую-нибудь скучную толстую книгу, а она, перемыв посуду от ужина в воде, кипяченной на электроплите, лениво пялится в тот же телевизор, изредка окликаемая Омикиным:

— Ну что, мышонок, спатиньки хочешь?

— Хочу,— зачем-то грубо отвечала она.

— Ой, а что ж ты мне не скажешь,— пугался Омикин.— Ну ты тогда стели, стели, а я на кухню пойду, еще почитаю маленько.

Вот. И, помаявшись определенное время, наслушавшись «спатиньки» и «мышонка», Люся вышеописанным образом взбунтовалась и Омикина окончательно бросила.

Что же Омикин? Его это событие жутко потрясло. Он даже беспомощно и по-детски заплакал, когда она ему о своем решении сообщила и заставила поверить.

— Но ведь это нехорошо так делать, Люсенька, разве я тебя чем обидел? — всхлипывал он.

— Ах, отстань, я сама все знаю,— досадовала она, укладывая в громадный серый чемодан искусственной кожи все эти свои различные флаконы, баночки, тюбики, кофты, рубашки.

— Разве я был тебе плохим мужем? — недоумевал он.

— Ах, да оставь ты! Зачем сто раз мусолить, когда все уже решено,— сдвинув модные, узко выбритые брови, торопилась она.

— Наверное, это я виноват. Наверное, я и на самом деле мало уделял тебе внимания,— повторял он.

Ну как с таким говорить? Сказать, что никто, что все ее подруги так не живут? Купил ты ей хоть раз арабские духи, или колечко золотое, или — в Сочи, в Ялту возил? Денег нет? Так не обязательно воровать, зарабатывай, если воровать не умеешь, вместо того чтобы книжки бесцельные читать или просто торчать в кресле с глупейшим, следует заметить, выражением лица.

— О чем ты сейчас думаешь? — как-то спросила она.

— А? — очнулся он.

— Я спрашиваю, о чем это ты мечтаешь с блаженненькой такой физиономией?

— Я? Да. Ты угадала. Я мечтаю,— улыбаясь сказал он.— Ты знаешь, я думаю о нас с тобой и о том новом светлом времени, которое уже не за горами. И ты знаешь, пускай это вроде бы шаблон, расхожая фраза «не за горами», но мне, знаешь, мне конкретно чудятся эти горы, эти каким-то волшебным чистым мелким лесом покрытые, изумрудные горы, за которыми — тихое светлое будущее, где нет шума, ругани, толкотни, где нет зависти и нет грязи. Где дома крыты красной черепицей, а дорожки посыпаны желтым песком. Где веранды светятся теплым светом и где мы с тобой будем ходить взявшись за руки — вечно юные, вечно счастливые, вечно нежные. Будем гладить тихие цветы, слушать красивую музыку и звон кедровых шишек, будем купаться в синем-синем озере...

— Так и что ты делаешь для этого нашего с тобой светлого будущего? — трясясь от злобы спросила она.

— Почему нашего? — удивился он.— Это — для всех. Это — объективный процесс. А я лишь честно

нахожусь на своем месте, честно работаю, стараюсь и в быту быть честным.

— И много ты за свою честность получаешь? — уже не владела она собой.

— А нам разве не хватает? — улыбался он.— Сытые, одетые, обутые.

И казалось, совсем не замечал ее гнева. А может, и в самом деле не замечал.

Вот она его и бросила, а Омикин сначала сильно затосковал. Он даже выпил однажды сто грамм водки, но она ему не понравилась. Он горевал недоуменно, чтение на время забросил, и телевизор у него на время потух. Он теперь сидел вечерами молчаливый и один, и все перебирал — чем мог обидеть, чем не угодить.

— Мало, мало внимания уделял,— морщась, говорил он сам себе.— За книгами не разглядел живого человека.

Но как-то постепенно успокоился. Ревности он никогда не испытывал. Неизвестный военный был для него фигурой мифической. Он и в мыслях представить не мог, чтобы Люся вот так же раздевалась, все с себя снимала и ложилась рядом с чужим человеком. Это было бы чудовищно и нелепо. Он не знал этого. И постепенно у него как-то в мыслях сложилось, что все случившееся произошло понарошке, временно. А то как же иначе? С кем тогда будет он там, за горами, гулять по счастливым рощам, встречать восход, провожать закат? И постепенно сгладилась горечь, и постепенно жизнь снова возвратилась в нормальную колею.

По-прежнему мягкий и исполнительный сидел он на работе, раз в месяц ездил на могилку к родителям, похороненным за городом на дальнем кладбище Бадалык. И харчился в шашлычной. А вот это он, пожалуй, ошибочно делал. Тут есть его в чем упрекнуть. Надо было или бороться с неправильной шашлычной путем жалоб, либо все-таки преодолеть свою лень и посещать места более приличные, не так уж это и дорого, если не шико-

вать. И в конце концов коли сам варить не умеешь, то брал бы хоть из ресторана на дом, что ли, разом на три дня. Знаете, как это удобно — достал кастрюлю из холодильника, разогрел на плитке — и вечно сыт.

А он в шашлычную ходил. Ходил, ходил и доходился вот до какого жуткого случая.

Как всегда была набита вечерняя шашлычная разудалыми алкашами. Омикин просмотрел на стенке меню, увидел все привычное, выбил чек в кассе, аккуратно счел сдачу — и вот он уже в поисках свободного места.

А место — где его найдешь, место? Там, под пальмой, напиток распивают, тут эти вон затеяли азартную игру в спичечный коробок — нигде нету свободного места для Омикина.

И вынужден был он поставить свой поднос с пищей на свободный край столика двух молодых людей хиппического облика, которые таинственно что-то друг другу сообщали, имея близ ног плоские черные портфели «дипломат», ставшие ныне первым и явным признаком тайного торговца товарами повышенного спроса.

— У вас не занято, молодые люди? — на всякий случай спросил Омикин.

Но они не заметили его вопроса. Они куда-то загадочно сговаривались еще идти, поэтому Омикин, разгрузив пищу, поднос унес на стол для использованных подносов, а по дороге прихватил заодно в буфете бутылочку минеральной воды «Боржоми». Что сделать стало довольно легко, потому что буфетчица продала к тому времени всю свою дневную норму дешевой красной «рассыпухи» и на зеркальных полках стоял лишь один французский коньяк, вокруг которого как мотыльки кружились обожженные ценой пьяницы.

Омикин выпил стакан вкусной воды и споро принялся за ужин, стараясь посильно не вслушиваться

в приватный разговор худых представителей подросшего поколения, потому что разговор они вели отменно гнусный.

Один молодой человек был пошустрее и все больше склабился, а второй, такой на вид слегка туповатый, наоборот — все больше и больше в беседе хмурился, его надо было уговаривать.

— А вот мы щас как туда зарулим, сынок! — лукаво говорил разбитной молодой человек.— Ка-ак зарулим, да ка-ак закайфуем!

— Ну да, замучаешься кайф ловить,— уныло отозвался собеседник.— Пласты не сдали сёдни...

— Дак а завтра сдадим! В натуре! Чтоб я с Дровяного за «Битлов», «Клуб сержанта Пэйпера», полтинник не слупил? Плохо ты меня знаешь, парень!

— Знать-то знаю, а капусты нету, так чего шевелиться? Я — джентельмен, а не кусочник-побирушка, елки!

— Да ты что? — изумился разбитной.— Ты что, Вальку-Щеку не знаешь? Да чтоб Валька мне пузырь, если при капусте, не поставила? Ну, я торчу, я торчу! — блудливо озираясь, зашептал молодой человек.

«Гадость какая,— брезгливо подумал Омикин.— Нет, что-то все-таки нужно делать с нашей молодежью. «Пласты», «капуста» — ведь за этой внешней развинченностью и содержаньице гнилое кроется, что-то нужно делать, определенно что-то нужно делать».

— Эх, Щека! — ликуя, вскричал молодой человек.— Эх и бабенка, даром что с сорок второго года!

— А она кто? — спросил тупой молодой человек.

— Да черт ее знает кто. Муж у ней навроде есть, старый такой, навроде пахана. Вечно по командировкам шустрит.

— Подруга есть? — прямо спросил хмурый.

«Господи, гадость какая»,— опять подумал Омикин и залпом выпил оставшийся боржом.

— Да, она там развела борделю!..— Все более воз-

буждался молодой человек.— Я их прошлый раз фотал. Хошь, покажу? Называется — одна графическая картина.

И он трясущимися руками полез в «дипломат» и вытащил оттуда черный конверт.

— Во дают! — изумился его собеседник.— Ну дают!

А одна фотография и выпала из пакета. Она упала слева от Омикина, так что он невольно углядел ее краешком глаза.

И — умер! Заснувшая, пьяная, совершенно голая валялась ОНА на растерзанной постели.

— Господи! — простонал Омикин, потянувшись к фотографии.

Но молодой человек его опередил. Неуловимо ловким движением он захватил из-под ладони Омикина фотографию и заговорил грубо:

— А ну отвали, козел, старая плешь! Тебя тут просят? Отвали, к тебе не лезут, и ты сиди, кушай, пережевывай пищу!

— Врежь ему по кумполу,— посоветовал хмурый молодой человек.

— Люся это, Люся, моя жена! — стонал Омикин.

— Или давай я врежу,— сказал хмурый.

Но главный молодой человек остановил рукоприкладство, потому что он опять повеселел.

— Да ты чего болтаешь, отец? Ты чего? Ну на, на — посмотри, если хоцца, если уж так хоцца,— подмигнул он напарнику.

Омикин трясущимися пальцами взял фотографию. И точно — мерзкая эта, прежняя картина осталась, мерзкая эта женщина по-прежнему лежала. Но это была совсем не Люся.

— Это ж сама Щека и есть! — сияя сказал молодой человек.— Ну, отец, видать перетрухал, что накрылся твой семейный очаг, с тебя причитается,— обратился он к Омикину.

А тот внезапно ослабел, сел на негнущихся ногах, набрал побольше воздуха, и вдруг его неудержимо вырвало, прямо на эти мерзкие тарелки, на этот заплеванный стол.

— Эй, ты, ты что, ты что? — попятились молодые люди.

А он икал, его трясло, выворачивало, кружило.

— Да выкиньте вы его кто-нибудь отсюда! — крикнул какой-то посторонний тип.

— Да он вроде непьющий,— сказала буфетчица.

— Пьющий, не пьющий, а чего он? — резонно заявил тип.

— Да он, может, больной,— заступалась буфетчица.— Вам плохо, товарищ?

Омикин поднял помутневшие глаза.

— Не надо меня выкидывать, я сам уйду,— забормотал он.— Не надо, я сам.

И поднялся, но вдруг дико вытянулся и закричал:

— Сам уйду, а вы оставайтесь, так и так вас!

Окружающие засмеялись.

— Ну, а ты говорила, что непьющий.

— Да уж и не знаю,— засомневалась буфетчица.

Но Омикин уже ослаб, он шатался и бормотал, вытирая крупный пот грязненьким платком:

— Извините, я знаю, что это нехорошо так делать, совестно, извините...

— Идите, идите отсюда подобру-поздорову, а то милицию вызову,— ласково сказала буфетчица.

Но Омикин уже не слышал ее. Он согнулся, присел, качнулся и медленно повалился на правый бок.

И — умер. В этот раз навсегда.

ПЕНИЕ МЕДНЫХ

29 февраля, в високосный год, он шел по своей улице, где по тротуарам слежавшийся черный снег, шел и, полузакрыв глаза, слушал и слышал томительное и прекрасное пение медных духового оркестра военной музыки.

В открытой машине — весь в черном и красном, в кумаче и бархате — ехал его отец в нелепом горизонтальном положении, ничего не видя закрытыми глазами, не видя ничего, ехал и не ехал даже, а везли его на кладбище, чтобы закопать в холодную, черную землю.

А он был сын, и мать он вел под руку по мостовым булыгам, большей частью вывороченным, вел, просунув руку кренделем и крепко держась за рукав обшарпанного габардинового пальто ее.

Они шли без слез, и за ними шли многие другие, и некоторые даже плакали, а они шли без слез, потому что уже выплакали свои слезы, а человек не есть божья машина для производства слез, и они шли без слез, и время от времени сын встречался с матерью взглядом, и ему было странно, что белая улыбка тихо ложится на белые губы матери, и от этого становилось как-то не так, и он сам говорил себе, что сам придумывает выражение лица матери, потому что так не может быть.

А перед ними машина была, коврами, цветами, бархатом и кумачом изукрашенная, изукрашенная, и поэтому некрасивым, как будто даже и грязноватым чуть-чуть выглядел гроб, в котором лежал его отец.

И он все отвлекался и думал.

Он думал — зачем столько много людей, зачем столько очень много людей собралось тут, чтобы просто пройти и закопать мертвое тело его отца в февральскую мерзлую землю?

Они идут, и они пройдут, и они закопают, и оно будет лежать там одно, пока не станет после февраля весна и лето, и тогда приползут черви, и будут сосать мертвое мясо тела его отца, и сквозь него будет течь, фильтроваться вода, и будут проползать подземные жуки и личинки, и оно будет превращаться само в почву, и скоро станет — да-да-да — почвой.

И он все отвлекался и думал.

Может, похороны это возможность? Возможность, возможность, возможность еще раз доказать, доказать, что все там будем, все будем там, и что — тайна, тайная радость постоять живому около зияющей отверзтой могилы, и бросить горсть земли, и все-таки чувствовать, что ты-то живешь, ты-то живешь, живешь, живешь.

И лишь сладкое и томительное, нейтральное пение медных между живым и мертвым, пение медных, которое можно слушать, эти рыдания труб, полузакрыв глаза — и, когда слушаешь, больше нет ничего на свете, кроме пения медных, пения медных.

И они идут, идут, идут, и начинает сыпать твердый и сухой февральский снег, и белеет серый материнский платок, и не тает снег на лице покойного.

Уныло идут они за побелевшим уже гробом, за белеющими венками, за белеющим кумачом, за белеющим бархатом. И им не кажется даже, что они хоронят самих себя. Нет. Молча и тихо идут они, имея впереди гроб с телом его отца, а сзади толпу и медные духового оркестра военной музыки.

И метель заметет их, и они сгинут в метели, и они станут белые-белые.

Они затушевываются в сечи снега, они размываются в сечи снега, и только пение медных, томительное и прекрасное и рыдающее все еще выворачивает, выворачивает наизнанку душу, вызывая всеобщую боль.

ДЕБЮТ!
ДЕБЮТ!

Несколько дней назад у Леночки напечатали рассказ. В местной молодежной газете, на третьей странице, под рубрикой «Творческий клуб молодых «Кедровник».

Рассказ оказался спорным. Отдел искусства, а в особенности секретариат очень спорили: печатать его или нет. Некоторые утверждали, что в рассказе что-то есть, а другие им возражали.

Леночка, естественно, об этих спорах и разногласиях знала, поэтому не то чтобы уж таким особым сюрпризом, а все-таки очень ее обрадовало, что рассказ вышел, и номер газеты куплен. В количестве пятидесяти экземпляров куплен. Куплен и частично роздан родственникам, знакомым, друзьям. С дарственной надписью автора.

Леночки.

Ничего себе такой рассказец. Там Леночка с нежностью вспоминала школьные годы. И как педагог Л. Н. Адикитопуло привела их однажды в кафе-мороженое, где они ели мороженое. А потом она (Леночка) повзрослела, вытянулась и уже самостоятельно посещала упомянутое заведение, учась в институте и слушая в филармонии волшебника Грига, от музыки которого ей хотелось взлететь и парить над бескрайними полянами. Очень нежный такой рассказец, но имелся в нем, однако, и конфликт. Как-то героиня-Леночка влюбилась и сидела в кафе с прощелыгой из института кино. Прощелыга хвастал, что он везде побывал и знает жизнь со всех сторон. Где он побывал — осталось неизвестным. Леночка об этом не написала, а жизнь он, как вскоре выяснилось, знал только с плохой стороны. Он на Леночкино предложение скушать мороженку мерзко захохотал и стал пить из стакана вино, а Лену напоил шампанским.

И она опьянела до того, что закурила папиросу «Беломорканал», а негодяй тогда приблизил к ней возбужденные глаза и говорит: «Ну?!»

И Лена чуть не пала, но тут перед ними стеной выстроились простые люди: два швейцара, официантка и та, которая моет посуду,— простые люди, знакомые еще со времен Л. Н. Адикитопуло. И Лена вспомнила все: речную ивушку, пионерские костры, белый передничек и запах влажной тряпочки, которой стирают с доски мел. Вспомнила и твердо сказала: «Нет! Никогда!»

Отчего прощелыга смутился, смешался, исчез и спился. А Леночка осталась жить дальше, приобретя некоторую мудрость и горечь.

Короче говоря, вот такая Леночкой была выполнена «задумка». Неплохая задумка. И если кто интересуется поподробнее, то пусть перелистает подшивку местной молодежной газеты за недавние годы. Перелистает и найдет этот рассказ на отведенном для него газетном месте.

Вот. Стало быть, у Леночки вышел рассказец, и они втроем завтракали на прохладной веранде. Лена, ее мама Светлана Степановна и старенькая бабушка Люба, которая во время первой мировой войны участвовала в Красном Кресте и Полумесяце, а после революции знала полярника Папанина.

Завтракали. На столе стояло молочко, огурчики и редиска. Сметана. Омлет фырчал, и болгарская крупная земляника рдела.

— Леночка у нас писательница,— с гордостью сказала мама бабушке, разливая чай.

— Писательница,— согласилась бабушка. И попросила: — Ты, Света, крепкий не пей, а? От него быстро исчезает цвет лица.

— Не бойсь... Не исчезнет,— помедлив и со значением ответила Светлана Степановна. И посмотрела на себя как бы со стороны.

Тело крупных форм. Белое, сдерживаемое купальным халатом производства Бельгии. Цена 35 рублей, и то по блату. Свежа, бела.

— Скажи, Лена, а ты описала действительный случай, который с тобой произошел, или это плоды твоей поэтической фантазии? — заинтересовалась она.

— Плоды,— ответила Лена.

Такая же, как мама,— свежая, белая и юная вдобавок. Русые волосы стянуты в пучок резинкой.

— Писательница — это очень трудная судьба,— учила бабушка.— Некрасов сказал: «Сейте разумное, доброе, вечное». И ты сей. Помни, Леночка, тебя ждет очень ответственная доля.

Но Леночка не слушала старую. Девушка с натугой морщила лобик. И глядела в чашку, где извивалась, свертывалась и расплывалась молочная струйка. Она расплывалась, свертывалась и извивалась. Девушка морщилась.

И мысли тоже — извивались, свертывались, расплывались. Пили кофе. Дима — милый молодой человек, подающий надежды. Учится в университете. Сын хороших родителей. Приезжал на каникулы. Будет журналист-международник, не иначе. Теннис. Провожал. Поцеловал руку. Мил. Дима — мил.

Но вот тот, тот, другой. Ничтожество! Как он смел. Староват, потаскан. Руки влажные. Металлические зубы. Скотина. А может, не скотина? Но почему так странно? И зачем так он? Интересно, он смеялся или говорил всерьез? Ах, что бы мне еще такое задумать? Ведь напечатали, ура! Напечатали. И еще напечатают. Дебют! Дебют! Послать экземпляр Диме.

— Раз видела Серафимовича,— делилась воспоминаниями бабушка.— Помню, это было, по-моему, в Москве. Твой папа Петя, Леночка, тогда еще не родился.

— Да, папа Петя,— вздохнула Светлана Степановна.— Жалко папу! Лена, тебе жалко папу?

— Конечно, жалко,— глухо ответила Лена.— Но сколько раз можно об этом спрашивать? Да и не к месту это.

— Экая гордячка!

Мама подвинулась ближе и обняла доченьку.

— А скажи, Ленок, у тебя кто-нибудь уже есть?

Лена вздрогнула.

— Как это, «уже есть»?

— Ну, молодой человек!

— Есть. Дима. Я тебе о нем рассказывала. Мы переписываемся.

— А-а, Дима. Ну а тот, который в рассказе? Он был?

Лена взбеленилась:

— Сколько раз мне тебе говорить, что того, который в рассказе, не было никогда. Я его придумала. Я никого из института кино не знаю. Ты понимаешь? И в Москве я, как уехали, была всего два раза. И оба раза с тобой, как тебе известно. Понимаешь?

— Понимаю,— смиренно отвечала мама, но в глазах ее плясали огоньки.— Я очень все хорошо понимаю, однако все-таки советую тебе сначала закончить институт. Или хотя бы первые два курса...

— Тьфу, черт. Всё об одном.

— ...он выступал тогда перед большой аудиторией. Я сидела во втором ряду в красной косынке. И вдруг мой кавалер мне говорит: «Люба, я вот что тебе хочу сказать». Мы тогда все были на «ты»...

Но мама с дочкой так и не узнали, что хотел сказать бабушке на «ты» неизвестный кавалер. Потому что тут случилась до крайности глупая история: раздался звон и в стекло веранды влетел красный кирпич, половинка.

Стекло треснуло, стекло рассыпалось, вывалилось и зазвенело. Дорогое цветное стекло, приятные глазу стекляшки: синенькие, красненькие, желтенькие.

Баба Люба и Светлана Степановна кинулись, как

коршунихи, и увидели на улице, около деревьев, некоего мужика, который стоял испуганно, нос имел длинный и кривой, а черную кепку — пятиклинку — снял и держал наотлет.

Баба Люба и Светлана Степановна стали мужика ужасно ругать.

Тот же их слушал-слушал, а потом и сам открыл рот.

— Здравствуйте, гражданочки! Извиняйте, ошибка вышла. Наделал я тут у вас делов. Извиняйте! Если трэба — заплачу, а не трэба, то по совести вставлю новое сам самолично. Поскольку руки имею золотые, как говорит моя жинка. И алмаз есть. Вставлю сам, но не сразу. Сразу нельзя, поскольку такого красивого стекла сейчас сразу не достать. Эт-то нужно время. Сам. Цветное стекло изобрел Ломоносов. Сам. Вставлю.

Золоторукий перевел дух.

— Пьян, мерзавец! — сказала баба Люба.

— Зачем пьян? — обиделся мастер.— Могу показать документы. Пятый разряд. Слесарь.

Женщины ругались.

— А зовут меня Ганя Пёс,— раскланялся мужик.— То есть, конечно, не Ганя Пёс. Фамилия — Петров, зовут — Гена. Но я в пацанах не выговаривал, и когда спрашивали, то получалось Ганя Пёс. Так и пристало.

— Вы почему бросили камень? — спросила Светлана Степановна, трясясь от негодования.

— Тама — белочка,— Ганя махнул рукой.— Тама белочка скакала на сосне, а я ее хотел по калгану. Вот и наделал делов. Промазал я. Извиняйте.

— По какому еще такому «калгану»?

— Ну, по башке, значит,— объяснил Ганя и огорчился: — В нее разве попадешь? Юркая, стерва.

— Шибенник ты. Золоторотец,— сказала бабушка, старенькая, сухонькая старушка в ситцевовм платье и коричневых чулках.

— Нахал,— сказала Светлана Степановна.

«Дима будет журналист-международник,— думала Леночка.— Выйти за него замуж? Но тот-то, тот! Он потаскан, отвратителен. Он лыс ведь, лыс. Если бы это случилось хотя бы в Москве, допустим. А потом, кто он — ничтожество, бездарь. Он ведь смеялся надо мной. Он и над рассказом смеялся».

— Вся беда, что шибко юркая, змеина. Увертливая. Я б попал, и не случилось беды, а вот увлекся и вам по ошибке вмазал.

— Послушайте, что вы тут дурака из себя корчите? Разве вы не знаете, что здесь зеленая зона Академгородка и белок тут специально выпускают, восстанавливая нарушенное равновесие природы?

— Э-э. Знаю. Как не знать,— скривился мужик.— Я сорок лет в Сибири живу, и мой папаша тут жил, и дедушка. Как мне не знать. Я хоть и не академик, как некоторые, а знаю. Знать-то я знаю, а только ведь эта... сама... ну... хочется ведь эта... стукнуть!

И захохотал, повторяя:

— Хочется, ой как хочется!

— Бессовестный, бесстыжий!

— Так ведь все равно кто-нибудь убьет. Не я, так другой. Или съест волк. Придет да и съест. Волков вы тоже, наверное, выпустили. Для равновесия.

Молчание. Тут бабушка:

— Дурак ты, дурачок. Колчужка.

— Эт-то верно, бабуся, эт-то верно,— согласился Ганя Пёс.— Глуп как пень. Колчужка, правильно заметили. Дурак. А я сегодня дома не ночевал,— неизвестно для чего добавил он.

— Твой дом — тюрьма,— не унималась бабушка.

Ганя немного обиделся:

— Ну уж, вы тоже скажете, тюрьма. Я тогда пошел.

— Стой, хулиган! — крикнула Светлана Степановна.— Стой, мерзавец, а кто платить будет?

Но мужик уже ушел. Вернее, он еще окончательно не ушел, но довольно быстро переставлял ноги.

— Стой, хулиган! Стой! Вот же свинья!

— Свинья, свинья. А теперь все нынешние — свиньи. Вот раньше — это жили люди, а сейчас одни свиньи,— высказала свой взгляд баба Люба.

— Мама, не порите ерунду,— разозлилась Светлана Степановна.— При чем здесь это? Вы думаете или нет, когда болтаете? Просто мерзавец.

— А я не болтаю,— наскочила на нее бабушка.— Раньше были люди, а теперь или хулиганы, или горят на работе. Вон мой сыночка, горел-горел да и сгорел. Хоронили с музыкой, а кто мне его теперь отдаст?

Баба Люба заплакала.

— В милицию если позвонить, так где там, сейчас уже не сыщешь,— тосковала Светлана Степановна.— Придется вставлять простое стекло.

А Леночка глядела в чисто вымытый пол и была далеко-далеко.

Выйдет замуж за Диму, и будут жить в Москве, а может, и еще дальше — чем черт не шутит.

Будет квартира, и Дом журналистов будет, и литераторов.

И будет умная трезвая красивая женщина, а потом — ослепительная старуха с белыми кудрями.

Будет все-все-все.

— Леночка, ты что там? Притихла, мышонок. Ты что там? — окликнула мама.

— Ничего,— ответила Леночка, глядя чисто и светло.

— А-а,— сказала мама. И продолжила: — И, главное, нет никакого уважения. В чем дело? Был бы хоть Петя живой. Говорила ведь я ему. И зачем мы сюда приехали?

Ни-че-го. Лысый и противный. Но почему так странно? Дебют! Дебют!

Бабушка плакала.

Глупая история?

ПРО КОТА КОТОВИЧА

Сидели теплой августовской ночкой в душной кухне близ ванной за столом, крытым цветной клеенкой, визави.

— Кошмарно неведомы пути господни для человека! — сказал Гаригозов.— Кошмарно! Нынешние уж настолько совсем растряслись, что и очертания свои потеряли, как при вибрации. Это ж, это ж, ты понимаешь? Это ж ведь горько! Это — страшно! Разве я, к примеру, думал, что она сможет так поступить? — жаловался образованный в местном Политехническом институте Гаригозов другу своему, Канкрину, образованному в том же институте.

А Канкрин сосредоточенно молчал-молчал, а потом хлюпнул носом да и отвечает:

— Совершенно я с тобой, браток, согласен. Вот ты смотри, вот ведь даже и сейчас, в данном конкретном случае, в данном примере: на дворе месяц август, а они взяли и включили батареи. Жарко? Жарко. Душно? Душно. А зачем? А — так. Душно, ну и пусть. Зато — зимой, смотри — зимой. Ведь зимой, браток, ведь зимой будет страшно дуть и начнутся сугробы, а только хрен ты тогда от них дождешься полного теплового накала. Тут сам и смекай — то ли это простая свинская бесхозяйственность, то ли, то ли — вообще... черт его знает что, вообще!

— Правильно ставишь вопрос,— одобрил Гаригозов.— Правильно, хотя и чересчур конкретно. Ты пойми, и я думаю, что ты не станешь тут сильно спорить. Ты пойми, ведь во многом мы *сами* виноваты. Понял? Потому что многое исправимо буквально легко, но нужно лишь не трястись и не вибрировать, а как-то взять себя в руки, что ли, понимаешь. Хозяином себя почувст-

вовать, понимаешь,— своей судьбы, своей семьи, своей работы, своей страны, наконец! Понимаешь?

— Ну, я тогда, однако, уж до конца разливаю, что ли? — сказал Канкрин.

— Ага,— сказал Гаригозов.

И зажурчала, забулькала в зеленые рюмки оставшаяся белая водка. И, выпив, крякнули приятели, нюхнули индивидуальные черные корочки и уставились друг на друга живыми блестящими глазами.

Но — молчали. В молчании этом, происходящем не от недостатка, а от избытка, и прошло некоторое небольшое количество двойного человеческого времени. Пока не вплелись в кухонную капающую тишину какие-то новые звуки: осторожное цапцарапанье некоторое, шуршащие шорохи и даже определенное урчание.

— Ты? — очнулся Гаригозов.— Ты есть хочешь?

— Нет, я не хочу есть,— напряженно отвечал Канкрин, прислушиваясь и клоня голову к полу, в направлении посудного, замечательной резной работы шкафа.

— Я и говорю,— некстати залепетал Гаригозов.— Я и говорю, что о душе́, о душе́ пора подумать трясущемуся этому индивидууму эпохи, человеку, совершенно потерявшему очертания.

— Да,— сказал Канкрин.

— И эпоха тоже совершенно потеряла очертания,— ныл Гаригозов. А человеку свежему, на него глядя, тотчас бы стало ясно, что просто порция ему крепко в голову шибанула и он внезапно запьянел, как это бывает иногда в ночной тиши при тесном общении с горячими напитками.

— Вот так,— итожил Гаригозов.

Но Канкрин его уже не слушал. Канкрин вдруг рывком подскочил, прыжком взвился и вытащил из-под резного шкафа упирающегося и оказывающего сопротивление бедного кота громадных размеров. Ужасная

шерсть виноватого животного дыбилась, зрачок был огромен и горел нехорошим блеском.

— Помидор катал! — возбужденно донес Канкрин.— Ты понимаешь, катал под шкафом помидор. Ва-аська-кот! — запел он.— Ва-аська-кот! Ваську нужно драть!

— Да... э... его можно выдрать,— подтвердил Гаригозов, брезгливо хрустя пальцами.— Тут — ночь, тишь, разговор, а он тут...

И Гаригозов огорчительно махнул пухлой ручкой.

— Ах ты, Васька-Васька! Васька — кот! — все радовался неизвестно чему Канкрин.— Васька-кот! Ваську нужно драть! — все твердил он.

И, услышав такое горькое решение своей одинокой судьбы, измученный Василий тут же героически закрыл свои желтые глаза и безропотно приготовился к истязаниям. И я не берусь смело утверждать, но, очевидно, все же наказали бы его, хоть бы и слегка, но выпороли подвыпившие друзья, кабы... кабы не случилось следующее.

А случилось так, что внезапно на кухонном порожке появилась строгая фигура рослого кудрявого стройного ребенка в черных сатиновых трусах и полной пионерской форме, состоящей из белой рубашки и красного галстука. Некоторое время ребенок молчал и пристально вглядывался в багровые лица веселящихся собутыльников. Потом он кашлянул.

— Пашка? Ну — здорово! А ты что ж это, брат, не спишь? Я когда в твои годы, то я в это время всегда спал. Да еще и при галстуке! Ну смотри-ка ты, какая важная персона в ночное время! — добродушно обрадовался Канкрин.

— А это моего сы́ночку третьего дня в пионеры приняли, так вот он и не расстается с реликвией,— объяснил польщенный Гаригозов. И шутливо скомандовал: — А ну — будь готов, дня — конец, спать иди, стервец!

И вот тут вдруг, к ужасу Канкрина, мальчик и воскликнул звенящим от напряжения голоском:

— Прекрати кричать, папа! И я уже не говорю, что вы с дядей Канкриным можете разбудить своим поведением нашу маму, которая очень устает на работе. Но я скажу, что не вздумайте драть кота Васеньку. Я люблю кота Васеньку и буду с этим бороться. Вы — взрослые люди, вы активно строите и должны знать, что — нельзя! Нельзя терять нравственные ориентиры! Нельзя бить кота, ударять кролика, кидать камнем в птицу!

И он с достоинством вырвал кота из канкринских рук.

— Ах ты, ах ты... Ах ты вон как запел? — побледнел Гаригозов.— Вон ты как запел? Нельзя? А человека мучить можно?

И тут Гаригозов тоже вскочил и выпустил на ребенка град неприличных выражений, на которые пионер с достоинством ничего не ответил, а лишь продолжал глядеть гордо, смело и честно, держа кота близ сердца и пионерского галстука.

Вот какая тут замерла скульптурная группа! И неизвестно, чем бы дело кончилось, но внезапно заходили половицы и на кухню ворвалась заспанная толстенькая веселая женщина средних лет в одной ночной сорочке. Она щурилась от яркого света и близоруко оглядывала присутствующих.

— А вы что это расшумелись среди ночи, товарищи?— певуче сказала она.— Пашка! А ну марш, шельма-пака, в постель, и чтоб духу твоего здесь не было! А ты, Егор, ты неправильно поступаешь, устраивая волнения,— обратилась она к Канкрину.— Что вы бутылочку выпили, я против этого не возражаю, но ты зря устраиваешь волнения, волнуя Андрюшу, да и сам волнуясь. Неужели ты, д р у г, обрадуешься, если он снова попадет в сумасшедший дом?

— Они кота хотели драть,— сообщил мальчик.

— Ко-та? Ну вы даете, артисты! — расхохоталась женщина.— Нет, вы на этот раз точно в шизарню вдвоем угодите. И потом — Андрей! Андрюш-ка! Ты ж помнишь, что ты нам с Павликом обещал? Помнишь, а? Не пи-ить!

— А ну, ты че это тут расхипишилась? — злобно сказал Гаригозов.— В какую такую шизарню? Шизарню ты, это дело, оставь, я знаю, для чего тебе моя шизарня! А только врач Царьков-Коломенский сказал, что пьянство надо спускать на тормозах, а не с ходу обрывать. У нас была пара, мы их и выпили. А кота мы все равно будем драть, потому что он катал помидор. Выпорю я также и Павлика, потому что нельзя так разговаривать с родным отцом. А тебе я набью морду, потому что, пока я лежал в больнице, ты путалась с официантом из «Севера». Скажешь, не так?

— Конечно, не так,— искренне не согласилась женщина.— С Сережей мы просто знакомые. Он, кстати, женатый человек. Павлик тебя любит. А кота? Да зачем же драть кота-то? — изумилась женщина.— Совершенно незачем его драть! Давайте-ка мы лучше завяжем ему на шее красивый красный бант и спляшем все вокруг него веселый танец!

Гаригозов с Канкриным и застыли, раскрыв рты.

— Ну и мамка! — пришел в восторг мальчик.— Видать, тоже со своим дядькой Сережкой тяпнули двести — триста!..

— Цыц! — строго и вместе с тем шутливо сказала Евдокия Апраксиевна, ибо она в это время уже ловко обрядила Василия в уже упомянутые одежды. Кот шипел, но потом, купленный блюдечком молока, стал это молоко ловко прихлебывать.

А они, взявшись за руки, закружились в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного. Запевала мама:

— Мы споем, мы споем про Кота Котовича...

— Д' про Кота Котовича, д' про Кота Петровича,— вторили Гаригозов, Канкрин и представитель грядущего поколения.

И они тихо плясали в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного, эти тихие люди громадной страны. Им было пусто, им было душно, им было хорошо, им было весело. Канкрин вывернул коленце. Гаригозов топнул ножкой.

— Ну скажи честно, стерва! Спала с официантом или нет?

— Тихо,— сказал мальчик.— Тихо, а то соседи снизу будут шваброй стучать.

— А вот мы их! — сказал Гаригозов.

И была ночь, и погасли на улице фонари. Гаригозов провожал, спотыкаясь, Канкрина по темному подъезду.

— Какая, брат, пустота! — хрипло шептал он.— Пустота-то ка-кая, брат! И зачем мы только в институте учились?

Но Канкрин с ним не соглашался и приводил в ответных речах множество аргументированных примеров.

ИВАН
ДА МАЙРА

Гремел огнями и музыкой пышный бал случайного общества, собравшегося как-то раз вечерком в ресторане «Север».

Пили и ели. Пили и ели за деньги. Чокались, наливали и гремели — бесплатно. Бал!

Некоторые сидели за столиками уж очень это такие важные-важные. Другие сидели не менее важные и вдобавок — деловые. А третьи просто сидели, не зная, зачем они сюда пришли.

Порхали официанты. Летали, как птицы,— лысоватый Боря и быстроногие девушки, одна из которых — красавица: волос черный, глаз острый, в ушах длинные серьги, носила чудно́е имя Ма́йра. О Маире речь пойдет ниже, настанет еще черед.

А публика-то, публичка! Какое разнообразие имен, речей, костюмов и причесок!

Один носит плешь, другой — тюбетейку, потому что приехал из Ташкента продавать на базаре огурцы.

Один одет в костюм за 150 рублей и имеет 150 кг весу, другой — тощ как игла, а костюм все равно хороший.

Одного зовут Арнольд, а другого — Ваня. Ваню запомните. О нем речь пойдет, и тоже ниже.

Конечно же! Конечно! Конечно, и оркестр тут. С опухшими лицами исполняет что-то такое, где-то как-то немножко волнительное в своей потасканной свежести.

— Ну, мы еще немножечко нальем? Верно? — говорит сосед соседке.

— Ты закусывай, закусывай,— убежденно убеждает она.

Эх, уж и ноченька будет, накушавшись шашлыков да цыпляток!

— Вы знаете, я так люблю! Я раз тут был на кухне,

так Дорофеич «табака» готовит только сам. Сам! Дорофеич лично сам готовит «табака»!

— Конечно, сам готовит, три пятьдесят порция!

— Вы представляете, там такие раскаленные диски, между ними Дорофеич готовит «табака».

Ай да Дорофеич!

— Позвольте разрешить предложить вам потанцевать?

— Ну если вы так настаиваете..

И танцуют. Да, танцуют. Я сам видел. Дамы и граждане так это лихо выделывают, что — зависть. Да-да. Просто зависть берет неумеющего, глядя на их сложные па, прыжки, проходы, приседания.

Коленкой вперед, пяточкой назад. Молодцы!

И вот, находясь в подобной обстановке, уже упомянутый Ваня наконец-то понял, что пришла пора оставить заведение, ноги не держат. Он тогда взял да заснул.

Спит себе, положив лицо на кулаки. А перед сном все-таки рассчитался. Аккуратист.

Ну, Маира к нему и подходит. За плечо. Дескать — ступай, ступай! Нарезался. Хорош. Вали, вали, уступи место товарищу!

За плечо. А Ваня тут глазоньки открыл, а потом зажмурился и белесыми ресничками — хлоп-хлоп-хлоп.

— Извиняюсь. Я тут эта... Я тут — ничего?

— Ничего-ничего,— успокаивает его деловая Маира, страдающая о монетках.— Ничего, а только всё — хватит.

А тут, как назло, музыканты ударили в инструменты и заиграли любимую Ванину песню «Не жалею».

Конечно же! Конечно! Заиграли! И в голосе певца слышалось такое рыдание, что казалось — он поет за деньги последний раз в жизни.

— Ну, музыку-то хоть можно послушать?

— Перебьешься. Не сорок первый. Иди, отдыхай!

— Я ж и так отдыхаю.

— Нет. Все. Ступай.

И собирается Маира пальчиком манить швейцара дядю Ваню, чтобы тот своего тезку вышиб за дверь, а только тезка благоразумен.

— А я чего? Я — ничего,— говорит он и лезет в карман.

Спрашивается, зачем. А вот затем, что Ваня, все попутав, решил еще раз заплатить. Не разобравшись, что к чему и по пьяненькой своей лихости не желая ничего помнить. Что, например, он причитающиеся пятнадцать пятьдесят уже выложил и даже позволил не отдать себе полтинник сдачи.

— Сколько с меня? — задал вопрос Ваня.

Вот здесь интересно бы вам посмотреть на Маиру. Она так это глазками подведенными стрельнула вокруг, но колебалась недолго:

— Харчо ел, коньяк пил, салат «Столичный», тыр-мыр, тыр-пыр. Пятнадцать пятьдесят.

А Ваня, уже разворачивая мятые рубли, внезапно обнаружил ужасную недостачу. А именно: пятнадцать рублей наличествуют, а пятидесяти копеек нету.

Маира тогда сразу ушла. К другим столам — прибирать, носить. Сказала «пятнадцать пятьдесят» и ушла. Чего ей ждать? Смотреть, что ли, как Ванькины бумажки, пересыпанные выкрошившимся табаком?

Иван же похолодел. И поскольку в ресторанах, демобилизовавшись из армии, был новичок, то придумал ужасные вещи: как его сейчас, вполне возможно, будут бить, а потом сообщат на домостроительный комбинат, что их работник шарашится по кабакам и питается задарма.

«Господи Иисусе! Вот так влип!» — пронеслось в голове.

— Девушка,— слабым голосом позвал он.— Эй, девушка!

— Да...— Маира тут как тут.

— Не. Я. Вы не подумайте. Я — сейчас.

И Иван понес такую ужасную чепуху, что Маира была вынуждена отойти в сторону, чтоб ее подлости столь явно не бросались в глаза на фоне наивного Ивана.

А тот обратился к какому-то угрюмому человеку, который только что пришел и сел за Иванов столик, развернув газету. Не зная начала истории. Видя лишь одно ее неприятное продолжение.

— Скажите, они могут поверить, допустим, что я завтра принесу?

— Не знаю...— Угрюмый смотрел нехорошо.— Не знаю, не знаю. А вообще-то не рекомендуется ходить по подобным заведениям, не имея денег,— тихо научил он и опять взялся за газету.

От таких слов Ивану стало холодно. Он поднял голову, и уши его затопил каскад звуков, и зрение его помутилось от пестрого мельканья костюмов. Весь ресторан плясал казачка́.

Оп-ля, оп-ля! Старые тетки поднимали руки, вспоминая лезгинку.

— Ка-за-чок! — хором скандировали музыканты.

А некто толстенький, желая крутануться на триста шестьдесят градусов, крутанулся всего лишь на триста пятьдесят, отчего и упал, но был немедленно поднят и снова пустился в пляс.

Дела... Иван хотел бы умереть. И даже мысль мелькнула — а не мотануть ли отсюда быстрым ходом?

Которую сразу же отогнал, как опасную и уголовную.

Тут выручила Маира. Она подошла и смягчилась.

— Ладно,— сказала Маира.— Ладно. Завтра принесешь.

— Полсолянки, филе, бутылку минеральной, пятьдесят коньяку,— заказал угрюмый. И тихо посоветовал:— Зря вы, девушка, поважаете алкоголиков. Учить

их надо, учить! Вы думаете, он вам завтра принесет? Ждите.

Иван хотел лезть в драку, но Маира его удержала.

— Да я! — кричал Иван.— Да я! Ах ты, дешевка! Чтоб я не отдал? Да я — рабочий человек. Я премию получил. Я могу часы оставить, если девушка не верит...

— Верю, верю,— сказала Маира.— Верю всякому зверю.

Иван рвал из кармана паспорт, а паспорт тоже весь был в табачных крошках. Газетный человек притих.

— Смотри!

—Мне это вовсе ни к чему. Еду из Норильска отдыхать, а тут разводят скандалы. Что тут у вас происходит, девушка?

И не посмотрел. Не любопытный попался норильчанин. А посмотрел бы, так на него глянул строгий и округлый Ванин лик, размером 5 на 6 см, и широкие плечи, украшенные ефрейторскими погонами.

Не посмотрел. Притих. Рассердился.

И тут опять выручила Маира.

— Ну ты. Не базарь. Я тебе верю. Все. Ступай. Отдашь. Не завтра, а через два дня. Я завтра не работаю.

Иван стал вытирать глаза, потому что он уже плакал.

— Спасибо за доверие,— хлюпал он.— Я его оправдаю. Ты не замужем?

— Ступай, ступай, жених!

— Спасибо за доверие.

И, окончательно ослабев, поддерживаемый дядей Ваней, был выдворен на улицу. С улицы он стучал в окошко и делал умоляющие, приветственные и обещающие принести денег знаки. И слезы струились по его щекам. Да, слезы! И нечего над этим смеяться. Он плакал, потому что знал — сейчас можно, сейчас — время. Маира — человек. Ваня был счастлив.

А Маира вдруг что-то загрустила и стала очень злая. То есть все про нее всегда знали, что девушка

она добрая и лишнего злого слова никогда никому не скажет. А тут поругалась из-за вилки с товаркой Аней. Ни с того ни с сего нахамила норильчанину, и тот даже хотел писать жалобу, от какового экстренного поступка его долго отговаривала метрдотель Марья Михайловна.

Отговаривала, а Маире потом сказала:

— Ты смотри, Маира. Чтоб это было последний раз. Не дома. У нас ресторан первого разряда.

— А чего я? — огрызалась Маира, вспоминая плачущие Ванькины глаза.— Я чего? Я ничего.

И подумала:

«Брошу «Север» к свиньям. Обнаглеешь тут совсем. Подамся в стюардессы. Летчики на руках носить будут».

Все правильно...

Ванькины плачущие глаза...

А сам Ваня через два дня никуда полтинники отдавать, конечно, не пошел. И не потому, что был жулик. Он просто-напросто многое забыл, в том числе и полтинник.

Он сидел трезвый на казенной койке общежития и ругался.

— Ты представляешь? Что ни вечер, то — гуляют... И в будни, и в красные дни. И шампанское жрут, и коньяк. А ты знаешь, сколько стоит в кабаке коньяк? Ужас! А им хоть бы хрен. Интересно, откуда эти гулящие деньги берут? Ну, допустим, кто с огурцами из Ташкента, этого я понимаю. Ему без кабака нельзя. Или я с премии... Ну, а остальные? Ведь не может же быть, чтоб они все были из Ташкента или все враз получили премию? Правильно?

— Переживаешь? — посочувствовал сожитель, низкорослый плотник Куршапов, наигрывая на гитаре.— Много прогудел, что ли?

— Не в этом дело,— сказал Иван, покривившись.— Дело в том, что будь я, например, мильтон, я бы сразу непременно первым делом пошел по кабакам и спраши-

вал прямо: «Откуда у тебя, паразит, деньги? Ах, не знаешь? Еще раз спрашиваю: откуда у тебя деньги? Не знаешь?» Тут я цепляю на него кандалы, и — копец!

— Меня с собой зови, а то один устанешь цеплять,— попросился Куршапов.

— Тоже верно. Устану,— согласился Иван и снял носки, собираясь ложиться спать.

— Тоже правильно,— бормотал он, засыпая.

— Правильно! — вскрикнул он во сне.

И Куршапов сыграл ему тихую колыбельную.

Все правильно...

ТАМ В ОКЕАН ТЕЧЕТ ПЕЧОРА...

— Вот же, черт, ты скажи — есть справедливость на этом свете или ее совсем нету, паскудство! — ругался проигравший битву с крепкими картежными мужиками неудачливый игрок, бывший студент Струков Гриша, тридцати двух лет от роду, обращаясь к своему институтскому товарищу Саше Овчинникову, когда они возвращались глубокой ночью от этих самых мужиков в Гришин «коммунал», где Овчинников хотел переночевать, так как явился он из Сибири, определенного места жительства в Москве пока не имел и квартировал далеко за городом, у тетки.

Цыкнув на соседей, которые, недовольные поздним визитом и грохотом отпираемых засовов, выставили в коридор свои синие морды, Гриша с Сашей оказались в струковской узкой комнате, основным достоинством которой являлись специально сконструированные полати, куда вела деревянная лестница и где еще совсем недавно, подобно неведомому зверю, проживала под высоким потолком старенькая Гришина теща. Пока Гриша окончательно не расстался со своей Катенькой по причине вскрывшихся ее отвратительных измен. И пока Катенька, проявляя неслыханное благородство, не выписалась честно с Гришиных тридцати метров и не переехала к «этому настоящему человеку», прихватив с собой и прописанную в городе Орле «мамочку».

— Нет, это мне не денег жалко,— заявил Гриша.— Хотя мне и денег жалко, но в гробу я видал эти двадцать рублей,— бормотал Гриша.— Но что тот левый козел мог меня пригреть на пйчках, так этого я, по совести, ни от него, ни от себя никак не ожидал. Скажи, друг, у вас в Сибири бывает такое свинство?

— У нас, Гриша, в Сибири все бывает,— сказал Саша, зевая.— У нас вон ломали на Засухина дом и там нашли горшок с деньгами от купца Ерофеева, и через этот горшок сейчас одиннадцать человек сидят, потому что они золото не сдали, а напротив — принялись им бойко торговать, возрождая на улице Засухина капитализм. Вот так-то...

— Ух ты черт, кержачок ты мой милый,— обрадовался Гриша.— Вот за что я тебя люблю, дорогой, что вечно у тебя, как у Швейка, есть какая-нибудь история. Хорошо мне с тобой, потому что ты еще не выродился, как эти московские стервы, падлы и бледнолицая немочь.

В стенку постучали.

— Я вас, тараканов! — прикрикнул Гриша. И продолжал:— Веришь, нет, а боятся меня — ужас! Я по местам общего пользования в халате хожу, а им — ни-ни! Запрещаю. Нельзя, говорю! Не-льзя! И — все! Некультурно! Они меня за то же самое и боятся, за что я тебя люблю. Я ж с детства по экспедициям. То у меня нож, то у меня пистолет, то я тогда медведя на веревке из Эвенкии привез, и полтора месяца он у меня отпаивался — соской, водкой, чаем.

— Медведя? — оживился Саша.— Я в Байките — аэропорту — тоже там когда ночевал, то там лазил медвежонок между коек, маленький такой, совсем с кошку. Цапнул одного дурака, он пальцами под одеялом шевелил. Тот ему спросонья переломал хребет. Мы все проснулись, взяли гада, раскачали хорошенько и выкинули в окно. Летел вместе с рамами...

— Хребет сломал? А медвежонок что? — заинтересовался Гриша.

— Что... Подох. Он же, ему же несколько дней всего и было. А гада потом вертолетчики посадили в самолет и говорят: «Мы тебя, вонючку, административно вы-

сылаем, пошел отсюда, пока самому костыли не переломали».

— Вот же хрен какой,— опечалился Гриша.— Это ж нужно — беззащитного медведя! Стервы, есть же стервы на белом свете! Вот Катюша моя была, например,— это уж всем стервам была стерва! «Знаешь, милый мой, если ты — мужик, так и бери себе мужичку! И потом, если б ты меня хоть немного уважал, ты бы не вел себя как скотина». А я ее не уважал? Старуха год на полатях жила — я хоть раз возник? А то, что я пью, так я не запойщик, я нормальный. Пью себе да и пью. Вот так. И пошли-ка они все куда подальше...

— Стервы. Это верно,— равнодушно согласился Саша, прицеливаясь к полатям.— Не могу тебе возразить, друг, сам неоднократно горел. Сейчас вон — еле выбрался.

— Слушай, а ты помнишь эту харю? — внезапно разгорелся Гриша.— Ты помнишь, у нас на курсе ходила одна стерва, у ней еще ребенок был, она все всегда первая лезет сдавать и говорит: «Мне маленького кормить надо».

— Ну,— сказал Саша.

— А-а, ты ведь у нас появился на втором, так что не знаешь всех подробностей. С ней до всех этих штук ходил несчастный этот... Клоповоз... Клоповозов, что ли, была его фамилия. Или Клопин? Не помню...

— Неважно,— сказал Саша.

— Вот. И она раз подает в студсовет на него заявление, что, дескать, тити-мити, скоро будет этот самый «маленький», а что он, дескать, не хочет на ней жениться, хотя он у ней был «первый» и всякие такие по клеенке разводы. Прямо так все и написала в заявлении...

— Ну и дура,— сказал Саша.

— Да, конечно же дура! — вскричал сияющий Гри-

ша.— Потому что собрался этот студсовет, одни мужики, и спрашивают ее эдак серьезно — опишите подробно, как это было! Ну, умора!..

— А она что? — заинтересовался Саша.

— А она опухла и говорит: «То есть как это «как»? «Ну,— говорят,— расскажите как. Во сколько он к вам, например, пришел?» — «В десять вечера»,— говорит. «А не поздновато?» — спрашивают. А она: «У нас в общежитие до одиннадцати пускают...»

«И вы,— говорят,— до одиннадцати успели?»

«Успели»,— она отвечает.

«А что так быстро?» — один говорит.

«Стало быть, он правил посещения общежития не нарушил?» — другой говорит.

«Нет, товарищи, вы посерьезнее, пожалуйста,— стучит карандашом по графину третий.— А вы не отвлекайтесь от темы. Вы лучше расскажите, как было все».

— Да то, что она не выдержала этого перекрестного допроса и свалила, несолоно хлебавши. Но...— Тут Гриша значительно погрустнел.— Бог — не фрайер. Клоповоз в Улан-Удэ схватил какую-то заразу и совсем сошел с орбиты. Говорят, он в прошлом году помер. Или в окошко выкинулся. Хотя, может, он и не помер и в окошко не выкинулся, но все же он с орбиты сошел, так что верховная справедливость оказалась восстановленная.

— А ты считаешь, что была допущена несправедливость? — хитрил Саша, любуясь Струковым.

— А как же иначе,— уверенно сообщил тот.— Форменное же издевательство над девчонкой, несмотря на то что она — тоже стерва. Нашла куда идти и кому рассказывать. А бог — не фрайер, вот он и восстановил баланс. Эта теперь маленького в музыкальную школу водит, а Клоповоз в гробу лежит.

— Ну уж, это неизвестно, кому лучше,— вдруг сказал Саша.

— Нет уж, это ты брось и мозги мне не пудри,— сказал Гриша.— Философия твоя на мелком месте, как, помнишь, всегда говорил тот наш идиот-общественник, старый шиш?

— Помню, помню,— вспомнил Саша.— Я еще помню, помнишь, он к нам когда первый раз пришел в пятую аудиторию... в зеленой своей рубашке и, нежно так улыбаясь, говорит: «Ну, ребятки, задавайте мне любые вопросы. Что кому непонятно, то сейчас всем нам станет ясно».— «Любые?» — «Любые». И через десять минут уже орал на Егорчикова наш мэтр, что он таких лично... своими руками... в определенное время... на крутом берегу реки Аксай. Красивый был человечище!

— Да уж,— хихикнул Гриша.— Задул ему тогда Боб. Я и сейчас помню вопросики эти, вопросы что надо, на засыпон. Этот орет, а Боб ему: «То, о чем я спрашиваю, изложено, кстати, в сегодняшней газете «Правда»...»

И вдруг страшно посерьезнел Гриша.

— Знаешь... понимаешь,— внезапно зашептал он, приблизив к Саше думающее лицо.— Мне кажется, что... что разрушаются какие-то традиционные устои. Понимаешь? Устои жизни. Как-то все... совсем все пошло вразброд. Как-то нет этого, как раньше... крепкого чего-то нет такого, свежего... Помнишь, как мы хулиганили? А как с филологами дрались? А как пели?

Там в океан течет Печора,
Там всюду ледяные горы,
Там стужа люта в декабре,
Нехорошо, нехорошо зимой в тундрре́!

В стенку опять застучали, но Гриша даже и не шевельнулся.

— А что сейчас? — продолжил он.— Какие-то все...

нечестные... Несчастные... Мелкие какие-то все. Что-то ходят, ходят, трясутся, трясутся, говорят, шепчут, шуршат! Чего-то хотят, добиваются, волнуются... Тьфу, противные какие!..

— Постарели мы,— сказал Саша.— Вот и всего делов.

— Нет! — взвизгнул Гриша.— Мы не постарели. И я верю, что есть, есть какой-то высший знак, фатум, и все! Все! В том числе и моя бывшая жена-стерва,— будут строжайше наказаны! Я не знаю кем, я не знаю когда, я не знаю как. Я не знаю — божественной силой или земной, но я знаю, что все, все, в том числе и ты, и я, все мы, вы, ты, он, она, оно, будем строжайше, но справедливо наказаны. Э-э, да ты совсем спишь,— огорчился он.

— Ага,— признался Саша.— Совсем я устал что-то, знаешь как устал.

— Ну и давай тогда спать,— сказал добрый Гриша.— Я полезу наверх, а ты на диване спи. Тебе простыню постелить?

— Не надо,— сказал Саша.

— А я тебе все-таки постелю,— сказал Гриша.— У меня есть, недавно из прачечной.

И постелил ему простыню, и погасил свет, и полез на полати.

— Саша, ты не спишь? — спросил он через некоторое время.

— А? — очнулся Саша.— Ты что?

— Извини, старик, я сейчас, еще секунду...

Он спустился вниз и забарабанил в стену к соседям.

— Надо им ответить. Чтоб знали, как мне лупить. Совсем обнаглели, сволочи,— удовлетворенно сказал он.

И мурлыкал, карабкаясь по лестнице:

— Там в океан течет Печора...

А Саша спал. Ему снились: ГУМ, ЦУМ, Красная площадь, Третьяковская галерея, Музей Пушкина, певица София Ротару и поэт Андрей Вознесенский. Легкий Саша бежал вверх по хрустальным ступеням и парил, парил над Москвой, над всеми ее площадями, фонтанами, парками, дворцами. Скоро он устроится на работу по лимиту и получит временную прописку, а через три года получит постоянную прописку, и тогда — эге-гей! — все держитесь!

— Все впереди,— бормотнул он во сне.

Ну, впереди так впереди. Утро вечера мудренее. А пока — спи, спи, молодой человек, набирайся сил. Жизнь, наверное, будет длинная.

ОТЧЕГО ДЕНЬГИ НЕ ВОДЯТСЯ

— Да? Ну и что? Ну, пьяный. А вы мне, извините, подавали? Нет? Вот так. А вам я что сделал? Раскачиваюсь и на ногу наступил? Да нет, не нарочно я... Уж вы извините, извините, я немножко заснул. Я — поезд. Я электричку жду до Кубековой. Вы извините, я просто не потому, что я — пьяный, я просто спал, а сейчас проснулся, вы меня извините, я не хотел вам сделать ничего дурного.

Обычная, милая сердцу российская картина. Мужик в мятой шляпе и мятых брюках, проснувшийся в зале ожидания пригородных поездов. Сосед его, интеллигентненький мужчина, хранящий брезгливое молчание в ответ на излияния бывшего пьяного. Бабы, мужики, девки, длинноволосые их хахали с транзисторами, лузгающие семечки и время от времени вскрикивающие в метафизическом восторге:

— Ну, ты меня заколебал!..

Да и сам зал ожидания — со знаменитыми жесткими эмпээсовскими скамьями, вековым запахом карболки и громаднейших размеров фикусом, «фигусом», который, наряду с еще больших размеров картиной из жизни вождей мирового пролетариата, должен был, видимо, по хитроумному замыслу станционного начальства, эстетически воздействовать на буйных пассажиров, смягчать страсти, утишать расходившиеся сердца.

— Да! А все виноват был тот самый беляшик,— сказал мятошляп, хотя чистый сосед его, уткнувшись в газету «Правда», отвернулся и всем своим видом давал понять, что лишь по значимости своей в жизни и некоторой даже доброте не выталкивает он опустившегося за те большие двери, крепко ухватив его за

шиворот, а то и хряпая по тощей шее жирным кулаком.

— Беляшик, беляшик,— монотонно повторял проснувшийся.— Кабы не тот беляшик, так оно, может, все и покатилось бы по-иному, что ли?

Спрашивающий задумался.

— Хотя... черт его знает, черт его знает,— бормотал он.

— Эй! Пахан-кастрюля, чего хипишишься? Курить есть? — окликнул его высокий парень с гитарой.

— Дак а почему нет? — рассудительно сказал «пахан».

— Товарищи! — оторвался было от газеты культурный человек, но, увидев крутой лоб присевшего на корточки любителя легкой музыки и протянутую за папиросой «Север» мощную длань, татуированную воспоминаниями все о той же далекой части света, лишь только мелко выдохнул, а потом брезгливо в себя вдохнул, стараясь не улавливать ядовитый лично для его здоровья, равно как и других трудящихся, табачный дым этих дешевых мерзких папиросок.

— Ну, дак ты расскажи, ты чего там плел-то? — рассеянно обратился к старшему товарищу курящий мужественный юноша.

— Дак я вот те о чем и говорю. Меня беляшик и погубил, а они мне дали самый последний шанц.

— Да какой же такой беляшик-то и какой «шанц»? — вскричал нетерпеливый молодой человек.— Ты говори, что ли. Ты что нищему бороду тянешь? А?

— Да я ж тебе начинаю, а ты тут стрекочешь! — раздражился мужик.— Хочешь, так слушай. А не хочешь — вали кулем!

— Ну, слушаю,— сказал юноша.

И полился ровным потоком строгий рассказ мужика.

— Вот. Это началось в суровые шестидесятые годы нашего столетия. Я, тогда находясь на ответственной

работе снабжения с хорошим окладом, зарвался и, получив головокружение от успехов, стал сильно пить коньяк и спирт, потому что оне тогда были маленько дешевле, чем сейчас, ну а денег у меня всегда было предостаточно.

Вот. И товарищи, и начальство обычно предупреждали меня, что дело рано или поздно может кончиться хреново при таком отношении, но я им безнаказанно не верил, потому что имел удачу в работе всегда, а это очень ослабляет.

Но время показало, что они стали правые. Ибо ввиду пьянства у меня начались различные служебные неудачи, не говоря уже о личных, поскольку моя жена вскоре после всяких историй от меня совсем ушла. А служебные ужасы запрыгали один за другим, как черти. В частности, вот на такой же скамейке Савеловского вокзала города Москвы, где я в пьяном виде коротал ночь, не имея гостиницы, у меня неизвестные козлы и вонючки украли моток государственной серебряной проволоки, за которой я был послан самолетом в город Сызрань, так как у нас вставал из-за отсутствия этой проволоки цех, а у меня ее украли. Сам знаешь, что за это бывает...

— Понимаю,— сказал парень.

— Ну, то, что я выплачивал, это — как божий день, хотя и тут нарушены были правила. Они не имели меня права за этой проволокой посылать. Эта проволока должна пересылаться спецсвязью, потому что она серебряная. Но я сильно не возникал — у них на меня и другие материалы имелись.

Ну и вот. И таким образом я, совершенно пролетев, предстаю недавно пред стальные очи Герасимчука, а тот мне и говорит: «Ну, вот тебе, Иван Андреич, последний шанц работы на нашем предприятии. А нет — так и давай тогда с тобой по-доброму расставаться, потому что нам твои художества при неплохой работе уж совершенно надоели, и мы завалены различными

письмами про тебя и просьбами тебя наказать, что мы делаем весьма слабо. Так вот тебе этот твой шанц! У нас истекает срок договора с теплично-парниковым хозяйством, и если нам не продлят договор, то этот чертов немец Метцель ставит нам неустойку. И мы плотим 5 тысяч. А немец нам точно вставит перо, потому что он — нерусский и никакого другого хозяйства, кроме своего, понимать не хочет. К тому ж он очень сердитый: у него парники, и к нему всякая сволочь ездит клянчить лук, огурцы, помидоры и редиску, имея блатные справки от вышестоящих организаций. А поскольку справки высокие, то немец их должен скрепя сердце удовлетворять, чтоб его не выперли с работы. И он их удовлетворяет, разбазаривая свое немецкое парниковое имущество, отчего он очень стал злой, и ты точно увидишь, что 5 тысяч он с нас обязательно слупит...»

«А что же мне тогда нужно сделать?» — спрашиваю я, дрожа и догадываясь.

«А тебе нужно сделать,— нахально усмехается Герасимчук,— чтобы он нам договор пролонгировал на полгода, и нам тогда 5 тысяч не платить».

«Это что такое значит «пролонгировал»? — обмирая и снова догадываясь, спрашиваю я.

«А это значит, чтоб он нам срок его исполнения продлил, дорогуша,— все так же усмехается Герасимчук.— И мы тогда не станем платить 5 тысяч».

«Дак а что же он, дурак, что ли? — вырвалось у меня.— Зачем он будет продлять договор, зная, что он с нас может получить 5 тысяч?»

«А вот затем мы тебя и посылаем,— нежничает этот дьявол.— Вот это тебе и есть твой шанц последней работы на нашем предприятии. Выполнишь — орел, сокол, премия, и все прошлые дела — в архив. Не выполнишь — ну уж и сам понимаешь»,— сокрушенно развел он руками.

«Дак это вы что же, как в сказке, значит?» — лишь тихо спросил я.

«Да, как в сказке»,— подтвердил Герасимчук. И я от него так же тихо вышел, тут же решив совершенно никуда больше не ехать.

Потому как ехать мне туда было совершенно не́ к чему. Ибо немца этого я знал как облупленного, равно как и он меня. Сам я с ним и заключал вышеупомянутый договор о поставке продукции. Причем немец совершенно не хотел его подписывать, а я клялся и божился, что все будет выполнено в срок на высшем уровне аккуратизма и исполнительности.

Так что ничего хорошего от моего дружеского визита к немчуре, за исключением того, что он просто велел бы вытолкать меня в шею, мне ожидать не приходилось, отчего я и пошел к стенду около «Бюро по трудоустройству» искать новую работу.

Ну и там смотрю, что везде «требуется, требуется», а сам и думаю — черт с ним, съезжу, авось как-нибудь там это и пронесет: вдруг этот немец уже совсем сошел с ума и все мне сейчас сразу подпишет, хохоча. А мне терять нечего.

С такими мыслями я и являюсь в это образцовое блатное хозяйство. И, гордо задрав плешивую голову, следую между рядами освещенных изнутри теплых стеклянных теплиц, полных огурцов, луку и помидоров для начальства. После чего и оказываюсь в кабинетике, где с ходу, не давая ей дух перевести, спрашиваю наглую от постоянных просителей секретаршу:

«Владимир Адольфович у себя?»

«У себя»,— нахально отвечает она.

«Я к нему...»

«Одну минутку!» — вопит она, но я уже делаю шаг, открываю кожаную дверь и вижу, что там сидит мелкое совещание. А во главе его ораторствует какой-то мужик, но он далеко не тот мой друг, бравый камрад Мет-

цель, а какой-то совсем другой начальствующий мужичонка.

«Извините,— говорю.— Помешал».

И делаю шаг назад.

А там секретарша Нинка на меня бросается, что, дескать, куда это я лезу, что Метцель действительно у СЕБЯ. Но он у себя ДОМА, потому что он месяц назад вышел на пенсию и сейчас сидит дома от обиды, что его на пенсию выперли.

«А если вы насчет луку или огурцов, то у нас их нету, они будут в марте-апреле, а мы сейчас только лишь произвели посадку этих культур»,— говорит мне Нинка.

«Милая Ниночка,— отвечаю я ей.— На кой же мне они сдались, ваши огурчики, свеженькая ты моя, когда я к вам совсем по другому делу, связанному сугубо с производством, а не то чтоб все жрать да разбазаривать».

«Ну, это тогда совсем другой коленкор,— успокаивается Нинка и мне говорит: — Вы подождите, у него товарищи из Норильска. Они скоро закончат, и он вас примет».

«А я и жду, я и жду»,— отвечаю. А сам думаю: Господи, да неужто уж и спасен?

Ну, часа всего полтора и прождал. Они все оттуда выходят как из парилки. Я к оратору:

«Товарищ! Товарищ!»

«Что? Нет! — гаркнул он.— Я! Мы идем обедать. Луку нет, огурцов нет, помидоров нет!»

«Да я...»

«Нету луку! Нету огурцов! Вы прекратите эту порочную практику, понимаешь! Что у вас? Письмо? Откуда?»

И он берет в ручки свои мою бумаженцию и долго в нее смотрит, ничего совершенно не понимая.

А тут Нинка-умница, чтобы свой ум доказать, хихикая ему говорит:

«Да нет, Мултык Джангазиевич, оне совершенно по

другому вопросу. Насчет продления договора о поставке...»

«А-а,— смягчился новый начальник.— Что ж вы сразу мне не сказали?»

Вынимает свою шариковую ручку, а у меня аж сердце захолонуло.

«Где расписаться? И что же вы это, товарищи, нас так со сроками подводите?» — журит он меня, держа мой документ и свою авторучку вместе.

«Да мы... У нас реконструкция. Всего на полгода и продлить-то»,— лепечу я.

И смотрю — о господи! — деловой этот замечательный человек, красивый этот хлопец, стоящий ныне, как кавказская скала, на страже государственных огурцов и луку, быстро мне все подписывает, а Нинке говорит:

«Шлепнешь печать. Мы пошли обедать».

После чего и уходит прочь с нетерпеливо топчущимися, как стоялые кони, норильчанами.

И — о господи! — спасен! Крашеная Нинка, все еще хихикая, ставит мне печать, я дарю ей приготовленную шоколадку «Сказки Пушкина», и действительно, как в сказке, на крыльях радости и победы вылетаю за дверь этого нервного предприятия.

Спасен, думаю. Спасен! Прогрессивка — моя, премия — моя, а все прошлые дела в архив!

А в это время в кабинете звонок. Я притаился за дверью.

«Да, да. Нет, нет,— говорит Нинка.— Уже ушел, одну минуточку — я посмотрю».

Выбегает. Я притаился за дверью.

«Товарищ! Товарищ!» — кричит она в лестничный пролет.

Ха-ха! Нету там для тебя товарищей!

Она и возвращается, понурая, говорит в телефон:

«Нет, он уже уехал, наверное».

Из телефона же — ругань с акцентом, даже за дверью слышно.

Ага, думаю. Опомнился? Ну да поздновато, брат. Подпись-то на месте, и печать там же.

И на уже упомянутых крыльях лечу дальше. Солнце светит ясное, здравствуй, страна прекрасная! Небо — синее, скоро — весна, уж и теплом повеяло, и я — вон он я какой молодец! Все свои интересы соблюл, включая и интересы родного предприятия.

А только жрать мне сильно захотелось, а времени уж ровно оказалось два часа. Я туда-сюда, и везде-нигде нету для меня питания. Потому что где и совсем закрыто на обед с двух до трех, а где стоят хвосты таких же, как я, гавриков. И торчать мне там нет никакого навару, теряя время.

И тут-то вот и появляется на сцене этот проклятый беляшик, из-за которого я погиб.

А то что жрать-то мне охота. Ну я и купил у этих двух, две заразы стояли на остановке с алюминиевым бачком, из которого валил пар. И эти заразы кричали: «С пыла, с жара, 38 копеек пара!»

«Свежие?» — спрашиваю.

«Сегодняшние... С пыла, с жара...»

«Рыбные, что ли?»

«Како рыбные? Настоящие, мясные. 38 пара»,— с гордостью отвечают мне эти две лживые толстухи в нечистых белых куртках поверх ватных телогреек.

И тут я мгновенно пропадаю. Потому что лишь купив два рекламируемых беляша и доедая уже второй, я лишь тогда понял, в чем дело. А дело было в том, что они, видать, пролежали у них там где в витрине, засохнув, а потом они их пропарили хорошенько и швырнули на улицу для таких дурачков, как я. Сразу меня, конечно, и замутило. Но я не растерялся, потому что на всякий замок есть отмычка. Я тогда — бац! — вынул из портфеля читушку (а я всегда ношу с собой читушку), насы-

пал ей в горлышко соли, размотал и для сокращения желудочного жжения взял да и выпил ее всю из горла́. А дело это было уж в какой-то, не помню, «Закусочной».

И вот тут, ну вот честное слово, я ведь и не знаю, за что меня осуждать? Ведь и мой папаша всегда так делал. У него два лечения было. От простуды — водка с перцем, от живота — водка с солью. И дожил бы он наверняка до многих лет, коли не убили бы его на фронте проклятые враги.

Так что за что меня осуждать-то? И говорить, что я был в состоянии алкогольного опьянения. А подлецы эти, что уже наверняка позвонили мне на работу, что я был в состоянии алкогольного опьянения, подлецы эти совершенно все врут, что я был в состоянии алкогольного опьянения. Потому что когда я у них был, то я еще не был в состоянии алкогольного опьянения. А когда я им потом в состоянии алкогольного опьянения звонил, то они не могут по телефонному проводу видеть — в состоянии я алкогольного опьянения или не в состоянии алкогольного опьянения. А то что они сказали, будто у меня язык заплетается, так это они тоже по злобе совершенно все врут. Вовсе он у меня и не заплетался, а просто им обидно стало, что я их умней и вроде как их обманул — вот они и решили со мной разделаться. Эх, и влип же я!

А влип я вот как. И ведь точно — как только я эту водку выпил, то у меня все жжение сразу прекратилось. Но, уж если всю правду до конца говорить, сильно мне захотелось в туалет.

А уж и стемнело. Туалет же этот, будучи самым настоящим сортиром, куда я тогда сразу пошел, около вокзала, мне сразу же не понравился. Потому что там было уже темно, потому что уже стемнело, а там свету нету. И мужики заходят, и слышны всякие грубые шутки, которые я не решаюсь повторить. Я тогда брезгливо тоже там сел и крепко задумался.

Я тогда задумался — что вот же она какая странная жизнь, какие странные все эти ее взлеты и падения. Ну вот кто я был утром? Кандидат на выгон. А кто я есть сейчас? Мудрый работник, блестяще выполнивший ответственное производственное задание, несмотря на все трудности.

А только, видимо, от водки, что ли, или от предчувствий, а что-то мне вдруг стало очень страшно. Вода потому что рычит там, гудит подо мной. И страшно, во-первых, и как сама вода гудит, а вдобавок мне еще и падение — а что, думаю, вдруг да какая подводная рука да как сейчас меня хватит снизу.

Быстренько я свое болезное дело справил — и наружу.

И вот тут-то меня и хватило кирпичом по башке! Да чем же ты подтерся-то, гад?! Ты ж договор пустил в эту страшную, рычащую воду!

Аж и застонал я, покрывшись мелкой испариной, и сразу бросился звонить в этот пригородный теплично-парниковый бардак. А там мне сообщают, что я, дескать, пьяный, что я обманом подсунул тов. начальнику на подпись бумагу, которую он, не будучи еще окончательно введен в курс дела, подписал. И опять, что я-де был в нетрезвом состоянии и что, значит, уже бежит-катится на меня в родное учреждение капитальная телега за двумя подписями свидетелей.

«С Норильска, что ли, эти ваши ворюги-свидетели»,— лишь огрызнулся я и бросил трубку, предварительно обложив их, за неимением другого оружия бороться со свинцовыми мерзостями жизни, густым матом.

Ну а дальше? Дальше что? Дальше — что мне терять? Меня же все еще беляшная интоксикация яда грызла, поэтому я тогда — еще водки с солью. Короче говоря, упал я на улице, но привозят, слава богу, не в вытрезвитель, а в «неотложку». А там врач Царьков-Коломенский, вот честное слово, не совру, сам еле на ногах

держится, толстый такой, бородатый, как кот, и урчит:

«Как только тебя семья терпит! Из-за вас вот таких семьи разрушаются!»

«Ах ты, хряк! Сам косой вдугаря, а туда же!» — не стерпел я, блюя. Ну и оттуда на меня тоже телега поехала. А сейчас я и сам собственной персоной качу. Не то вслед за ними, не то — перед... Вот так-то, сынок!

Говоривший открыл глаза, закрытые от волнения в самом начале рассказа, и обнаружил, что зал ожидания почти пуст. Исчезли бабы с мешками, девки с чемоданами, мужики с бабами, и гражданин с газетой ушел, и лишь татуированный юноша сладко спал, положа свою кудлатую голову на круглый кулак.

— Эй, кент! — тряхнул его рассказчик.

— Ну ты чо, ну ты чо? — забормотал во сне юноша.

— Вставай! Вставай!

Появилась строгая уборщица.

— Чего разорались, бичи! — крикнула она, гордо опираясь на высокую швабру.

— Мы... мы ничего,— оробел мужик.— Мы электричку ждем. До Кубековой.

— До Ку-бековой! — сардонически усмехнулась уборщица.— Давно ушла ваша электричка до Кубековой, освобождайте помещение, я мыть буду.

— А мы,— еще пуще оробел мужик,— мы можно, тетенька, следующую подождем?

— А следующая, племянничек,— ехидно сказала баба,— будет утром, следующая ваша электричка до Кубековой.

— Ну и ничего, а мы до утра,— предложил мужик.

— А вот этого ты не видел?

И баба показала мужику обидный шиш. Проснулся гитарист.

— А ну, что за шум! — гаркнул он.— Ты что, бабка, нас заколебала совсем? Щас как дам по кумполу!

— Я, я, милиционера позову,— завизжала, отступая, эта пожилая женщина.

— Не надо, ой не надо милиционера! — вскрикнул мужик, как раненый.

— Это точно ты говоришь, батя,— снисходительно согласился юноша.— Милиционер нам вовсе ни к чему. Пошли отсюда, батя.

— А куда?

— Да куда-нибудь пошли. Куда-нибудь придем.

— Но куда ж все-таки?

— Да... пойдем, споем... отчего деньги не водятся.

— Ну, идем,— сказал мужик.

И они куда-то пошли.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА

Буду рассказывать, как помер наш завхоз.

Прямо в поле при исполнении служебных обязанностей, ткнувшись головой в стол с гиревыми весами и амбарной книгой личного забора, в складе, состроенном из лиственничных дерев бичом Парамотом. Парамот этот или Промот был известен всей экспедиции — звонкий был мужичок, что уж тут и говорить. Он зарабатывал в сезон тысячу двести — тысячу пятьсот новыми, проматывая их за неделю главным образом из-за желания угощать каждого встречного-поперечного и ездить в трех такси: в первом — кепка, во втором — телогрейка, а в третьем сам Парамот своей собственной персоной — голубоглазый и русый и, так сказать, со следами всех пороков на лице.

Да, да — голубоглазый юноша, русый, со следами всех пороков на лице, что и позволяло ему объявлять себя внучатым племянником Сергея Есенина, поэта.

А еще в прошлом году, осенью, летал Парамот на самолете Ил-18 из Якутии в Москву мыться в Сандуновских банях. Взял он с собой также двух друзей своих, двух бичей — взрывника Ахметдянова и пацанчика, бича Володю Пучко, которому по паспорту числилось семнадцать лет, а по морде было не менее двадцати пяти.

И сели друзья в быстрокрылый лайнер, и помчал он их прямо в Сандуновские бани, но попался им на пути ресторан «Узбекистан», где, восседая на низеньких пуфах, и провели они день, вечер и кусочек ночи, после чего оказались в Дорогомилове у ласковых московских шлюх, где провели ночи остаток — выпили, московских

шлюх тел вкусили и заснули здоровым сном, чтобы утром проснуться на неизвестной улице в неизвестной подворотне, естественно и без гроша в кармане.

Тогда они отправились на Ярославский вокзал и, похмелившись водой из искусственного родничка-фонтанчика, забрались в товарный вагон, где уже было немножечко угля. И отправились друзья опять к местам добровольного проживания. Ахметдянов и Володя злились — черные слова они выплевывали в душу Москвы, а Парамот ничего не боялся и скалил зубы — нравилось ему ужасно, что его девицу звали Римма. Давно он хотел такую. Он даже придумал новый припев к песне, которую знал с детских лет:

Воскресенский мост крутой,
Дом стоит перед горой.
И стоит там дом тридцать четыре.
Фрайеров в том доме нет,
Жулик жулику сосед,
И живут по сорок рыл в квартире.

Припев: Римма!!! Краса! Аргентина!

Слова эти, никчемные, но сладкие, красивые и волшебные, он произносил энергично, помогая себе сжатием в кулак пальцев правой руки, и было это очень верно, потому что все в жизни Парамот делал энергично и порывисто, а любимая фраза его произносилась так: «Какая разница! Дело прошлое! Кап-питально!»

Ну а покойник — завхоз Андрей Степанович — считался его задушевным другом, и это совсем не соответствовало истине, потому что встречались они как хорошие знакомые и собутыльники, и только, а сердца их прямой связи между собой не имели.

Но все-таки Парамот был очень огорчен скорой завхозовой смертью, и к огорчению этому примешивалось некоторое количество вины из-за пса Ботьки, из-за которого вышел у Парамота с завхозом спор за день до этого самого прискорбного смертного случая. Пес Ботька

стал к концу лета чрезвычайно хорош, хотя мать его — сука Тайга — отказалась от детеныша вскоре после его рождения, а все из-за того, что к сосцам ее присунули двух щенят породы лайка, а так как она сама была породы лайка, то полюбила их больше, чем Ботю, который являлся сыном дворняжьего кобеля и к лайкам имел половинное отношение.

Андрей Степанович с утра выпил бутылку «москвича» и, около склада своего стоя, терпеливо целился в небо, а помощник бурового мастера со станка ЗИФ-600 Харлампиев Коля должен был в это небо кинуть свою собственную фуражку, чтобы Андрей Степанович смог доказать твердость своей руки и меткость своего глаза. Спор был прост: четыре дробинки на фуражку или в противном случае завхоз обязан выдать Коле литр водки.

Грянул выстрел, и Харлампиев водки не получил. И вот тут-то и явился Парамот — прямо с работы, с канав, которые он взрывал и чистил от лагеря километрах в пяти, недалеко,— пришел, а при ноге у него вышеупомянутый Ботька, суки сын.

— Бойся! — крикнул Парамот и тут же пояснил:— Это я шучу, а на самом деле — отбой, гвоздики, какая разница!

И начал было Парамот врать о том, как взрывал медведя аммоналовой шашкой и как тот за это чуть не разорвал Парамота вместе с кишками и аппендицитом, когда подошел завхоз и сказал, что он в пса положительно влюбился.

— И ежели ты мне его отдашь как друг другу, то я сделаю с Боти капитального охотника.

— Глухо. Ага. Глухо,— равнодушно отвечал Парамот.— Я Ботю собственноручно кормил тушенкой, и я его самостоятельно пущу на котлеты и суп, потому что душа моя горюет по свеженькому мясцу.

— А ты говядинку бери, говядинка есть у меня на складе, и приличный кусманчик можешь оторвать.

— Твоя говядина синяя, Андрей Степанович, ты ее не красил, а она сама синяя, и ты жри ее собственноручно и сам страдай, а про Ботьку забудь. Его буду есть я, а не ты. И все. Крест. Глухо дело, глухо, как в танке. Какая разница — дело прошлое. Капитально.

Очень он обиделся, завхоз, на Парамота, а Парамот теперь боялся, что завхоз унес обиду эту и в гроб. Вот почему Парамот из кожи вон лез, чтобы сделать что-нибудь приятное хотя бы для тела Андрея Степановича.

Парамот первым заметил Андрея Степановича, когда тот, отягченный земными заботами, прилег соснуть вечным сном головой на амбарную книгу. Парамот видит — дверь склада открытая, внутри — темь, потому что кругом белым все бело от снега, накануне выпавшего.

И зашел Парамот в склад, где завхоз уже спал вечным сном на амбарной книге, а что вечным сном, а не по пьянке видно было хотя бы потому уже, что глаза завхоза приобрели стеклянный блеск и серый цвет и выпуклость, а цвет лица совсем бело-желтый стал.

И виднелись в глубине, в амбарном полумраке, различные съестные припасы — ящики с тушенкой, сахар, мука, соль, уксус, перец, шоколад, и только водку не мог углядеть Парамот — прятал ее Андрей Степанович так ловко и незаметно, что и сам часто находил не там, где надо.

А Парамоту вдруг сделалось страшно.

И не мертвеца, а того, что его, человека вне места и вне времени, могут засудить за убийство душением из-за водки или по какому другому случаю.

— И как Карла будешь потом тыщи лет тачки катать не за фиг.

И он тогда ушел и в мою палатку пришел, а также просил у меня одеколону, чтобы выпить, но у меня

одеколону для него не оказалось, и тогда Парамот намекнул мне, что наш завхоз умер, и я ему полностью поверил, глядя на его физиономию, и пошел взять у маршрутного рабочего Лиды из Иркутска одеколону, а она дала, только не одеколону, а духи «Огни Москвы»... «Огни» эти я выдал потрясенному до основ Парамоту.

А сам пошел к складу, где уже началась та странная возня, хлопоты, переговоры, плач и опять хлопоты, которые всегда сопровождают похороны, свадьбу и рождение ребенка — явления жизни первые, средние и последние.

Дальше нужно было транспортировать труп на базу, для чего и вызвали по рации шофера Степана с машиной «ГАЗ-51», вызвали, заказав привезти заодно и ящик «москвича» на полевые поминки.

Парамот с духов «Огни Москвы» совершенно и не закосел даже и даже задумчив не стал, зато с необыкновенным проворством стал колотить из пиленых досок гроб и мысли не допускал, что его приятеля могут повезти в грузовике без тары, как какую-нибудь мясную тушу.

А повариха Ольга Ивановна, та самая, которой в настоящее время уже остригли наголо голову и выслали из Якутии за распутное поведение, а куда неизвестно, она напекла блинов три высоких горки и сварила ведро киселя из концентрата.

И мы подняли кружки в честь завхоза Андрея Степановича Голикова, который ничем, ну ничем совершенно не выделялся среди других людей: врал, чем-то мелким всегда гордился, в Якутию попал в незапамятные времена за анекдоты, а после реабилитации прижился здесь, различными лавчонками заведовал, приворовывал, попивал, нас обсчитывал по рублевке, а то и по красненькой — обычный этот человек лежал вот теперь в некрасивом гробу, который сколотил для него Парамот,

на все руки бич, в гробу под пихтовыми ветками лежал и не волновался.

А то, что снег к тому времени выпал, так я об этом уже писал, но когда заколачивали гроб, на десять метров мало что можно было различить, потому что новая порция снега с неба поступила, замело, запуржило, и хлопья мохнатые, и сечка,— все вперемешку на землю под косым углом падает.

Степан за рулем — неторопливый вялый человек, а рядом Парамот, как сопровождающий,— такую роль исполнял, а в кузове Андрей Степанович — в надежном ящике.

Загудел мотор, захлопал, заурчал, и желтые горизонтальные секторы света от фар вобрали в себя снежинки и медленно задвигались параллельно земле.

Так вот. Горы крутые в Якутии. Ветер с них дует все вниз. Едут. Парамот, плачем заливаясь, рассказывает равнодушному Степану про достоинства Андрея Степановича.

— Понял,— уныло отвечает Степа, которому все равно, бара-бир, которого ничем не удивишь, который знает и понимает все, что творится вокруг и в чем он ни малейшего участия даже мыслью принимать не хочет. А Парамот — тот другой, а впрочем, это я уже повторяюсь, ведь вы его уже достаточно хорошо знаете.

И был у них на пути полуответственный подъем, и машина его еле-еле взяла. Казалось, что не едет она, а на месте стоит — вот до чего крут подъем был.

И они наверху заглушили мотор, выпили немного водки, а потом глядят, а гроб-то и исчез, выпал, что ли, из-за крутизны.

И они тогда, матерясь, пошли вниз по метели и нашли гроб среди вихрей снежных аж по другую сторону ручья.

И поперли они его в гору, гроб, употели, а когда

закинули в кузов его, то Парамот стал смотреть на него, и в глазах у него, все увеличиваясь, и больше, и крупнее, стала отражаться желтая луна.

— Э-эй, Степа, а гроб-то, это, что-то вроде как бы не наш,— обмирая сказал Парамот.

Сплюнул Степа и потащил Парамота в кабину, а Парамот стал вырываться, рвать ворот и дико кричать под лунным светом, освещающим белую некрасивую землю.

. . . .

И казалось, что слышно в метели, как скрипит и стучит тот громадный и безжизненный механизм, которым управляется Земля:

У-ухи, э-эхи, тук-тук-тук, у-ухи, э-эхи...

ПОРТРЕТ ТЮРЬМОРЕЗОВА Ф. Л.

Один московский гость путешествовал летом по просторам Сибири. Московского гостя все удивляло и все устраивало: взметнувшееся к небу передовое строительство, ленты рек и дорог, лица людей и их челюсти, жующие кедровую смолу. Московского гостя многое трогало: девушка, склонившая голову на плечо любимого в пропыленной армейской гимнастерке, ребята, которые нарисовали на майках портреты Пола Маккартни и «Ролинг стоунз», светлые глаза сибирских стариков и старух. Московский человек знал жизнь.

И вот он как-то зашел на колхозный рынок одного районного сибирского городка. Москвич любил рынки, где гул и гам, где весело, где грузин подкидывает вверх арбуз, узбек призывает в свидетели аллаха, а русский мужик тихо стоит в очереди за пивом.

Путешественник приценился к фруктам и овощам. Отметил: виктория — 3 рубля 50 копеек, огурцы — 2 рубля 30 копеек, лук — 1 рубль 50 копеек. Там же на рынке он и увидел портрет Тюрьморезова Ф. Л.

Прямо там же на рынке, на стенке, висели под стеклом фотографии, объединенные броским лозунгом «ОНИ НАМ МЕШАЮТ ЖИТЬ».

Гость полюбопытствовал и был за это вполне вознагражден лицезрением серии гнусных харь — большей частию опухших, мутноглазых. Но среди них явно выделялся Тюрьморезов Ф. Л.

Тюрьморезов Ф. Л. выделялся среди них необычайно ясным взором и бодрой осанкой. Потому что все остальные обитатели фотовитрины стояли согнувшись крючком, стояли, умоляюще протянув руки к фотообъективу.

А Тюрьморезов Ф. Л. взирал на мир довольно дерзко,

имел свежую курчавую бороду, мощный торс его был одет в тельняшку, а поверх тельняшки носил Тюрьморезов Ф. Л. пиджак. Вот так!

И текст был под Тюрьморезовым Ф. Л., который объяснял все его положение.

«ТЮРЬМОРЕЗОВ Ф. Л., 1939 г. РОЖД., С ЯНВАРЯ 1973 г. НИГДЕ НЕ РАБОТАЕТ, ПЬЯНСТВУЕТ, ВЕДЕТ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ, АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

Московский гость глубоко задумался.

А рядом оказались два милиционера в серых рубахах навыпуск. Они беседовали исключительно друг с другом, надзирали окружающую торговлю и время от времени трогали пальчиком выступающую из-под рубахи кожаную кобуру.

Московский гость, преодолев природную скромность, вежливо обратился к стражам порядка:

— Товарищи! Если этот объект находится в вашем ведении, то позвольте мне забрать портрет Тюрьморезова Ф. Л. раз и навсегда.

Милиционеры опешили.

— В нашем-то в нашем,— помедлив, отвечали они, видя перед собой приличного человека с портфелем.— А только для вас он зачем?

—Вы знаете, я попытаюсь вам сейчас объяснить,— сказал московский гость.— Несмотря на то что гражданин Тюрьморезов явно сугубо отрицательный тип, от него исходит какая-то внутренняя сила, его фигура где-то как-то по большому счету даже убеждает. Бодрит.

Милиционеры оживились.

— Да уж что,— согласился один из них — худенький, бледный.— Убеждать-то он мастер. Как пойдет молоть — заслушаешься! Он тебе и черта, он тебе и дьявола вспомнит. А особенно упирает на бога, Иисуса Христа. Он, однако, молокан, ли чо ли? Все больше на религию

упирает. Я правильно говорю, Рябов? — обратился он к другому милиционеру.

— Ага. Все точно, Гриша,— кивал синеглазый и пожилой Рябов.— Он свое учение имеет. Однако он не молокан, потому что,— тут милиционер выдержал значительную паузу,— потому что он — иудеец.

Так сказал Рябов, а потом снял форменную фуражку и вытер нутро фуражки носовым платком и повторил:

— Иудеец он, родом из Креповки.

— Ну и что, что из Креповки,— всколыхнулся Гриша.— Если из Креповки, так он молокан. В Креповке молоканы живут.

— А там живут вовсе не молоканы, а там живут иудейцы.— Рябов надел фуражку.— Их еще при царе выслали. Они все по видимости русские, но вера у них еврейская. Их выслали, а они царю подали прошению, чтобы их назвать. Вот царь их и назвал — село Иудино. И уж после Ленин их переименовал в Креповку.

— Позвольте,— вмешался путешественник.— Это уж не в честь ли того крестьянина Крепова, который переписывался с Львом Толстым? И Лев Толстой его называл братом. И он еще какую-то книжку написал, тот Крепов. Про тунеядство и земледелие. Я в «Литературке» читал...

— Во-во,— сказал Рябов.— Я сам из этих мест. Точно оно назватое по какому-то крестьянину. А раз Креповка, то и крестьянин был, значит, Крепов.

— И что же это Лев Николаевич Толстой стал бы тебе переписываться с иудейцем? — ехидно спросил Гриша.— Говорю ж тебе — там полсела иудейцы, а полсела — молоканы. А потом — будь он иудеец, так он бы на Христа не упирал. Потому что иудей не верит в Христа, а верит только в субботу. Их в субботу хрен выгонишь работать. Я-то знаю.

— А молокан, по-твоему, в Христа верит? Ты зайди к нему домой — у него ни одной иконки нету.

— Ну и что, что нету икон,— возражал оппонент.— У молокана икон действительно нету, но в Христа он верит. Вот и Тюрьморезов говорит, что Христос был социалист, от Каина родились все мировые сволочи, а сам он — авелевец.

— А, иди ты! То — молокан, то — авелевец. Сам не знаешь, что мелешь! — Рябов отвернулся и махнул рукой.

— А не слишком ли вы это слишком? — опять влез в беседу москвич, указывая на фотовитрину.— Это я имею в виду, что тут написано — он ведет паразитический образ жизни, пьянствует?

— Не,— горько отвечали милиционеры.— Все голима правда. И не работает нигде, и хлещет, как конь, и деньги ему дураки дают.

— А вдруг он случайно не работает с января месяца 1973 года,— не сдавался гость.— Может, просто еще не устроился как следует в городе человек. Все-таки всего шесть месяцев прошло.

— Как же,— иронически ухмыльнулся милиционер Гриша.— Он и в прошлом году всего два дня работал. Его когда первый раз привели в отделение, я его спрашиваю: «Фамилие, имя, отчество», а он — «Разин Степан Тимофеевич». И зубы скалит, бессовестная харя!

— А никакой он и не молокан и не иудеец,— вдруг рассердился милиционер Рябов.— Натуральный бич — только туману на себя напускает. Разве молокан, разве иудеец жрали бы столько водки? А этому поллитру взять на зуб — все одно что нам на троих читушку. Я сам видел — гражданин купил в Гастрономе 0,5 «Экстры», а этот в магазин залетел. «Позвольте полюбопытствовать». Выхватил у гражданина бутылку, скусил зубами горлышко да и вылил ее всю в свое поганое хайло. Вылил — и был таков. Все аж офонарели.

Милиционер сплюнул.

— Это как же так... вылил? — ахнул московский гость.

— А вот так — взял и вылил,— разъяснил Рябов.— Пасть разинул, вылил, стекло выплюнул и ушел.

— Не, все-таки он не иудеец,— сказал Гриша.— Может быть, он и не молокан, но уж во всяком случае не иудеец...

И неизвестно, чем бы закончился этот длинный спор относительно религиозной принадлежности Тюрьморезова Ф. Л., как вдруг по базару прошел некий ропот.

Милиционеры подобрались и посуровели. Меж торговых рядов пробирался высокий ухмыляющийся мужик. Он махал руками и что-то кричал. Старушки почтительно кланялись мужику. Мужик схватил огурец и запихал его в бороду. Когда он подошел к фотовитрине, лишь хрумканье слышалось из глубин мужиковой бороды. И вовсе не надо было быть москвичом, чтобы узнать в прибывшем Тюрьморезова Ф. Л.

Тюрьморезов Ф. Л. внимательно посмотрел на свое изображение.

— Все висит? — строго спросил он.

— Висит,— скупо отвечали милиционеры.— А вы на работу стали, Фален Лукич?

— Я вам сказал! — Тюрьморезов глядел орлом.— Пока мне не дадут соответствующий моему уму оклад 250 рублей в месяц, я на работу не стану.

— Да у нас начальник получает 150,— не выдержали милиционеры.— Ишь ты, чего он захотел, гусь!

— Значит, у него и мозгов на 150 рублей. А мне надо лишь необходимое для поддержания жизни в этом теле.— И Тюрьморезов указал на свое тело, требующее 250 рублей.

— Вы эти шутки про Тищенко оставьте,— жестко пресекли его милиционеры.— Последний раз — даем вам три дня, а потом — пеняйте на себя.

— Да что вы так уж сразу и кричите,— примирительно сказал Тюрьморезов.— На человека нельзя кричать. Христос не велел ни на кого кричать. Эх, был бы жив Христос — сразу бы мне отвалил 250 рэ в месяц. Уж этот-то не пожалел бы. А вы, уважаемые граждане, а пока еще, между прочим, даже и товарищи, одолжите-ка человеку папиросочку. Дайте-ка, пожалуйста, закурить-пофанить.

Милиционеры замялись, а московскому гостю тоже захотелось принять участие в событиях.

— Может, моих закурите? Американские. «Винстон». Не курили?

— Могу и американских,— согласился Тюрьморезов.— В свете международной обстановки могу и американских. Дай-ка два штука, братка, коли такой добрый.

И он выхватил из глянцевой пачки московского гостя множество сигарет. Спрятал их за уши, затырил в дремучую бороду.

— Ну и фамилия у вас! — игриво сказал московский гость, поднося Тюрьморезову огоньку от газовой зажигалки.— Вот уж и родители, верно, были у вас, а? Оставили вам фамильицу!

И тут Тюрьморезов Ф. Л. на глазах всех присутствующих совершенно одичал. Его волосы вздыбились, глаза налились кровью, и даже сигарета торчала изо рта, как казацкая пика.

— Ты чего сказал про родителев, кутырь?! — мощно выдохнул Тюрьморезов и протянул длань, чтобы схватить московского гостя за грудки.

— А ну-ка прими руки, Тюрьморезов! — крикнули милиционеры и грудью стали на защиту москвича.

— Да нет. Он — ничего,— стушевался гость.— Он за внешней оболочкой прячет доброту. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, товарищ Тюрьморезов. Я — так.

— А вот и не бухти тогда попусту, раз так,— с

удовольствием резюмировал Тюрьморезов, смачно выдохнул дым и навсегда остался жить в Сибири.

А московский гость вскорости возвратился в Москву. Там он и служит сейчас на прежнем месте, в издательстве на букву «М». Начальство им очень довольно, и к празднику он, было, получил хорошую премию. Но ее у него почти всю отобрала жена, потому что захотела купить себе норковую шубу. Насмотрелась разных фильмов на закрытых просмотрах, вот и захотела. А ведь такая вещь стоит громадную сумму. Вот вам типичный пример отрицательного влияния буржуазной эстетики на слабую душу.

ПОЕЗД ИЗ КАЗАНИ

ТИХИЙ ЕВЛАМПЬЕВ И HOMO FUTURUM

МАТЕРИЯ БУДУЩЕГО

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

ЧУДЕСА В ПИДЖАКЕ

ЛЕЧЕНИЕ, КАК ВОЛШЕБСТВО

БЫЛО ОЗЕРО

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

В ВИХРЕ ВАЛЬСА

КИНА НЕ БУДЕТ

ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ





ПОЕЗД ИЗ КАЗАНИ

Едучи однажды в троллейбусе, некий гражданин собирал с народа деньги, чтобы за всех заплатить, передав деньги шоферу и получив за переданные деньги билеты. Делал он это потому, что касса не работала, новомодная касса-автомат, куда кидаешь деньги, дергаешь за ручку и получаешь оторванный билет для предъявления контролеру. Собрав деньги, гражданин обнаружил всеобщее замешательство, ибо он не знал, кто передавал и сколько передавал, и среди народа уже многие запутались, слышались крики: «Кто передавал? Я пятнадцать не передавал. Я на два и мне шесть копеек сдачи. Нет, не так — вы имя́ будете должные, а с них три копеечки им...»

— Ага, понятно. Растрата,— уныло сказал гражданин и на ходу покинул троллейбус.

Тотчас и шум стих, и троллейбус остановился.

И вышел из специально отведенного для него помещения рослый водитель, молча, не глядя на пассажиров, прошел к задней дверке и там сказал угрявому подростку, робко державшемуся за никелированный поручень:

— Это ты помогал ему створки открывать, так полезай за ним.

И он выпихнул подростка из машины, но пока возвращался к себе, чтобы снова сесть за руль и ехать дальше, до конечной остановки, до железнодорожного вокзала, оба они — и растратчик и подросток вновь вошли на транспорт через не успевшую закрыться дверь и тихонько встали в уголочке.

«Безобразие! Это же форменное безобразие! Когда только кончится это космическое безобразие! Ведь все они коллективно виноваты вместе, и гражданин-раст-

ратчик, и грубиян шофер, и подросток, и прочие, кто молчит, а в особенности касса-автомат!» — про себя возмутился я.

Ладно. Троллейбус пришел-таки на вокзал, я вышел из троллейбуса и пошел в справочное бюро, чтобы узнать — ну когда же, наконец, придет поезд из Казани.

А там сидит за стеклом, за столом около телефона, немолодая девушка и говорит в телефонную трубку нечто, что я через стекло никак услышать не могу.

Она, видите ли, по трубке говорит и говорит. С кем? Я ведь ее хочу спросить через стекло, когда же придет, наконец, поезд из Казани. Мне надо когда придет поезд из Казани, а она говорит в трубку. О чем? Я жду. Очередь ждет. Все ждут. Все кричат, я молчу. Я — гордый.

— Девушка, а здесь ли справочное бюро? — зычно вопрошает коренной сибиряк в овечьей шубе, смело протиснувшийся вперед.

— Здесь, здесь,— дружно отвечает очередь.

— Я это знаю,— объясняет зычный сибиряк,— я это прекрасно знаю, но знает ли это вот она?!

И он указывает коричневым пальцем на ту, должностную, которая внимания этому не уделяет, которая по трубке телефонной знай себе спокойно говорит.

— А вот мы сейчас к начальнику вокзала,— зловеще сообщает кто-то,— он пускай нам и ответит, скажет: работает справка на железной дороге или не работает.

Нет, куда уж там — она и мускулом лицевым не дрогнула, и все по телефону, по телефону, все по трубке, по трубке...

— Да к туёму начальнику и не проберессся,— радостно ухмыляясь, объясняет бритоголовый молодчик,— он с двенадцати до двух принимает.

«Безобразие! Полнейшее форменное безобразие! Это ужасно! Полнейшая инертность должностного лица,

равнодушные и несколько циничные замечания очереди. Я форменно изнемогаю»,— опять про себя возмущаюсь я.

Я знаю, что сейчас же выйду из очереди, так и не дождавшись сообщений о поезде из Казани.

Я знаю, что прочитаю на стене такое объявление:

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ЛИЦА НЕМЕЦКИЙ КРЕМ
«ФЛОРЕНА»
ПОКУПАЙТЕ КРЕМ «ФЛОРЕНА»

«Дай-ка я куплю себе такой замечательный крем,— скажу я себе,— ведь он пахнет свежестью».

Я подойду к полумедицинскому парфюмерному ларьку и скажу. Я скажу «Ай-я-яй», потому что ларек будет открыт, а продавщицы в нем не будет. Будут — крем немецкий «Флорена», одеколон «Матадор», одеколон «Тройной», лезвия «Нева», лезвия «Балтика», лезвия «Цезарь», зубные щетки, пудры, лекарства, снадобья, помады, духи, игральные карты, платочки и опять крем немецкий «Флорена», а вот продавщицы, вот продавщицы-то в ларьке как раз и не будет.

«Безобразие! Халатные р-ракалии! Полнейшее безобразие! Свинство! Космическое свинство! Халатность, небрежность, пренебрежение и хамство!» — крикну я про себя.

Я, кстати, долго еще буду везде по городу ходить и везде обнаружу беспорядок и безобразия. То меня обольют водой из раскрытого окна, а может быть, и чаем, то сломается светофор на перекрестке, то мальчишки, совсем еще дети, будут играть на лавочке в очко, а когда я сделаю им замечание, пошлют меня к матери и скажут к какой.

Потом я замечу еще, что день клонится к вечеру, а стало быть, мой рабочий день тоже закончен. Я пойду домой. Там строго и вместе с тем ласково посмотрю на

домашних, поем супу и сяду читать какую-нибудь увлекательную книжку, какой-нибудь роман, ну например... да не знаю я, что например...

Если же вы меня спросите, если вы крикните про себя: «А кто же ты сам есть таков?» — то я с удовольствием вам о себе немного расскажу.

Мне тридцать два года. Сам я — служащий. Высшего образования не имею, но работаю давно, в лаборатории, тридцати двух лет, но уже почти весь лысый. Беспартийный. Работу свою люблю, но не очень. Женщин не люблю, но иногда люблю. В данный момент временно исполняю обязанности начальника лаборатории. Мой начальник уехал в командировку в Бугульму. Возвращаться будет через Казань. Мне скучно. Очень люблю порядок. Весь день хожу по городу и наблюдаю со скуки порядок. Отчетливо понимаю, что и со мной самим не все благополучно — ну что это такое — в рабочее время хожу по городу и лезу не в свои дела. «Это же безобразие! Это очень нехорошо! Скверно!» — иногда шепчу я про себя.

И тогда мне кажется, что я-то и есть самый главный негодяй и мерзавец.

ТИХИЙ ЕВЛАМПЬЕВ И HOMO FUTURUM

А вот какой случай вышел с тихим инженером Евлампьевым, когда он ласковым июльским вечерком вышел на асфальт своего каменного квартала, чтобы подышать немного свежей прохладой, озаренной неземным сияньем далекой луны, снять с себя напряжение рабочего дня, прошедшего в ругани с нахрапистым представителем заказчика, приготовиться к волшебной июльской ночи с молодой женой Зиной, чертежницей, которая в данный момент, разобрав постель, раскладывала на белой скатерти пасьянс, нежно сказав Евлампьеву на прощанье: «Ты смотри, Гришенька, далеко не уходи, а то я за тебя боюсь...»

Улыбался Евлампьев простоте и нежности своей подруги, и вертелись у него в голове очень удачные ответы на некоторые нахальные реплики этого грубого Пигарева, когда вдруг остановил его мягкий, созвучный погоде голос:

— А пивка не желаете, товарищ?

Евлампьев вздрогнул, и совершенно зря: перед ним стоял сугубо мирный человек в габардиновом макинтоше, и он тоже улыбался Евлампьеву — добродушной улыбкой пожилого рта.

— Но, собственно, уже поздно,— ответил Евлампьев, поправляя очки и указывая на знакомую ему, оживленную по дневной жаре пивточку на открытом воздухе.

— Да что вы! — еще пуще разулыбался макинтош.— Для хорошего человека... вот у меня немного есть... я днем три литра брал, а зачем мне оно так много?

И он увлек Евлампьева в пивточечную лунную тень и быстро вынул откуда-то из бурьяна початую банку этого столь любезного народу напитка.

— Да нет, да что я, уже поздно,— слабо сопротивлялся Евлампьев.

Но вскоре сдался, покоренный ненавязчивой вежливостью встречного и гармоничным блеском чистого стакана, самый вид которого опровергал любую спешную мысль о предполагаемой антигигиенической заразе.

— И за все это дело вы просто отдадите мне рубчик тридцать восемь копеечек. Восемьдесят восемь копеечек по себестоимости, а полтинничек за хлопоты, мне много не надо,— все журчал и журчал голос угощающего.

— Да, конечно. Вот тут рубль пятьдесят, возьмите, конечно,— сказал все еще смущающийся неизвестно отчего Евлампьев.

— А вот тут двенадцать копеечек сдачи,— ласково ответил пивной дяденька.

— Да уж не надо,— махнул рукой Евлампьев.

— Нет уж надо! — Человек в макинтоше вдруг посуровел и даже, как это часто бывает, стал выше ростом.— Мне чужого не надо, а в противном случае — отдавайте пиво обратно. Я вам не спекулянт какой!

Совершенно сбитый с панталыку Евлампьев положил мелочь в карман пиджака и уже совершенно робко предложил щепетильному незнакомцу разделить с ним вечернюю трапезу.

— А вот это — другое дело,— любезно согласился тот и без лишнего куража опрокинул один за одним два или три стаканчика. Выпил и Евлампьев.

— Вот вы, конечно, очень хотите узнать, кто я такой,— вдруг сказал незнакомец.— И не отпирайтесь даже, юноша, я вижу сей вопрос в ваших искренних глазах. Но сначала я... дайте-ка я вас определю. Так... Вы, конечно, имеете высшее образование и наверняка зарабатываете немыслимую кучу денег.

— Да уж какая там немыслимая,— улыбнулся слегка охмелевший Евлампьев.— Сто двадцать рублей ну и еще иногда квартальная прогрессивка.

— Боже правый! Ужас! Да вы — миллионер! — закачался незнакомец.— И что же вы, безумец, делаете с такой кучей денег?

— Как что? — опешил Евлампьев.— Трачу. Я женат, кстати,— зачем-то добавил он.

— Это понятно,— тоже неизвестно почему согласился незнакомец.— Но ведь и супруга ваша наверняка что-нибудь подобное зарабатывает. Эти кипы денег — на что они вам?

— Как на что? — Евлампьев почувствовал раздражение.— Ну, есть, пить, покупать книги... Разве можно все перечислить? Я еще долг от свадьбы не отдал.

— Вот то-то и оно,— опечалился незнакомец.— С такими громадными суммами неизбежно приходят такие же немыслимые расходы.

— А вы? — сердито сказал Евлампьев.

— А я? — загадочно улыбнулся незнакомец.

— Да! Вы! А вы — как? А вы — что же?

— А я «вот так», и я «вот то же», что я вам скажу, и вы мне совсем не поверите. Я вам скажу, и вы мне совсем не поверите, потому что я живу совершенно без денег.

— Ну уж, совсем-таки совсем? — сыронизировал Евлампьев.

— Совсем-совсем. И вот я вижу по вашей улыбке, что вы меня подозреваете, так я вам отвечу, что я без денег живу совсем, и живу очень даже правильно, чисто и хорошо.

— Интересно бы узнать как? — все еще острил Евлампьев.

— А вот сейчас и узнаете. Ну, начнем с самого главного, с хлеба, так сказать, насущного. Вот вы, желая снискать его, дуете, например, в кафе «Уют» и там поедаете сухого бройлера — разносчика язвы. А я — нет. Я ти-хохонько занимаю любимый столик у окошечка диетической столовой, и мне там с ходу дают

супчик постненький — 9 копеек тарелочка, капустка отварная, экономически выгодная,— 5 копеек, чаек без сахара — копеечка, хлебец — бесплатно. Итого — пятнадцать копеечек. Честно и полезно для здоровья.

— И вы сыты?

— И я сыт. И у меня не будет язвы.

— Но это же все равно деньги, пускай даже тринадцать копеек,— не сдавался Евлампьев.

— Даже не тринадцать, а пятнадцать. Но какие же это, между нами, деньги? Это ж — пыль небесная, а не деньги. Идем дальше. После насущной пищи мне захотелось, например, пищи духовной. И что же делаю я? А я иду, например, в книжный магазин, где какая-нибудь персона важно листает перед покупкой прекрасные репродукции, например, того же западного Пикассы, ценою в 160 рублей книжка. Я тогда пристраиваюсь со спины и тоже их все смотрю, обогащая кругозор. И глаз мой увлажняется, увлажняется, а лицо сияет от духовной радости. Вы улавливаете мою мысль?

— Я улавливаю. Я все улавливаю,— сказал Евлампьев.— Но ведь семья. Ведь существуют же у вас какие-то семейные обязанности?

— А я не женат,— сказал незнакомец.

— Ну, в конце концов, тогда... женщины, что ли? — запутался деликатный Евлампьев.

— Ну-у! Ай-я-яй! Да как же это вам не ай-я-яй! — Собеседник погрозил ему пальчиком.— Да ведь это же и безнравственно где-то — ставить любовь, наличие женщины в зависимость от ДЕНЕГ! Да вы понимаете, что декларируете? — упрекнул он Евлампьева.

Евлампьев молчал.

— Давайте я вам тогда расскажу вот еще что. Я вам расскажу про одежду. Я ведь убедился, что и одежду, как это ни странно, совсем не надо покупать. Потом что нынче все покупают новую одежду, а старую куда им девать? В комиссионку — да кто ее там купит? Барахолки закры-

ты. Вот они и отдают ее мне. Вот вы посмотрите — какой на мне макинтош солидного производства, а какая на мне кепочка, вышедшая из моды в 1964 году, а какие на мне остроносые ботиночки, которые нынче никто не носит?

И он стал сильно вертеться перед Евлампьевым. А Евлампьев молчал.

— Но это не самое главное,— сказал крутящийся прохиндей, приблизив к Евлампьеву умное лицо.— Это не самое главное, что меня греет. А самое главное, что меня греет, это самое главное заключается в том, что я как бы являюсь прообразом человека будущего, Homo Futurum, если можно так выразиться.

— Ну уж,— сказал Евлампьев.

— Да не «ну уж», а точно. Ведь скоро денег ни у кого не будет. Вы ж читаете газеты и ходите на собрания. Вы, конечно, можете сказать, что я путаю, что я неправильно понимаю. А я вам отвечу, что я все правильно понимаю и ничего не путаю. Ну, допустим, будет у нас изобилие всего. Но это же не значит, что мы все должны обжираться бройлерами, наживая язву, и ежедневно менять бархат на парчу. Не значит? А раз не значит, то я являюсь прообразом человека будущего. Ох, меня потом вспомнят, меня потом вспомнят! Вспомнят, что был такой один первый чудак, у которого не было денег в то грозовое время, когда они у всех были. Ох, вспомнят!

И он воздел к небу свои уверенные руки.

А тихий Евлампьев внезапно остановил его строгим жестом взятия за плечо.

— А хочешь сейчас в морду дам,— вдруг очень естественно предложил он.

— Это еще за что? За мою же доброту? — обиделся незнакомец.

— Да не за доброту твою, а за мой рупь. Давай я тебе дам рупь, а за этот рупь я тебе двину разок в морду. Хочешь?

— Нет, не хочу,— подумав, ответил незнакомец.

— А что так? — кровожадно ухмыльнулся Евлампьев.

— А то, что это никому не выгодно. Ни вам, ни мне. Вы тратите свой рубль на антигуманный поступок. И, видя в вас человека, читавшего сочинения Федора Михайловича Достоевского, я ничуть не сомневаюсь, что вы потом будете страшно мучиться и лезть ко мне с целованиями. Невыгодно, чтоб меня за один и тот же рубль и лупили, и целовали. Давайте уж тогда два, что ли?

— Да нет, что вы. Действительно я что-то... того,— замешкался Евлампьев.— Запутали вы меня своими логическими парадоксами, что и на самом деле... немножко совестно,— криво улыбнулся он.

— Да уж конечно. Бить человека за деньги ради удовлетворения собственной животной прихоти — очень красиво! — подтвердил незнакомец.

Они замолчали.

— А знаете что? — неожиданно предложил незнакомец.— Знаете что — а дайте-ка мне лучше три рубля. Авось у вас и на душе полегчает.

— Это вы точно знаете? — спросил Евлампьев.

— Совершенно точно,— не мигая сказал незнакомец.

— Но у меня столько нету, у меня дома есть, а тут нету,— сказал Евлампьев.

— Ну так и давайте до дому вашего дойдем, это ж рядышком, наверное,— догадался незнакомец.

— Да уж, рядом,— тоскливо пробормотал Евлампьев.

— Вот и идемте,— сказал незнакомец.

И они пошли, пошли по асфальту этого тихого каменного квартала, тихий Евлампьев и Homo Futurum. Капли росы выступили на асфальте. Засыпали пятиэтажные дома. И свежая-свежая ночная прохлада овевала их, тихого Евлампьева и Homo Futurum'a, свежая ночная прохлада, озаренная неземным сияньем далекой и ко всему привыкшей луны.

МАТЕРИЯ БУДУЩЕГО

Газеты пишут, да и люди поговаривают, что на промышленных предприятиях и других производствах участились случаи хищения малоценных и быстроизнашивающихся предметов непосредственно исполнителями работ. Тут одна в очереди говорит:

— Мой Сережа мне обещал. Он обещал. Там у них в заводе такая ткань выдается на обтирку деталей. Такая замечательная ткань, что из ниё двух кусков свободно можно сшить модненькое платье желто-зеленого цвета. Красота. Такая замечательная. Он обещал.

А товарка ей поддакивает.

— Да,— замечает,— да. А моему Альфреду попадаются все время вафельные полотенцы, так он их с цеху тянет домой. Мы имя́ один раз вытираемся, а потом выкидываем на фиг.

Товарка разошлась, раскраснелась, прекрасные пряди русых волос выбивались из-под ее пухового оренбургского платка. Она взмахнула рукой с зажатым в кулаке чеком на сосиски и добавила:

— Ненавижу! Ненавижу я вафельные полотенцы. И неправильно поступают в журнале «Здоровье», когда советуют их употреблять для притока крови к коже. Это ошибка. Мы их сразу потом выкидываем. Альфред ими потом чистит ружье.

— А откуда у него ружье?

— Откуда? Оттуда. По гаечке, по винтику, по болтику. Золотые, ох золотые руки у моего Альфреда!

И затосковал я просто ужасно от подобных мерзких и бесстыдных слов. Золотые руки! Как опошлено это высокое понятие неизвестной женой промышленного жулика Альфреда! И что же это у нас такое получается,

товарищи? Тянут и тянут. И даже не смущаются рассказывать про свои махинации в местах общественного скопления народа!

Затосковал я. Затосковал настолько, что немедленно покинул очередь, тем более что сосиски все равно уже кончились.

Тянут и тянут. Того-сего для личных нужд. Повсеместно — идешь себе своей дорогой, а тебя отвлекают за угол и сообщают:

— Тихо! Молчок! Не трэба ли того-сего?

Отвлекают и извлекают нечто из карманов, из-за пазухи, из-под кепки — какие-то резинки, гайки, стекла, шланги, трубки, тряпочки, веревочки, железки.

Ужас! И все это, главное, так беспечно. А, дескать! Нам наплевать. Страна не обедняет. А куда наплевать? Себе же плюете в душу, подлецы! У себя же, ведь у самих себя, у народа тянете товар!

Только и видишь —

сосед Влас-губа прет с шинного завода кордовую ткань.

Только и слышишь —

— Дядя Жора принесли вчерась рулон фотобумаги.

Безобразие! Невероятно!

А вот здесь, например, недавно у одних на квартире была свадьба, которая продолжалась три дня.

Было выпито бесчисленное множество коньяку, вина, водки, шампанского и самогонки. И съедено рублей на двести. Играли два баяниста, радиола и магнитофон. Плясали во дворе, и одна тетя даже упала там в обморок. Прямо во время танца цыганочка.

Пьяные гости бегали и ничего не могли понять. Они только плакали. Так бы тетя и умерла, но тут случился один расторопный посторонний человек — старшина сверхсрочной службы. Он сказал: «Ничего, я сейчас» — и вызвал «скорую помощь», отчего жизнь женщины была спасена, а веселье продолжилось.

И все так обрадовались благополучному исходу об-

морока, что никто даже словечка не вякнул, когда старшина тоже пристроился к празднику и стал со всеми гулять, как родной. Он, между прочим, освоился довольно быстро. Повсюду слышался его здоровый голос:

— Вот за что я тебя люблю, так это за то, что ты — человек! Человек, понимаешь?

Понимали. Целовались, обнимались, но подошла тем временем третья ночь свадьбы — и молодые смогли наконец лечь в свою положенную постель. И остальные гости — тоже. Кто на кровати устроился, кто под столом, кто под табуретом. Баянист, например, спал стоя, в углу. Поспит, поспит — поиграет «Прощание славянки» и дальше спит. Спали все.

Все спали. Квартира погрузилась в сон. Лишь отвергнутые амуры, а также купидоны, Венеры, русалки, лешие и прочие продукты иррационализма, мистики и винных паров летали в густом воздухе, брезгливо прислушиваясь к несущемуся со многих точек храпу.

Они спали. Только вдруг что-то стало молодым как-то беспокойно во сне и нехорошо. И они проснулись. Сначала она, а потом и он. Лежали, молчали.

— Ты чего не спишь? — сипло спросил жених.

— Так,— ответила невеста.— Не знаю.

И вздохнула, и почесалась под лопаткой.

— Ты спи,— посоветовал жених и тоже почесался.

И они внезапно стали дико и яростно чесаться.

— Что такое? — испугался жених.— Может, у вас клопы?

— Нету у нас клопов,— утверждала чешущаяся. В пятницу все аэрозолем опрыскали. Четыре пузыря извели.

— Да. Это не клопы. Клоп кусает не так. Клоп тебя рвет. У нас в общежитии раз были клопы, а потом пришли и их опрыскали,— рассказал жених. И размышлял:— А может, все-таки клопы? Давай посмотрим?

И они встали.

А было уже раннее утро, то летнее время, когда лучи невзошедшего солнца еще не попадают в жилое помещение, а заполняет его белесый и туманный, прекрасный рассветный свет.

И они встали и стали друг на друга смотреть.

И они были хороши. Оба были хорошо сложены. Они были даже прекрасны в рассветных лучах, если смею я так выразиться.

Но только, к сожалению, значительные участки их кожи — молодой, гладкой и фосфоресцирующей — оказались пораженными какими-то волдырями с приставшими к волдырям какими-то нитками. Белыми нитками.

Жених, обнаружив такой ужас, бросился к постели и внезапно понял все.

— Так,— сказал он.— Очень, очень красиво.

Невеста тоже все поняла. Она зашлась плачем. Стали просыпаться гости.

— Кто та дрянь, которая постелила нам подобную простыню? — интересовался жених, натягивая брюки.

— Это не дрянь, а мама. Не смей! Не смей! — всхлипывала невеста, застегиваясь.— Не смей! Это — подарок. Это — сюрприз. Это — материя будущего.

— Кто та змея, которая подарила нам эту змеиную материю будущего? — наступал жених.

— Это не змея, а наша старенькая бабушка, которая ничего не смыслит в технике. Она подарила. Разве ты не помнишь? А, ты ведь пьяный напился, подлец!

— Я — пьяный?! — обозлился жених.

И стал вспоминать и вспомнил, как действительно кто-то, может быть даже и бабушка, принес, подарил в разгар свадьбы замечательную материю, можно сказать — материю будущего. Материю показывали гостям и смотрели на свет. Гости все восхищались. Материя была белая, но переливалась всеми цветами радуги.

— В воде не тонет, в огне не сгорит,— говорил кто-то. Наверное, бабушка.

Дядя Коля облил материю вином, но материя вином не облилась.

Федор поджег ее зажигалкой, но она не загорелась.

Загорелась теща:

— Это замечательная материя будущего. Это будут замечательные простыни для всех, но сначала для наших молодых. Постелим, а?

— Постелим! Постелим! — ревели пьяные гости.— Постелим! Горько! Ура!

Вот и постелили. Горько. Ура.

— Я — пьяный? Я тебе покажу! — разорялся одетый жених.

— Что за шум, га?! — весело крикнул появившийся тесть. И другие появились.

— Да вот,— указала грустная невеста.

И все посмотрели в постель и увидели, что простыня, материя будущего, уж и не простыня вовсе и не материя будущего, а — нечто. Она дотла расслоилась, полностью обнажив свою внутреннюю структуру, состоящую из технических волокон и непонятных простому человеку иголочек.

Позвали бабушку.

— Ты где, ворона, все это подцепила?

Бабушка отвечала осторожно:

— Продал добрый человек на уголку коло гастронома.

Чуете? Около гастронома, на уголку.

— Сколько отдала?

— На красненькое.

— А знаете ли вы, мамаша, что это теплоизоляционная ткань, которой обматывают трубы? — сказал старшина, оказавшийся компетентным и в этом вопросе.

— Откули мне знать, сыночек, когда у меня совсем нету образования. Нас тринадцать человек в семье было. Я была тринадцатая,— тихо сказала бабушка.

И ведь действительно — откуда? И действительно —

тринадцать. При лучине пряли. Жили в лесу, молились колесу.

— Бабушку — вон. И чтоб она больше мне никогда не попадалась на дороге,— распоряжался жених.

— А ты не очень-то тут командуй. Мы взяли тебя в дом, так что ты не командуй,— увещевал его тесть.— Не будь свиньей, не ори.

Крик, шум.

— Кто, я — свинья? — возмутился жених.— Вот так спасибо, папа. Решительно еще раз прошу, чтобы бабушку — вон.

А невеста говорит:

— Вася! Я люблю тебя, но я не могу ее вон. Она кормила меня с ложечки манной кашей и сама отвела меня в первый класс средней школы номер десять, которую я закончила в прошлом году. Вася! Я люблю тебя, но она рассказывала мне сказки: как мужик обманул двух генералов и про омулевую бочку...

Крик, шум.

— И мы сва-о-бодно можем попросить вон тебя самого,— обещал тесть.

Крик, шум. Баяны заиграли.

— Вася! Ты сильный, ты — красивый. Ты поднимаешь вверх штангу! Вася, прости бабушку.

Но Вася обвел мрачными глазами всех присутствующих и сказал:

— Хорошо! Тогда я пойду в ларек за спичками, потому что я хочу курить.

— Да есть же спички! И «Беломор» есть! Дыми, земляк! — уговаривал старшина.

— Нет. Мне чужого ничего не надо,— ответил жених и ушел за спичками.

Ушел, и нет его, кстати, до сих пор. Его потом всячески искали и обнаружили аж в городе Норильске, куда он залетел в поисках длинного рубля. Возвращаться он отказался, но пояснил, что сохраняет за собой право на

часть жилплощади невесты, поскольку он ее муж и вербованный на Север.

Так погибла любовь. Грустно, грустно, дорогие товарищи, а вовсе не смешно, как некоторые из вас думают. Так погибла любовь и разрушилась неначавшаяся семья. И все из-за краденого товара.

И осталась невеста одна горевать свою вдовью долю, и ходит она по различным учреждениям, безуспешно пытаясь получить развод, и очень она огорчается, поскольку в нынешние времена честной девушке развестись и снова выйти замуж не так-то уж и просто. Об этом люди поговаривают, да и газеты иногда пишут о том же.

Так что я о чем вам говорю? Да все о том же. Чтобы вы с подозрением относились к подобным торговцам, торгующим на углах дрянью. Лучше не связывайтесь с ними, а если вам не лень, то ведите их прямым ходом в милицию. Честное слово — дешевле обойдется.

А пуще всего — сами не тяните. Поймают ведь! Неудобно будет! Да и вообще нехорошо. Действительно у нас всего много и наша страна богата беспредельно, но ведь надо же и совесть иметь! Опомнитесь, земляки! Потерпите. Дождитесь, милые, светлого будущего! Ведь оно уже не за горами!

И тогда каждый что себе захочет, то себе и возьмет. По потребности, но в разумных пределах, конечно, если я чего-нибудь не путаю.

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

— Видишь ли, в чем дело,— сказал мой собеседник, некто Виктор.— Дело в том, что у нас в районе живет очень много элементов, носящих фамилии знаменитых людей. Они этим людям и не родственники, и вообще никто. А иногда даже позорят совершаемыми поступками свои и их звонкие фамилии.

— Странные совпадения,— сказал я.

— Видишь ли, был тут у нас на складах один элемент, сторож, которого сейчас уже нет, потому что он недавно умер. Его похоронили, и он теперь лежит один в земле. Звали его Суворов дядя Леня. Или дядя Леша. Я уже сейчас не помню. По-моему, дядя Леша. И с ним в родстве состоял один начальник из райцентра, который работал там начальником какой-то экономической лаборатории и носил фамилию, какую бы ты думал? Мазепа. Его фамилия была Мазепа.

И вот этот самый Мазепа как-то приехал к нам на станцию в командировку и зашел к дяде Леше, чтобы поговорить и посидеть. Сели они за стол, выпили маленько, и дядя Леша пожаловался родственнику, что очень мало получает денег, работая ночным сторожем.

Родственник задумался.

— Так ты, наверное, на дежурстве спишь? — наконец сообразил он.

— Ну и что, что сплю. Это не играет роли. Ведь я же на окладе. А выше оклада не прыгнешь. Это не играет,— справедливо возражал Суворов.

— Нет играет,— сказал Мазепа.

— Так научи,— попросил дядя Леша.

И стал ждать. А Мазепа очень долго не отвечал, так как ел тушеную капусту со свининой. Он съел капусту и

вытер жирные пальцы о салфетку. Потом он вздохнул и стал учить Суворова.

— Э-э, нет. Спать нельзя. Кто спит, тот все проспит. Вот ты попробуй когда-нибудь не спать на своем, пускай очень скромном, посту, и ты увидишь, что заживешь очень хорошо.

— Так как же,— заикнулся было дядя Леша.— Ведь — оклад.

— Все. Все. Больше я тебе ничего не скажу. Но помни мои слова, что кто спит, тот все проспит. Бывай здоров, Алексей. Приезжай в гости, а я пошел на поезд. Бывай.

И он уехал в райцентр.

А мужик дядя Леша очень удивился и никак ничего не мог понять. Но, зная родственника как человека умного и тертого, он решил довериться ему и испытать.

Поэтому в первую же дежурную ночь он сварил себе получифир, выпил его с сахарком и примостился около склада в тулупе, держа ружьецо в охапку так, чтобы дуло оружия глядело на небо, а именно на созвездие Большой Медведицы.

А в ихнем складе, видите ли, несмотря на то что он был хил и не имел даже путных замков либо пломб, хранились иногда очень необходимые вещи для правильного ведения народного хозяйства.

В частности, туда как раз поступило новомодное стекло-куб. Это стекло-куб было такое ребристое, зеленоватое, размером чуть больше кирпича. Я даже не знаю, как оно называется. Знаю только, что его вставляют в окна производственных предприятий, чтобы уменьшить шум работы, доносящийся с этих предприятий на улицу. Стены из него еще можно выкладывать. Будут почти прозрачные. Может, может, конечно, это стекло-куб пригодиться и в домашнем хозяйстве, потому что в домашнем хозяйстве может пригодиться все.

Ну так вот. Дядя Леша не спит, значит, любуется

звездами и замечает между делом, что к складу тихохонько подъехала легковая машина с выключенными фарами. И вышел из машины сгорбленный человек, который направился к складу и прямехонько полез в его плохо запертую дверь.

— Стой! Стрелять буду, так, что ли, надо,— прошептал про себя изрядно струсивший дядя Леша и заорал: — Стой! Стрелять буду! Ты куда?

Но сгорбленный не сказал куда. Потому, очевидно, не сказал, что посчитал этот вопрос лишним. И без того было ясно — куда, а к тому же он мог и не расслышать, потому что давно уже исчез в недрах склада.

Ну, время идет. Дядя Леша ждет. И дождался, что тот является. И еще более сгорблен, поскольку на плечах его покоится здоровенный мешок.

Неизвестный подошел поближе к сторожу и стал его ругать.

— Ты что это орешь, козел!

Впрочем, его уже нельзя было считать неизвестным, так как дядя Леша без труда узнал в нем заведующего Александра Александровича Пушкина, про которого на предприятии шутили:

— Получишь у Пушкина.

— Я, я,— сказал дядя Леша,— я, я.

— Ты, ты,— передразнил его узнанный незнакомец,— ты, ты. Дерут тебя коты.

Тут-то дядю Лешу и осенило.

— А вы не говорите такими словами,— обнаглел он.— И не обращайте это в шутку. А лучше объясните, куда это вы расхищаете социалистическое имущество, которое я поставлен караулить за семьдесят рублей в месяц?

— Ох и петух! — развеселился Пушкин.— Молодец! Храни! Бди! Наберешь себе полмешка,— разрешил он и приказал: — Ну, давай! Давай! На вахту!

Тогда дядя Леша помог ему донести мешок до легко-

вушки, и Пушкин уехал. Уехал, но фары все-таки так и включил.

Счастливый дядя Леша набрал в мешок разрешенного стекла, вынес мешок со склада, сел на него и стал бдеть дальше, не имея сна ни в одном глазу.

И действительно, по протяжении некоторого времени заскрипели немазаные колеса и появилась подвода. Так тоже тихонечко-тихонечко. Даже тише еще, чем машина.

Сторож, который уже приобрел некоторый опыт в делах подобного рода, не стал кричать про стрельбу, а наоборот, сделался и сам как бы тих, а внешне даже как будто спящ.

Ну и конечно. Выходит из склада с полным мешком не кто иной, как десятник Пугачев.

Десятник Пугачев тяжело дышал под мешком, а дядя Леша ему эдак повелительно:

— Стой. Нет, стой. Врешь. Шалишь. Не уйдешь.

И поклацал затвором.

Пугачев скинул мешок с могучего плеча и очень удивился:

— Это ты, дядя Леша? А ты чё не спишь? Ты спи, время позднее.

— Как тебе не стыдно, Федор. Немедленно положь мешок взад, а то я буду стрелять и составлять акт. А может, и Пушкину пожалуюсь. Они тебе с Кутузовым покажут стекло. Все скрозь него увидишь.

— Ну что ты, Суворов? — не соглашался Пугачев.— Разве же так можно? Ведь мы все люди и должны помогать друг другу, как братья. Ты, наверно, спросонья одурел. А? Сознайся, дядя Леша? Ведь одурел? Тебе нужно в дурдом к Плеваке записаться.

В общем, долго они ругались, но все же сговорились.

Пугачев отсыпал полмешка в пользу дяди Леши и уехал, слегка раздосадованный. Он за это бил лошадь вожжой и кричал: «Пшла, дохлятина!»

Но бог ведь троицу любит? Правда? Не прошло и по-

лучасу, как дядя Леша уже держал за воротник слесаря Ваньку Жукова, однофамильца того Жукова, который не умел чистить селедку. Жуков лез в склад.

— Ну, что с тобой делать? А? А ты знаешь, что я вот сейчас как свистну, как стрельну, так ты и будешь тачки катать. Хочешь?! — пригрозил дядя Леша, отдуваясь после борьбы с непобежденным Жуковым.

— Да я тебя, хрыч, щас как звездану по очкам,— пообещал Жуков.

— Ты у меня наговоришь. Ты у меня на статью наговоришь. Ты у меня тачки покатаешь,— грозился дядя Леша.

— Брось ты болтать, уйди с дороги.

— Нет, это не дело, Иван,— посерьезнел дядя Леша.— Я на то здесь и поставлен, чтобы не допускать расхищения. А если ты так хочешь стекла-куб, то я тебе лучше отдам свое. Я сегодня выписал себе немного.

— Сколько? — спросил Жуков.

— Три рубля.

— Сколько, я спрашиваю, стекла?

— Мешок, сколько.

— Мне мешок мало. Я одному Ломоносову сколько должен.

— Нет. Все. Больше нету. Расхищать я не позволю. Да ты больше и не унесешь.

— Да я мужик крепкий, унесу,— просился Жуков.

— Нет. Все. Знай меру.

И дядя Леша был тверд. Жуков взял мешок и ушел, сопровождая свой уход отборной бранью. Денег у него с собой не оказалось. Он обещал отдать потом. И отдал. Жуков был честный человек.

Вот так и зажил дядя Леша. Ночами он теперь не спал, а все бдел. И добился таких некоторых успехов, что даже купил себе подержанный мотоцикл с коляской. Сам привел его в работоспособное состояние. Ездил на мото-

цикле по грибы, по ягоды и бить кедровые орехи. Хорошо ездил мотоцикл и очень быстро.

Короче, разворовали однофамильцы весь склад.

И конечно, в конце концов все их хищения и злоупотребления были вскрыты. Был суд, и многие однофамильцы отправились по этому случаю в дальние края, исправлять свои ошибки.

Из всей компании только один дядя Леша и остался дома, потому что он как-то раз быстро поехал на мотоцикле, наскочил на «БелАЗ» да и разбился насмерть. Знаешь, «БелАЗ» какая мощная машина? У нее одно колесо и то в два раза больше, чем весь дяди Леши мотоцикл. Так что он, стало быть, недавно умер. Его похоронили, и он теперь лежит один в земле.

— Странные совпадения,— сказал я.

— Странные. А еще когда он был живой, то приехал как-то в райцентр и зашел в экономическую лабораторию, в кабинет, обитый дерматином, где Мазепа разговаривал неизвестно с кем по трубке белого телефона.

Он зашел и сказал:

«А ты был прав, Мазепа».

Тот отвечает:

«А я всегда прав».

«Молодец. Я тебе гостинец привез. Стекла-куб маленько».

«Да зачем оно мне нужно? Из него ничего дома не построишь, я уже пробовал. А впрочем, давай, раз привез».

И родственники вышли на улицу. Там стоял мотоцикл. Но там стоял мотоцикл, и только. Мешка уже не было. Мешок украли воры. Дядя Леша огорчился и стал себя хлопать руками по штанам галифе. А Мазепа сказал:

— Черт. Жуликов развелось...

— Странные совпадения. Очень странные. И почему именно у вас в районе? Может быть, у вас какой-нибудь особый район, а? И вообще, что ты имеешь в ви-

ду? — привязался я к Виктору, когда тот закончил свой рассказ.

— Да ничего я не имею в виду. Что ты мне подкладку шьешь? Обычный у нас район. Обычные люди. Есть хорошие, есть и плохие. Я тебе сейчас рассказал про плохих, завтра расскажу про хороших. Обычный район, только вот что: по странному совпадению у нас живет много элементов, носящих фамилии знаменитых людей.

— Странные совпадения,— не унимался я.— По-моему, этим элементам нужно в официальном порядке предложить срочно изменить фамилию или строже пресекать и карать их безобразные поступки.

— Можно, конечно. Все можно, была бы охота,— сказал Виктор.

ЧУДЕСА В ПИДЖАКЕ

Представьте себе на минутку, что вы не тот высокоорганизованный человек, каким вы, несомненно, являетесь в обыденной жизни, а молодой выпивоха, т. Оскин, Аркадий.

Вот вы ночью напиваетесь до чертиков и ведете себя соответственно. Кричите, поете и пляшете, хохоча. А также в процессе пляски пытаетесь выворачивать свои пустые карманы. Карманы выворачиваются, и пьяные окружающие констатируют их абсолютную пустоту.

И вдруг утром ваш старый пиджак, сиротливо висящий на спинке стула, приносит вам неожиданные сюрпризы.

Так вот. Этот самый т. Оскин, проснувшись однажды утром, обнаружил в своем собственном пиджаке десять настоящих рублей.

Событие это очень удивило Аркадия, потому что денег у него в последнее время не водилось.

Очень-очень это, с позволения сказать, происшествие удивило Аркашу.

— Чудеса,— сказал он, тупо глядя на деньги,— чудеса в моем дырявом пиджаке.

Сказав «чудеса» и повторив «чудеса», т. Оскин встал с постели, чтобы поймать муху, нецелеустремленно ползущую по оконному стеклу. Бросил Аркадий муху навзничь на пол, раздавил ее крепким каблуком, надел пиджак да и отправился с похмелья на работу, чтобы честно трудиться и заработать денег на жизнь.

Только на работу он не попал, так как человек был необыкновенно слабый. Встретил Фетисова. Показал ему десятку. Тот тоже удивился. Поговорили друзья-приятели о том и о сем, повернули куда надо — и так далее. В общем, возвратился т. Оскин домой поздно ночью с пе-

нием украинской народной песни «Посияла огирочки блызько над водою». Попел немного и одетый бухнулся в постель.

Проснувшись утром следующего дня, он немало изумился своей нелепой жизни.

— Что же это я делаю, подлец? — сказал Аркадий, стоя перед зеркалом и не узнавая себя.— Это же кончится тем, что я окончательно потону на дне и меня выгонят с работы.

«И правильно сделают»,— сказал Голос.

— Ничего себе правильно,— возразил Аркадий.— Ведь я же человек. Человек. Ты меня понимаешь?

И еще что-то продолжал бормотать, ощупывая себя и свою неснятую одежду.

Тут ему пришлось дернуть себя за нос, потому что иного выхода не было. Потому что в том же кармане того же пиджака он нашел те же или другие десять рублей, ту же десятку, тот же красный червонец.

— Ай,— сказал Аркаша.— Ай, что делается! Не понимаю и даже боюсь.

Сказал и посмотрел по сторонам дико.

А по сторонам были одни голые стены. На стенах почти ничего не было. Он-то, конечно, всем всегда говорил, что ему ничего и не надо, но ведь лгал, шельма.

Дико озираясь по сторонам, т. Оскин вышел на улицу и там тоже ничего не понял.

Ходили трамваи. Гуляли знакомые. В магазинах продавали еду и напитки.

Короче говоря, дома он оказался опять очень поздно, а на земле молодой человек стоял так: поставив ступни под углом девяносто градусов друг к дружке и перекатываясь с пятки на носок, а также с носка на пятку.

«Эх, т. Оскин! Разве ж можно пропивать десять рублей дотла, даже если ты их нашел неизвестно по какому случаю?» — спросил Голос.

Но ничего не ответил бедняга. У него и у самого на-

копилась масса вопросов, требующих немедленного разрешения.

— Что же будет? — вопрошал Оскин, в отчаянье и испуге ломая свои белые пальцы.— Разве так можно делать?

И естественно, так и не узнал, можно или нет. А то как же иначе? Ведь в комнате он был один, кто б ему мог ответить? Голос? Так Голос и сам не знал, что к чему.

После истерик, восклицаний и вопросов т. Оскин проснулся — ясно, опять с похмелья,— но уже довольно спокойным человеком. Он привычной рукой полез в карман. Не ломал он больше пальцы, не удивлялся он больше, а только крякнул от удовольствия, увидев, что десятка опять на своем месте.

Встал, ушел, пошел, гулял, лег, спал. Пьяный.

Новый день. Прежняя картина. Тот же пиджак. Та же десятка. Берет десятку. Довольный уходит.

«Эх, Оскин, Оскин,— говорит ему вдогонку Голос.— Не доведет это тебя до добра...»

А ему даже и на Голос наплевать.

Но чудес нет. Я обращаю ваше внимание на этот несомненный факт в связи с тем, что на пятый день нахождения сумм т. Оскиным было обнаружено уже не десять, а всего семь рублей. Семь рублей, уже не десять.

Дальше — меньше. На шестой день — всего лишь три рубля. Трешка. Пропита.

И настает седьмой день недели чудес. И на седьмой день недели чудес т. Оскин лезет в чудесный пиджак и извлекает из него шесть медных копеек.

Тут следует заметить, что этот седьмой день был по странному совпадению понедельник. А понедельник, как известно, является днем начала рабочей недели.

Оскин же хоть и был выпивоха, но человек сообразительный. Знал, что можно, а что нельзя. Знал, что неделю можно на работу не ходить, а больше нельзя.

Сообразительный Оскин посмотрел на часы. Часы ни-

чего не показывали. Сообразительный Оскин включил радио. «На зарядку! На зарядку!»

И понял Оскин, что на работу он не опоздал, а если поторопится, то даже и успеет. Может идти на работу.

Чем-то он там наскоро перекусил, на кухоньке что-то скушал, почистил свои полуботинки, пригладил свои редкие волосики, сел со своими шестью копейками в автобус и приехал на работу.

На работе т. Оскин довольно быстро разъяснил интересующемуся начальству, что все пять рабочих дней прошлой недели он находился у постели больного дедушки, находившегося в забытьи. А теперь дедушка умер, и т. Оскин уже на работе, а также просит задним числом как-нибудь отметить его на работе, ввиду утраты дедушки, или дать ему задним числом отпуск за свой счет, если не принимать утрату дедушки к сведению.

Далее разворачивается такая сцена.

— Это очень грустно, товарищ Оскин, что у вас умер дедушка. Не стало на земле еще одного прекрасного человека. Вечная ему память в сердцах. Но скажите, пожалуйста, где те шестьдесят рублей 06 копеек профсоюзных денег, что были доверены вам как профсоюзные взносы для передачи их по назначению.

Тут т. Оскин потупился и горько-горько заплакал.

— Товарищи,— сказал он,— если б только я сам был виноват! Ведь это у меня наследственное. Мой папа Василий пил много водки. Пил ее и дедушка Пров. А прадедушка Степан допился до того, что сидел все время на печке и ел сырое тесто. Товарищи! Коллектив! Помогите мне, если можете. Помогите мне, а деньги я потом отдам.

— Он прав. Он виноват, но не в такой мере, чтоб его можно было за это сильно карать,— сказал посовещавшийся коллектив и помог т. Оскину.

Его отдали на принудительное лечение от алкоголиз-

ма в прекрасную лечебницу, полную света, воздуха и запаха хвойных деревьев.

Оттуда Оскин вышел помолодевшим и просветленным. Любо-дорого теперь на него посмотреть. Денег в пиджаке он больше не находит, так как пиджак у него сейчас совсем другой, новый, а все деньги он хранит на сберкнижке.

Оскин больше не плачет. Он не разговаривает с Голосом, не ловит чертей, не давит мух и не кричит «что делать?». Он сам теперь знает, что делать. Избегать подобных вышеописанных чудес, вот что надо делать.

Ибо они редко доводят человека до хорошего конца, а если и доводят, так только в рассказах, как две капли воды похожих на этот.

ЛЕЧЕНИЕ, КАК ВОЛШЕБСТВО

У товарища О. однажды очень сильно разболелся радикулит. Тов. О. лежал на диванчике и охал, как раненый.

А его жена Софа, которая к тому времени уже работала портнихой в музкомедии, встретила свою близкую подругу Машеньку, и та взялась свести больного к одной волшебной бабушке.

Шмыгая носом, Машенька вела согнутого в крючок служащего по углам и закоулочкам улицы Засухина на леченье.

А улица Засухина — это отличная от многих улица. Она расположена в предместье, где с одной стороны — лакокрасочный завод, а с другой — мясокомбинат. Омывается улица речкой Шаней.

Заскрипели тяжелые ворота, и в них появилась подозрительно глядящая старушка.

— Нет, нет и нет,— сказала она в ответ на Машины униженные просьбы.— Уж меня и милиция предупреждала, что я ничего не имею права. Уж и корреспондент тут хвостом вертел, лиса, чтобы определить меня как мракобеса.

Бабушка грубо выругалась.

— Очень просим.

— Нет, мне и так пензия хватает. А лечения эта — она мне вот где, эта лечения.

Старуха показала на горло.

— Уж вы, дорогая Пелагея Ивановна, не откажите в любезности. Это — Боря. Муж моей лучшей подруги. Помните, которая доставала вам мохер? Я с ними как родная.

Уколотая мохером, знахарка поджала губы.

— Пройдите в горницу.

А горница у ней оказалась чудна́я и чу́дная.

В кадках росли диковинные цветы — фикусы и кактусы. Кот черный с белым ошейником подошел и сказал: «Мур-р».

— Да. Гаврюша, да. Видишь, гости у нас.

Попугай хранил молчание в золоченой клетке.

И еще — в углу, в ящике, какие-то животные скреблись, дрались.

— Это кто? — раскрыв рот, спросила Машенька.

— Это — крыски и мышки, мои деточки. Вот это кто,— неприязненно ответила старуха и обратилась: — Нуте-с, больной, посмотрим.— И, сразу определив согнутую болезнь как радикулит, назначила следующее лечение:— Возьмешь три части бензина, одну часть уксуса-эссенции, марганцовки три зерна и головку чесноку. Смешай, натрись и лежи спокойно. Все пройдет.

— Это сколько же получается частей? — растерялся тов. О.

— Четыре части и головка чесноку.

А тогда сколько это получится по объему? Поллитра, что ли? — не отставал О.

Машенька пихнула его в бок.

— Не раздражай ты ее. Бабушка знаешь какая раздражительная...

— Но я ведь должен знать, сколько мне надо. На сколько раз хоть мазаться-то?

— На один,— последовал ответ, и более бабушка на них внимания не обращала, разговорившись с животным:— Кыса, кыса...

И даже трешницу тов. О., протянутую по таксе все той же всезнающей Машеньки, как бы и не заметила. О. положил трешницу на стол.

Что ж, ушли...

Тяжко передвигаясь, О. добрался до дому, где подруги составили мазь и крепко натерли больного.

После чего начались различные ужасные ужасы.

По всему телу больного Бори выступили дикие пузыри и язвы различной формы и цвета. От ультрафиолетового до черного. И это было бы полбеды, но их наличие жгло тов. О., и он выл. Он выл, и ему хотелось кататься по постели как лошадям по траве.

А не мог.

Машенька и Софа скорбно стояли над ним, обнявшись как матросы. Страдалец лежал и тихо-тихо матерился.

Мрак, туман и болезнь. Но через некоторое время стремление О. к жизни одержало победу над смертью. О. поднялся.

А был полдень, и из крана капала вода. Софа работала.

О. съел самолично разогретую пищу и пошел совершать уголовное преступление.

Бабушка сидела прямая, строгая и кормила пельменями морскую свинку.

— Так... Здравствуйте. Вы знаете, что вы мне сделали?

Бабушка глядела ясно, как сокол.

— Что молчите? Вы знаете, что чуть не отправили меня на тот свет?

Бабушка молчит.

— Да скажите же вы хоть что-нибудь?

Бабушка разжала губы:

— У тебя какое образование?

— Высшее.

— Так какого черта ты приперся ко мне лечиться? Шел бы в поликлинику. Пошел вон. Я тебя не звала. Пошел вон, дурак!

И попугай проорал:

«Дурак! Дурак!»

— Я дурак? А вы знаете, ведь за дурака можно и ответить.

Старуха молчала, а попугай еще раз подтвердил, что считает О. дураком.

Кровь ударила несчастному в голову.

— А вот я вас сейчас обоих в милицию. Там разберутся, кто умный, а кто дурак,— тихо и просто сказал он и повернулся выходить.

Тут старуха сверкнула зрением и зловеще предупредила:

— А я тогда тебя сглажу.

— Это как так? — изумился тов. О.

— А вот так. Как сглажу, сукин сын, так будет тебе милиция. У меня знаешь глаз какой! Вострый. Сглажу и — конец. Пропал.

О. внимательно посмотрел на колдунью, а та на пациента.

— Тьфу, зараза, тьфу, нечистая, тьфу на тебя,— пробормотал О. Плюнул и вышел вон.

Про радикулит он, между прочим, совсем забыл и шел по улице Засухина совсем прямо.

А на улице Засухина было тихо. Где-то лаяли собаки, кудахтали куры, блеяли козы, а люди, вполне вероятно, играли по домам в домино, ожидая начала рабочей смены.

Эх, тов. О., тов. О.! Эх, товарищ...

БЫЛО ОЗЕРО

Если бы вы, читатель, спросили любого из жителей села Невзвидово, что в К-ском крае, на берегу реки Качи, впадающей в наш красавец Е., спросили бы: «Товарищ, каково название озера, расположенного к северо-западу от вашего села?» — то вам никто-никто бы ничего бы совершенно не ответил бы, потому что этого озера давным-давно нет.

А то, что существовало здесь озеро, так это всем ясно. И образовалось оно, как образуются все озера на свете,— был сначала Мировой океан, а от него остались озера.

А жители вот отчего ничего не помнили: видимо, была какая-то дискретность в поколениях — старшие знали да забыли, а младшие и не знали, и никто им об этом не рассказал, а также пили в деревне очень много самогону и бражки.

Ай и зря забыли, зря. Ведь немало волшебных историй связывалось с озером в стародавние времена, ну а уж неволшебных — и того больше.

Может, именно здесь обитала русалка, которая покорилась портному и жила с ним супружеской жизнью на казенной квартире, а потом увела его к себе в омут, так что сгинул портной на веки вечные.

Может, здесь спасался сначала гигантский мезозойский зверь, тот самый, что в настоящее время оказался за границей, в Шотландии, на озере Лох-Несс.

Может быть, здесь, наконец, подвизалась известная всем золотая рыбка, которая с помощью старухи окончательно затуркала несчастного застенчивого старика и привела его обратно к разбитому корыту.

Может быть, и здесь, хотя в сказке и сказано, что дело происходило, дескать, на каком-то там «синем море»,

может быть, здесь, потому что что есть озеро, если не высохшая часть Мирового океана?

Может, может, может, но вот уж то, что гибло в безымянном озере бессчетное количество народу и животных,— это такой ясный и неоспоримый факт, такая верная историческая и статистическая справка, что от нее довольно трудно отмахнуться...

И зимой тонули, и летом, и весной, и осенью.

Известно, что крутили в этом озере воду таинственные водовороты.

Таинственность их заключалась прежде всего в том, что никак не держались водовороты на месте: сегодня здесь крутит, завтра там, а послезавтра вообще черт его знает где.

И угадать даже не пытались. Портки кинут в высокие травы и ну купаться, а потом портки кто-нибудь чужой уж в дом приносит и до порога еще шапку снимает. И родные плачут-заливаются.

А если у рыбака (а их раньше много водилось на озере) лодка крепкую течь дает, то тоже — пиши пропало. К берегу гребет он, ан — не гребется, чудесно и не гребется. В лодке воды все прибывает. Глядишь, а челн уж и на дно пошел. Рыба пойманная, которая живая — вся на глубину хвостом виляет, а которая дохлая — та кверху пузом, а рыбачок вроде бы к берегу саженками наяривает, а тут опять же круговерть водяная в силу вступает, и гибнет человече беспощадно и до конца.

А к осени все больше утки губили. Особенно собак. Охотник хлоп со ствола. Утка на воду хляп. Собака за ней хлюп. И ни утки, ни собаки. Один охотник изумленный в скрадке на плотике чумеет, и дым у него со стволов сизыми кольцами выходит.

Утке-то все равно, потому что она — убитая и тонет уже, как предмет, а собачке — одно губительство, гибель ей приходит при отправлении служебных обязанностей, и многие собачьи головы с мучением смотрели в пос-

ледний раз вертикально в небо и на хозяев, пропадающих и тоскующих на своих дрянных плотиках.

И зима тоже к несчастью. Допустим, выйдут с колотушками ловить сома и некоторое время успешно ловят, потому что рыбы, надо сказать, тонны в озере находились. Всякая порода: и щука, и сом, и карась, и карп, и язь с подъязком — всех, конечно, можно перечислить, да уж больно много места займет это перечисление, да и не это важно, в конце концов.

Так вот. Допустим, выйдут зимой с колотушкой ловить сома по прозрачному льду, темному от озерной тиши и глубины. И вот уж ОН, серый, усатый, подплывает, родной, к лунке, чтоб цвикнуть маленько воздуху, прислоняется снизу усатой мордой ко льду и глядит выпученными генеральскими глазами, а вот тут-то и бьет его мужик через лед колотушкой по балде, и вся компания любителей свежей рыбы немедленно отправляется на озерное дно, потому что на месте удара образуется искусственная полынья, и от нее идут по льду водяные радиусы. Гибнет народ, хватаясь за края ледяные, гибнет, руки об лед режет!

А по весне все больше женщины и девушки тонули. Из-за весенней неясности береговой линии, а также потому, что белье стирать — исключительно привилегия женского рода, да и стирка была раньше не та, что сейчас, когда в кнопку — тык, ручку покрутил и получай чистые портянки. Не-е. Раньше, бывало, кипятят. Парят. На доске бельишко шыньгают, а уж потом и полоскать надо. Где? Да на озере, конечно.

Саночки загрузят — и туда, а лед уж и вскрыт почти, потому что — весна. Рассядутся прачки в кажущейся безопасности, растопырятся, шмотки по воде распустят, руки накраснят, а потом глядишь, а они уж на льдине-острове на середину выплывают. И тут им обязательно надо разогнуться, распрямиться, встать, а льдина — остров малый, она этого не любит, переворачивается по

длинной оси, да еще придает бабе-жертве ускорение путем битья ее льдом плашмя по голове, чтобы незамедлительно шла на дно.

Ясно, что такое озеро быстро стало немило невзвидовцам, и они постепенно вообще перестали с ним дело иметь, а когда из села уехали все вольные рыбаки, кто в Улан-Удэ, а кто еще и подальше, на Чукотку, то и вовсе об этом естественном водоеме люди стали начисто забывать, и тут-то вот и наступил затяжной период дискретности поколений.

А тем временем озеро, скрытое от глаз и мыслей людских завесой нелюбопытства, стало мелеть, хиреть и постепенно окончательно испарилось, как испаряется постепенно весь Мировой океан.

И вот тут-то и обнаружилась под конец еще одна странность, страннее той странности, которая присуща была озеру за весь период его существования. А была та странность, которая присуща была озеру за весь период его существования, такова, что никогда трупы погибших людей и животных обнаруживаемы не были, и не было дна у озера, потому что багор или веревка с грузом до дна никогда не доставали, а ныряльщики-измерители тонули сами, так что через определенное время с начала существования жертв появилась традиция: погибших в озере не искать и автоматически считать их пропавшими без вести.

И если разобраться в том факте, что озеро никогда никого не отпускало и высохло в конце концов, то, ведь если разобраться по уму, там должны были оказаться на высохшем дне всякие кости, угли, неизвестные отложения и, может быть, даже небольшое месторожденьице какого-нибудь полезного ископаемого, связанное с костными остатками.

Нету. Был я там.

Взору последнего человека, оказавшегося намеренно на месте бывшего озера (говорю вам, что был я там) и

знавшему, что это бывшее озеро, а не еще что-нибудь бывшее, представилась невзрачная, малохудожественная и неплenительная картина. Однообразная, слегка вогнутая чаша с углом наклона стенок от одного до трех градусов, в центре которой, в пупке, почти не блестел маленький, неизвестный издали предмет.

Я, конечно, подошел, и, конечно, разглядел, и увидел, что это всего лишь не что иное, как желтая пуговка от кальсон, желтая, с четырьмя дырками и даже с волоконцами истлевших ниток, которыми пуговица прикреплялась к вышеупомянутым прогнозируемым кальсонам.

Я, конечно, и гадать даже не стал, что здесь произошло и почему, если брать с научной точки зрения, а просто-напросто стал рассказывать эту историю всем знакомым людям, вот вам, например, имея целью, чтоб вы немножко смутились, если живете в своем ясном, прозрачном, прекрасном и новом мире.

И мне уже один тут как-то доказывал, что ОНИ все превратились в леших, ведьм, кикимор и ушли в лес, но это явная неправда, потому что лес вокруг озера вырублен давным-давно, еще до катастроф.

И решил я эту темную историю записать, потому что рассказываю я ее, рассказываю людям, а народ-то сейчас такой пошел: возьмет кто-нибудь да и опубликует всю озерную трагедию в газетах и журналах и, самое главное, получит еще причитающийся явно мне гонорар, если, конечно, на нашей одной шестой планеты или даже на остальных пяти шестых еще выдают деньги за подобные небылицы, хотя, как я это специально подчеркиваю, вся вышеизложенная история являет собой чистую правду до последней буквы, а вовсе не ложь.

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Как-то раз возвращаясь глубокой ночью домой, я был избит в кровь людьми, которых сначала принял за хулиганов и бандитов.

И они меня не за того приняли, за кого надо.

Я иду, а они в подъезде стоят. В моем, между первым и вторым этажом.

Стоят и говорят:

— Послушайте, парень, у вас есть закурить?

Есть, дал. Закурили и еще говорят:

— Послушайте, парень, а у вас совесть чиста?

Заранее улыбаясь, я хотел пошутить, что совесть у меня не чиста и что, по-моему, такого человека уже не осталось, у которого совесть чиста.

Но не успел я поострить, потому что меня ка-ак хряснут по физиономии, раз-раз, блик-блик, с левой и с правой стороны.

Ну и что? Смолчал, скушал. Их много, а я один.

— Все, что ли? — говорю.— Или будет какое продолжение?

А их человек пять было. Один прямо зарычал.

— Пустите,— кричит,— я его сейчас изувечу...

А эти его уговаривают. Они говорят так:

— Успокойся, Сережа. Не бойсь. Сейчас поговорим. Он сейчас свое получит, барбос противный. Не бойсь!

Сережа аж заскрипел зубами.

Скрипит, а я удивляюсь — откуда в них такой запал, крик и шум? Вместо того чтобы делать свое дело тихо, ограбить меня в тишине, они поднимают такую суету.

— Чиста твоя совесть?

— Чиста. Вы, ребята, зря думаете. Часов у меня нет, потому что их у меня уже украли, срезали с руки. Кому понадобилось?

— Заткнись! Так твоя совесть чиста? А что Лена уксус пила, эссенцию? Ты здесь ни при чем? Да? Тебя это не касается, да? У-у, гад!

Как они начали меня метелить!

«Ах, господи Иисусе,— думаю,— только бы с ног не сбили. Ведь затопчут. В котлету превратят. В фарш...»

— За что? — кричу.

— Знаешь, знаешь за что. Бейте его, ребята!

— Да не знаю я, честно не знаю.

А дело, надо сказать, происходило почти в полной темноте, так как, во-первых,— ночь, а во-вторых,— лампочки в нашем подъезде нету никогда. Темно. Луна.

Ну, били они меня, били. Огоньки в глазах — блик-блик.

А дальше они, значит, устали меня колотить. И я вижу, что устали, свалился на пол, лежу, постанываю тихонечко, жалобно. Больно все-таки.

Ну, они тогда решили посветить на меня спичкой, чтобы увидеть, все ли я получил свое или мне еще что причитается.

Посветили и видят, что я — не тот.

Тут они хотели бежать, даже немножко пробежали вниз по лестнице один пролет, но потом одумались. Вернулись, встали, стоят.

— Парень,— говорят,— даже и не знаем, что тебе сказать. Вышла беда, вышла ужасная ошибка. Мы тебя перепутали. Мы приняли тебя за другого, за подлеца.

— Ух, ну я его еще найду, я, я, я найду его еще,— сказал Сережа.

— Нет, я это дело так не оставлю,— сказал я.— Я на вас в суд подам, бандиты.

— Можешь подавать в суд. Можешь. Мы протестовать не будем. Раз так вышло нехорошо, то мы должны отвечать, но ты пойми...

Я себя пощупал. Я себя пощупал и встал. Зубы целые, губа напухла, бока болят...

— А что такое случилось? Почему? — говорю.

— Да ты пойми. Мы тебя приняли там за одного...

— Ух, попутаю! — взвыл Сережа.

— Понимаешь. Он. Лена наша, с нашего участка, с нашей бригады. Он — подлец. У него, оказывается, жена есть, ребенок.

— Да? — удивился я.— Неужели в нашем подъезде такой негодяй живет?

— В вашем, вашем. Дом 14, квартира 13. Нам сказали, что нету. Шляется. Снова. Гад.

«Ага,— думаю,— ладно. У нас, правда, и дом 16, а не 14, но какая разница, если Лена... У меня, правда, и Лены не было, но какая разница, если Лена... Нехорошо. И никто здесь, по-видимому, ни при чем. Что за черт? Что же это такое?»

— Он обещал жениться. Она с Сережей ходила. Он обещал жениться, а она Сережу — побоку. У, гад!

— Поймаю, поймаю,— сказал Сережа.— Не бойсь!

— И как только таких негодяев земля носит? Ведь надо же! Дайте закурить,— сказал я, зализывая раненую губу.

...И наливались синим чудесным светом синяки на моей физиономии, и подсыхали кровоподтеки, и затухали боли.

Жизнь опять стала прекрасна и удивительна. Я оказался не он. Ошибки молодости. Хотелось кричать от радости существования, но нельзя было, ибо на дворе стояла глубокая ночь. Было темно.

В ВИХРЕ ВАЛЬСА

У нас на первом этаже с божьей помощью помещается котлетная, и там очень часто различные люди справляют свои и общественные праздники, выпивая, закусывая и веселясь.

Так это вечерком идешь, а там уже все — раскрасневшиеся, поднимают заздравные чары, и исполняется неслышная, вследствие толстых стекол, музыка.

Как-то наблюдал: гуляли свадьбу, расположившись вокруг стола. Другой раз пели, показывая десны. Третий — декламировали стихи, но вино, однако же, все равно присутствовало.

А тут иду и замечаю — не там, где главный зал веселья, а где обычная раздевалка, там орудует молодой верзила с пушком над верхней губой. В одиночестве и сторожко глядя по сторонам, он тихо лазит по чужим карманам, кой-чего в них даже и находя, складывая в свои собственные.

Я постучал в стекло. Детина вздрогнул, замер и обмер. Я погрозил ему кулаком.

Детина попытался принять независимый вид и хотел было заложить руки в брючные карманы, но руки дрожали. Кроме того, карманы помещались впереди, а пиджак был длинный, как того требовала мода. Так что при подобной ситуации засовывание рук в брючные карманы являлось чистой нелепицей.

Я не уходил.

Детина вдруг стал ухмыляться. Он ухмылялся, ухмылялся, ухмылялся, а потом его лицо сложилось в плаксивую харю. Он склонил повинную голову, которую, как известно, не сечет даже меч.

Я нахмурился. И детина резко изменил тактику. Он принял позу Пушкина на утесе. Смотрел гордо и отре-

шенно. Каштановая прядка волос упала на его высокий лоб.

Я указал ему на карманы, в которых лежало похищенное. Детина отрицательно покачал головой.

Я настаивал. Сломленный моим упрямством, он вынул и показал следующие предметы: пачку сигарет «Феникс», носовой платок, зажигалку и медные копеечки.

Я выставил указательный палец, клеймя ворюгу. Тот отмахивался.

Тогда я привел в действие очевидный факт, что он — сыт, одежда — славная, волосы красиво подстрижены. И что ему, дескать, еще надо? Кроме того, я дал понять, что несомненно выдам его правосудию.

Малый чуть не заплакал и уж было хотел возвращать все, что украл, но потом сделал вид, будто не помнит, откуда, где взял. Он думал-думал, метался по гардеробу, затем в отчаянии скривил рот и вторично присвоил награбленное.

И здесь я страшно рассердился.

Я напомнил ему сквозь стекло, что он учился в советской школе, был пионером, а сейчас, возможно, является комсомольцем. И если он — студент, то каким же он станет командиром производства? А если работает, то как будет глядеть по временам в честные глаза своих товарищей по станку, простых рабочих хлопцев?

А родители? Родители его умерли бы от позора, узнав про это. Что бы они испытали, оказавшись на моем месте? О! Об этом страшно даже и подумать!

Я возвел глаза к небу.

А когда я их опустил, то с удивлением увидел, что он уже не один. Юное существо, все в воздушном, шутливо барабанило великана по спине, увлекая его в залу. Великан отбивался и делал комические жесты.

Но она т а к на него смотрела, с т о л ь дрожали локоны ее искусно сделанной прически, что акселерат раз-

вел руками и, гнусно мне ухмыльнувшись, исчез из раздевалки.

А был, между прочим, март. На улице — снежная каша. В воздухе пахнет распускающимися листочками, и воздух густ.

Расплескивая лужи, я бросился к главному окну и увидел бешеное кружение вальса.

Юные пары. Все как на подбор. Рослые. Красивые. Здоровые. С белыми зубами. Смущенными улыбками.

Девушки длинноногие. Парни широкоплечие.

Девушки длинноногие, парни широкоплечие, вовсе не пренебрегая старинным танцем, целиком отдались его вихрю. Заставив тем самым умолкнуть злые языки, твердящие, что что-то, дескать, неладно, что-то, дескать, не так.

И я вглядывался до боли в глазах, но давешний ворюга уж весь растворился в хорошей массе.

Все были хорошие, все имели каштановые волосы и длинные пиджаки, всех любили сиятельные девушки. Да и какое я право имею огульно обвинять? Как я могу выискивать? Ведь я могу оскорбить хорошего, допустим, парня. Перечеркнуть целую человеческую судьбу! А ведь нет ничего хуже несправедливого навета, как учил кто-то знаменитый, не помню кто. И что я делаю, безумец, когда все вокруг танцуют вальс?

— Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием,— сурово пробормотал я и отправился восвояси.

КИНА НЕ БУДЕТ

— Кстати, насчет кино. Вы знаете, это просто удивительно, я до сих пор люблю искусство настолько, что хожу в кино, и даже был в прошлом году в музкомедии,— сказал Галибутаев, снял рукавицы-верхонки и закурил папиросу «Волна».

Мы удивились и попросили рассказать.

Галибутаев долго отнекивался. Он кричал, что не настал конец рабочего дня, чтобы болтать. Что нет даже еще и обеденного перерыва, чтобы рассказывать истории. Что перекур должен продолжаться не более пяти минут. По инструкции. А ему в это время не уложиться.

Только куда же денется Галибутаев, если уж он раскрыл рот. Вот он и начал.

— Дело в том, что я очень люблю всякое кино и пьесы. Дело в том. И вот когда у нас в прошлом году повесили в клубе бумагу, что будет кино «На дне» в двух сериях, в 6 и в 9 часов вечера, то я решил, что обязательно буду в нем.

Только я не знал тогда, чья это пьеса. Сейчас я знаю, что это пьеса нашего Максима Горького, а тогда думал, что Чехова и Тургенева. А все оттого, что меня плохо учили в школе.

И вот я пришел в клуб ровно к девяти, чтобы не ждать, и что же я вижу?

А я вижу, что кино вроде бы и не собираются начинать.

Кругом все играют в пинг-понг, шатаются пьяные, а девки лузгают семечки.

Я спросил заведующего, скоро ли начнется сеанс, а тот отвечает почти нахально:

«Боюсь, что вы его ожидаете напрасно».

«Почему?» — почти вежливо поинтересовался я.

«А потому,— еще более нахально объясняет заведующий, он же киномеханик,— что мне неинтересно показывать кино одному человеку».

«Как! — возмутился я.— Неужели на гениальную пьесу Чехова и Тургенева пришел один я? А те, кто играет в пинг-понг, кто пьяные шатаются по углам, кто лузгает подсолнухи — они что, по-вашему, уже не зрители?»

«Они уже давно и не такие дураки вдобавок, чтобы платить по сорок копеек за неизвестно чего, хотя бы и гениального. А пьеса эта, кстати, не Чехова и Тургенева, а Горького. Что показывает, что вы — тоже не знаток, а просто никак иначе не хочете или не можете провести время».

Сильно он на меня налетел, но я спокойно продолжал свои речи:

«Так что же мне делать? Зачем вы тогда даете такое объявление, которое тревожит меня и зовет посмотреть гениальное произведение хотя бы того же Горького?»

«Вот уж это дело не мое,— веселится заведующий,— Вы напишите в прокат, чтобы присылали такие фильмы, которые собирают зрителя, а не разгоняют его по углам».

«Какой же это такой фильм вы имеете в виду?»

«А хотя бы «Цветы в пыли». Их смотрели все без исключения. И вы бы посмотрели».

«Или «Развод по-итальянски», да?»

«Нет,— заведующий посерьезнел.— Развод у нас сбора не дал. А почему, я и сам не знаю. Там вроде и капиталистический разврат показан, а сбора не было. Я не знаю»,— прошептал заведующий.

«Так значит, кина не будет?» — уточнил я.

«Сказано же — пишите в кинопрокат,— обиделся заведующий.— Или собирайте зрителя сами. Не менее пятнадцати человек».

«Это что, закон такой?» — спросил я.

«Закон, закон. На односерийный фильм не менее пяти человек, а на двух — не менее пятнадцати».

«А не наоборот?»

«Что я, законов не знаю?»

«Странный. Очень странный закон. Я что-то никогда такого закона не слышал»,— сказал я и пошел собирать зрителя.

«Граждане,— сказал я.— Давайте все посмотрим фильм гениального Горького «На дне».

И еще раз повторил, а меня никто не слышит.

Тогда я подошел к пинг-понгу.

«Кино будете смотреть?»

«Нет,— ответил за всех некто игравший с тоненькими усиками и закричал: — По нулям! Твоя подача!»

К девкам подошел, а они хихикают.

«Вам же это надо будет в школе изучать, маранды!» — кричу я.

А одна из них заявляет так:

«Мы уже всему и сами научились».

«Можем и тебя подучить».

«Нехорошо,— отвечаю я.— Нехорошо так распускаться молодежи».

А к шатающимся пьяным я обращаться вовсе не стал, потому что они только того и ждали, чтобы я к ним обратился.

Я к ним обращаться не стал, а они сами, один мне кричит:

«Эй ты, образ Луки-утешителя в романе Горького «Мать»!»

Что мне за охота разговаривать с пьяным?

Я возвращаюсь к заведующему и говорю, что вот, мол, так и так.

«Вот видишь,— смеется заведующий.— Народу нету, значит, и кина не будет».

«Тогда, может быть, оно завтра будет, это очень замечательное кино?»

«Будет, если будет пятнадцать человек».

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца!» — заорал случившийся рядом тот пьяный, что называл меня образом Луки.

Странный закон. И почему именно пятнадцать, а не десять, например?

«А что тогда сегодня будет в клубе?»

«А в клубе сегодня будет то, что организуется. Хлопцы если принесут баян, то будут танцы, а если не принесут, то танцев не будет, и я пойду домой».

«Так это ведь, однако, вам сильно бьет по карману, что вы не даете сеанс»,— сказал я.

«Нет, милый. Это мне не бьет по карману,— заведующий стал окончательным весельчаком.— Не бьет, дорогуша, ибо я не работаю с выручки, а сижу на окладе».

«А премия?»

«А премии я и так никогда не получаю. Так что мне нечего терять».

Так вот вроде бы и положили Галибутаева на обои лопатки. Ан нет. Не таков Галибутаев человек, чтобы его можно было сразу класть на обои лопатки. Он, конечно, не бог, не царь и не герой, и его можно поломать, но не сразу. А согнуть и вообще нельзя.

«Сколько человек есть минимум для вашего сидения в зале?»

«Я же вам сказал. На односерийный — пять, на двухсерийный — пятнадцать».

«Хорошо. Давайте мне пятнадцать билетов. По сорок копеек. Это будет шесть рублей. Я плачу́».

Заведующий сначала немного колебался, а вернее — он даже и вообще не колебался. Он забрал у меня шесть рублей, которых только-то и оставалось до получки (но не это важно), и закричал:

«Начинаем сеанс, кино!»

А я сказал:

«Кто хочет идти за бесплатно, того я пущу».

На бесплатное клюнули. Какая-то старушка, глухая и слепая, наверное — бедная; давешний орун, кричавший про пятнадцать мертвецов; и еще какие-то парни, девки. Они хихикали.

Не буду вам говорить про содержание пьесы «На дне»,— продолжал рассказывать Галибутаев.— Вы его все хорошо знаете. По крайней мере, должны знать лучше меня, так как учились хорошо, а я воспитывался в детдоме, где меня заставляли есть горчицу за то, что я курил в туалете. Вы все знаете, так что ничего пересказывать вам я не буду.

Но как там играли артисты. Эх! Ух! Какой там был АКТЕР. Он был очень добрый и говорил, что страдает от алко́голя. Он так и говорил, что от алко́голя, а не от алкого́ля. Он потом повесился.

А Лука — вот тоже хитрый тип. Хороший. Его играл артист, фамилию которого я не помню. Очень хороший спектакль. В нем показана вся безысходность положения в царской России.

Я его смотрел-смотрел, а в фойе слышно, как пинг-понг — стук-стук. Ну ладно. Это — тихо, хотя и мешает немножко смотреть, но — тихо.

А только вдруг гармошка как завизжит! Да не на экране, нет. А в фойе. И, падлы, шаркают-шаркают ногами. А потом кто-то завопил:

Безо всяких документов
Наложили алиментов
Тридцать три копейки из рубля.
Да-да.

Я тогда выскочил из зала и ору:

«Прекратите шуметь! Вы же видите, что идет кино!»

И заведующий-киномеханик тоже из будки вышел и приказывает:

«А ну, вы, кыш! Чтоб было тихо. Сеанс идет».

«Да какой там сеанс. Тридцать три копейки из рубля. Всяку чушь показывают!» — заорал, вываливаясь из зала тот пьяный, кого я пустил за свои же трудовые денежки.

«Цыц»,— сказал ему заведующий.

А я вернулся в зал, где парни с девками сидели обнявшись и не шевелясь, а старушка сладко посапывала.

И сел я на первый ряд, чтобы хорошенько разглядеть, что дальше будет.

Вот они уже все во дворе. Бубнов выглядывает из окошка, Настя читает роман, а Лука собирается смываться. Барон куражится.

Только тут вдруг сзади парни с девками разругались. Сначала тихо, а потом один кричит:

«Я тебе, зараза, вот врежу щас, будешь тогда мне шаньги крутить!»

А зараза отвечает:

«Врежь. А я тогда тебя оформлю на пятнадцать суток. Врежь, попробуй».

Сначала тихо, а потом все громче, громче. А тут Наташа ноги ошпарила. Такая трогательная сцена. Я прямо взбеленился. Оборачиваюсь и прошу:

«Ну тише же вы, тише».

Парня того я понять могу, парень с досады. Парень с досады мне отвечает:

«Заткнись ты там».

И девка тоже:

«Заткнись, Веревкин».

И папиросу курит. Тварь.

Я тогда сам стал жутко ругаться. Пришел заведующий и официально говорит:

«А ну, кто курит, чтобы покинули кинозал».

А те:

«Да никто не курит».

Но директор их всех выгнал. Они сказали, что обломают мне роги. Они пьяные были, поэтому я их понимаю.

А заведующий сказал, что ему с меня только одно беспокойство и что если бы он знал, то не связывался.

Вот так я и остался досматривать «На дне». В фойе гармошка визжит, подошвы шаркают, кричат в фойе, а я уж и не вмешиваюсь. Черт с вами. Сижу, досматриваю. Один, если не считать спящей старушки.

Черт! И как запели они «Солнце всходит и заходит», так у меня даже слезы на глаза навернулись.

Но тут заведующий дал свет. Картина закончилась.

И я вышел на улицу.

А там темно. Черт! Ни зги не видать!

Я б фонариком посветил, да у меня его не было.

Темно, а там машины какие-то стояли. Машины стоят, а я иду.

А тут трое выходят из-за машины и говорят: «Получай, сука!»

И начинают меня метелить.

Но ведь Галибутаев тоже не дурак. У меня заранее была припасена половинка, так я ей как одного хряпнул, он так и сел.

И Галибутаев счастливо рассмеялся. Он снял шапку и вытер вспотевшую лысину.

— Тут я обрадовался и думал, что уже почти победил. Только рано я радовался, потому что один из них побежал к машине. Вернулся. И так ловко, и так страшно ударил меня монтировкой по голове, что я упал, обливаясь кровью. Они меня попинали еще немного ногами и лишь потом убежали.

А я остался лежать, пока меня не подобрали хорошие люди.

— Ну и что дальше?

— Что дальше? Я про кино. Вот самое и есть во всем этом удивительное, что я до сих пор очень люблю искусство. С удовольствием хожу в кино, а в прошлом году был даже в музкомедии. А их сразу оформили, как меня

подобрали тогда. Они сейчас там, где надо, тачки катают. А про меня была заметка в газете «Из зала суда», где говорилось, что я — молодец и не побоялся шайки хулиганов.

— Ну уж это ты, Галибутаев,ври-ври, да не завирайся,— сказал кто-то.

— Да я и не вру. Я только не знаю, есть ли такой закон, что как нету пятнадцати человек, так и кина не будет. Может, это заведующий намудрил и нахимичил? Мне, по крайней мере, так кажется,— тихо сказал Галибутаев, встал и надел рукавицы-верхонки.

Кончился перекур.

ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ

«...Ибо высшая мудрость — осторожность»,— понял он.

А дело было так.

Ехал он в троллейбусе, битком был набит его троллейбус, и он, чтобы народ не рвал ему черные пуговицы, решил прислониться к выходной (она же — входная) троллейбусной двери.

А кондукторша, пожившая женщина, средь шумной толпы это его движение заметила да как закричит, покрывая пассажирский шум своим зычным, своим кондукторским тренированным голосом:

— Не прислоняйтесь, ни за что не прислоняйтесь к троллейбусной двери, сегодня один уже прислонился и упал на улицу!

Милая, добрая, пожилая кондукторша! Он немедленно конечно же отпрянул от двери.

И стало в троллейбусе тихо, потому что всем стало страшно.

— Ну и что... с ним? — спросил, стараясь не выдавать голосом своего волнения, некий невидимый из-за спин, торсов и голов.— Что?

— Да ничего,— тоже почему-то тихо ответила кондукторша,— с ним, да ничо с ним. Вася тормознул, подбежали к нему, перевернули, подняли, а он — пьяным-пьяно, обратно залез и пока доехал, дак всех изматерил...

Оживились, расцвели пассажиры.

— Да... бывает...

— Пьяному, как говорится, море по колено.

— Тверезый был бы, он убился бы, он бы в щепки разлетелся...

— Ты на мине не дыши, «тверезый».

— А тебе коли не нравится, так ты такси бери и в ём ехай.

И услышав слово «такси», некто на сиденье, небритый и красноглазый, закрыл свои красные глаза и отвернулся к окну.

— А об этом уже устарело, кстати, гражданин, чтоб отвечать про такси. Об этом, кстати, уже в газетах обсуждали, что так нельзя отвечать, а надо вести себя культурнее на транспорте.

И началось, и продолжилось все, что бывает, все, что было в битком набитом его троллейбусе.

Но все равно — милая, дорогая, милая и добрая товарищ кондуктор!

Ведь вы, может быть, и не знаете, да вы и наверняка не знаете, а он вот теперь никогда больше не будет прислоняться к дверям автотранспорта...

«...ибо высшая мудрость — осторожность. Поступайте как все и как подсказывает твой жизненный опыт, и ты останешься жив до седых волос и умрешь естественной смертью»,— понял он.

Ладно. Это еще не все.

Вышел он из троллейбуса. Пуговицы его черные целы, деньги целы. Только вот меховую рукавичку он потерял. Ой-е-ей! Идет на работу, а сам горюет: «Вот уж какая замечательная была рукавичка — снаружи кожа, внутри — мех. Теплая. Жаркая. Пропаду я на таких морозах, ведь морозы такие, что плюнешь в кого, а ему не только обидно, но еще и больно, потому что плевок на лету превращается в лед. Прощай, моя бедная рукавичка! Замерзну теперь, как пес. Будет у меня гангрена на правой руке, и к весне у меня мою правую руку отнимут...»

Задумался, загоревал. Идет на работу, а сам горюет. Вдруг крик:

— Стой-ка, касатик!..

И бабушка, ему неизвестная, к нему сквозь зимние сугробы спешит:

— Ты, голубчик, куда быстро путь держишь?

Хотел он поперву ей какую-нибудь гадость, бабушке, сообщить, но так, чтобы она не поняла, вроде «на кладбище» или «в баню», гадость хотел, потому что очень жалко ему было рукавичку, но сдержался и кротко сказал седым волосам:

— На производство, мать, куда еще?

— По этой-то тропиночке и дальше пойдешь? — Щеки, веки в красных жилочках, слезы выступили у старушки — из-за ветра, из-за старости, из-за непонятной заботы о нем.

— По этой, мамаша, по этой, дурачков мало нынче по сугробам шастать...

— А водочку-то уже пил сегодня, нет?

— Я, стара, капли в рот не беру. Ни водки, ни вина, ни пива, ни коньяку — ничего не пью, ничего не употребляю.

— Истина?

— Совершенная. Печень у меня, бабуля.

— Ну и Христос тогда с тобой, ступай тогда дальше, голубь,— сухо заявила старушка и хотела нырнуть обратно в сугробы.

Тут уж он обозлился, озверел, хвать ее за полу. Пытает:

— Ты зачем же это мне, старуха, мозги крутила?

— А и не крутила, а вовсе хотела тебя сберечь,— с достоинством отвечала старушка,— вона видишь, что впереди?

А впереди, надо сказать, была трансформаторная будка и столб около будки, деревянный, с подпоркой, обликом своим повторяющий в больших масштабах букву «Л».

И объяснила ему старушка, что ежели кто, выпив водки, под такой большой, связанной с электричеством буквой пройдет, то тут ему и немедленная смерть от электрического тока. Это, дескать, народная примета, имеющая

физическое научное обоснование, что электромагнитное поле, действуя в совокупности с увеличившейся гамма-активностью солнца, определяет внутреннюю структуру спирта, находящегося в организме — спирт мгновенно охлаждается до температуры минус 10 градусов по Цельсию, человек падает мертв и недвижим, и ничем его больше не оживишь.

Милая, добрая, милая и добрая, светлая бабуленька! Ведь вы, может быть, не знаете, да вы и наверняка не знаете, а он вот никогда больше не будет ходить под такими зловредными рогатками и водку пить никогда не будет...

«...ибо высшая мудрость — осторожность. Остерегайся и знай о неприятном и опасном — и ты доживешь до хорошего будущего»,— понял он.

Но и это еще не все. Это еще не конец рассказа, так как треугольник — жесткая конструкция, и, чтобы окончательно укрепиться в своей мудрости, персонаж мой должен был претерпеть еще один случай, подтверждающий правоту его высшей мудрости,— третий.

Долго и ждать не пришлось. Видимо, суждено было ему познать все, связанное с высшей мудростью, сразу за один день.

Только пришел он на производство, только сел на свое рабочее место, чтобы заниматься делами, как начальник говорит ему:

— Идем, Александр Петрович, в коридор, мне сигарет из Москвы прислали, болгарских.

— А как называются? — спрашивает он.

— «Феникс» называются,— отвечает начальник.— Совершенно новые сигареты, которых раньше нам Болгария не экспортировала. Я был — не помню когда, где-то в 1965 году, по-моему,— в Москве и был на болгарской выставке. Так вот и там я таких сигарет не увидел, хотя там были представлены все сорта и разности, такие, как «Шипка», «Солнце», «Балкан», «Булгартабак», «Ри-

ла», «Дерби» и многое другое, чего я, по совести сказать, всего даже и не упомню, но точно знаю, что «Феникса» там не было, по-моему.

Вышли они в коридор, якобы покурить, и слышит он от начальника следующие знаменательные слова:

— Вот что. Если ты, гад, хоть еще раз на работу опоздаешь, то будешь у меня писать объяснительную записку. Мне на твои опоздания начихать, потому что ты работник не то чтобы хороший, но дело свое знаешь и по крайней мере с ним справляешься. Но может быть проверка из управления, а тогда и тебя, и меня, и всех лишат ежеквартальной премии, а тогда я тебя от злости по потерянным деньгам и авторитету разорву со злости, курицына сына. Понял?

А он в ответ, вместо ответа, взял и поцеловал начальника в лоб.

Начальник разволновался, но он объяснил свои действия так:

— Милый, добрый, милый и добрый мой начальник, дорогой Юрий Михайлович. Я не только вам благодарен за то, что буду теперь на час раньше вставать и приезжать на производство тогда, когда еще уборщицы в коридоре полы не мыли, чтобы без опозданий. Самое главное, я еще тебе за то благодарен, что теперь я окончательно укрепился в своей новой мудрости, понял, что высшая мудрость — это осторожность! Живи честно, живи осторожно, живи тихо и мило, соблюди правила — и ты будешь приятен каждому, и останешься жив до седых волос, и умрешь естественной смертью в хорошем будущем!

И начальник, представьте себе, с ним согласился, потому что с этим нельзя не согласиться.

И вот теперь он живет так, как будто он уже на небе и, успешно пройдя чистилище, направлен в рай.

Его все уважают. У него множатся деньги. Он вступил в Общество охотников и рыболовов, где летом убил из двустволки рябчика. Вкусный был такой!

Я, как и все, в свою очередь тоже крепко уважаю персонажа, вернее, почти героя моего рассказа — вот видите, написал художественное произведение, целиком состоящее из его жизненного опыта.

Написал и, что вы думаете, пошлю куда-нибудь для опубликования?

Нет, не-е! Ибо высшая мудрость — осторожность. Об этом помнит мой герой, это знаю я.

Пусть он лежит, этот рассказ, у меня дома в окованном еще по заказу моего дедушки сундучке, в назидание моему будущему потомству, чтобы и оно, когда я отойду в лучший мир, прочитало рассказ, заплакало и сказало:

— Истинно наш папашка был очень мудрым человеком!

ЗА ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ

СВИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ

ОТРИЦАНИЕ ЖИЛЕТА

ПЯТЬ ПЕСЕН О ВОДКЕ

ХОРОШАЯ ДУБИНА





ЗА ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ

Вот-вот. Так оно и было. Утро, зима, паутина белая на деревьях, скрл-скрл — снег, мороз щеки драит, холод, под пальто зябкое лезет.

А у нас хорошо. Жарынь такая разлилась: лампы паяльные — пламя синее — гудят, горелки газовые фырчукают — волнами тепло ходит, Абиссиния прямо.

И надо быть совершенной свиньей, такой, как наш начальник товарищ Тумаркин, чтобы погнать нас на мороз, да и не за теплым предметом каким, ну вроде свиных вареных сарделек либо пол-литры. Нет! За жидким кислородом он нас послал в сорокаградусный мороз, он, человек, задница которого уже сейчас насквозь прогрела мягкое и удобное кресло кожаное, с подлокотниками.

Грустно мне делается, когда высветится на экранчике мозга моего этот бидон проклятый, то есть баллон кислородный, синей краской крашенный (нарочно синей, чтоб холоднее было). Это и наука доказывает.

Ах, что бы теплое было! Хоть котенок, хоть каши горшок, а то ведь в этом жидком кислороде температуры отрицательной раз в десять, наверное, больше, чем на улице сейчас.

Я-то отлично помню, как принесли в класс такой кислород на урок химии, и полила им учительница тетя Котя живую веточку березовую, и стала она (веточка) такая уж хрупкая, ломкая, а нам так грустно сделалось, что и посейчас в нас эта грусть, как остаточная деформация.

Конечно, он может, Тумаркин-то, собака, что кресло свое уже проплавил сейчас насквозь, напрочь, может гонять за четыре квартала в мороз сорокаградусный. «Чш-чш,— говорит,— вы члены нашего маленького коллектива», а сам поди думает: лаборанты вы есть и сучары без высшего образования.

Наш НИИ хитрый такой. Другие есть — проволокой опутанные колючей в три ряда, собаки кругом по кольцу, как троллейбусы, бегают, тихо бегают: не лают, не играют, цепью не бренчат — ученые; только свист легкий и выдает их — трение, значит, кольца о проволоку.

У нас такого и в заводе нету. Прямой наш-то, без заплотов колючепроволочных, без собак. Так себе, стоит флигелек, а кругом студенты бегают — философы, историки да прочая шваль, а во флигелечке этом институтик наш научно-исследовательский, простой совсем, открытый, так сказать, всем ветрам. Только зайти туда постороннему человеку никак не возможно, а почему — это уж, извините, секрет, гостайна, а я подписку давал о неразглашении.

А так-таки дрянной наш институтик, заваль заваляшая. Был бы порядочный, так дали нам с Сашей машину или мотороллер, на худой конец, чтоб мы четко и слаженно — одна нога здесь, другая там — доставили кислород в жидком агрегатном состоянии для использования в мирных целях.

Конечно, будь мы хоть какого к науке касательства — совсем бы другое к нам и отношение. Вон есть заочники студенты у нас в лаборатории. Они умные все, лица у них добрые, очки выпуклые — во блеск!

Только я не хочу таким быть, и Саша тоже не хочет. От аналогичных, говорит, занятиев человека плешь да чахотка одолевают.

Мы с Сашей как в шестом классе сели за одну парту, так с нее же и вылетели вместе на первом курсе технологического института, когда началась та путаница с преподавателями, когда разразилась над нами гроза и «беспрерывно гром гремел».

А все из-за Куншина. Был у нас в школе такой малый. Сын мясника с колхозного рынка. Ходил всегда в черном френче, на котором имел накладные карманы, и

физиономия его уже тогда, это в восьмом-то классе, спокойно тянула лет на двадцать пять, на «с толком прожитые» двадцать пять, когда и морщины страдальческие по лбу и под глазами пустоты синие.

А в институте у нас все математики менялись. Сначала был Аркадий Иванович, который усы носил рыжие и до беспамятства любил логарифмическую линейку и график «игрэк равняется синус эн альфа». Нас не обижал, но исчез быстро: месяца не проучил. Тогда поставили нам злого человека из Тамбова. Только-только этот человечек какой-то университет окончил. Молодой был, а уже холодный: все боялся, что мы у него невзначай те несколько лет сопрем, что нас в возрасте различают. Ух и лютовал! Ты ему «вы», а он тебе «ты». Мы его за тупость да за упрямство тамбовским волом всегда звали.

А третий долго не появлялся. Мы уж было совсем заволновались: а может, совсем пропали математические педагогические кадры? Ой беда, ай нехорошо!

Только видим, что в один прекрасный день заходит в аудиторию не кто иной, как наш старый приятель Куншин. Давайте познакомимся, говорит. Я ваш новый, говорит. И прочее, что в таких случаях полагается.

— Что за черт,— я Саше докладываю,— как же это может быть Куншин, когда Куншин в двадцатой школе два раза на второй год оставался и из болота мелкой науки, стало быть, еще не выбрался, а уж про университеты и говорить нечего.

И Саша тоже глаза вспучил, кадык гоняет и понять ничего не может. Накатилось беспамятство на нас. Понимаем ведь, что не Куншин это. Куншин лодырь был, да еще тупой-тупой. А новый-то наш — пиджачок снял, а под пиджачком у него рубаха белая, рукава на резинках, и формул на доске, о господи, мириады, прямо больше, чем алкашей в отделении на Седьмое ноября.

И с этого дня пошла наша жизнь студенческая вкривь и вкось. Ходит Куншин проклятый и учит нас дифферен-

цировать да интегрировать. Уж и светом зеленым у нас в глазах близить стало от неведения, когда не выдержали мы, поприжали его в темном углу и спрашиваем:

— Ты Куншин или нет?

— Какой такой,— говорит,— Куншин?

— А вот такой, обыкновенный,— говорим,— а ну-ка сними рубаху, у тебя на спине шрам должен быть.

Тот брыкаться стал. Хоть парень и крепкий был, но в несчастном беспамятстве своем стянули мы с него рубаху белую, разодрали при этом малость случайно и видим, елки-палки,— есть шрам!

Вот тут-то и опешили мы:

— Так ты, стало быть, Куншин все-таки!

А он шумит, грозит. Народ криком собрал, голосом нас выдал. Отвели нас в деканат. Собрание на другой день сделали. Треугольник группы — староста, комсорг да профорг — вето на нас наложил, и полетели мы из вуза, едва крылышки расправить успели.

Да, дела. И, главное, спрашивают нас и удивляются: зачем да почему скандал учинили? Может, пьяные были, тыры-мыры, тыры-пыры. Нет, вот и не пьяные. Тогда почему же? Э-э-э-э-э, а просто все это, дорогие товарищи, просто как, извиняюсь, Колумбово яйцо, просто они — хулиганы и лодыри. Хотели они его (понял, советского преподавателя!) запугать, чтоб он им быстро-ловко зачетик поставил, а только не вышло у них ничего, потому что подонки современные они. Он их, плесень...

Ну а мы-то уж молчали. Неловко как-то признаваться было. Ах ты, распроклятый Куншин, что второй, что и первый. Сотрудники сатаны.

После этого печального события стали мы думать, как нам армии избежать. Вы уж извините нас, подлецов, но больно неохота три года «ать-два» делать и «налево», «кругом», «марш» тоже. В общем, как ни крути, а у меня мать-старушка, у меня на иждивении, а я соответственно ее кормилец, а у Саши случайно чахотка появилась,

даже раз кровь горлом шла, а все от недоедания и переутомления в науках.

И стали мы совслужи за семьдесят рублей в месяц минус всякое к нам уважение ввиду нежелания продолжать каким бы то ни было путем систематическое высшее образование.

И вот шли мы улочкой морозной за кислородом проклятым и что-то повеселели.

Черт с ним, с морозом, когда рукавицы с шапкой есть и кровь молодая. Ай да черт с ним. Я Сашу толкнул, а он отскочил, ногой трах-тарарах по дереву, и клочья мне за шиворот — белые, колючие, холодные. «Ой, хихикс!» Раздовольнехонький. Тут уж я тепло больше экономить не стал. Снежок лежалый из сугроба выхватил — и Саше прямо в харю. Призадумался он.

Так-то вот с шуточками и прибауточками народными добрались мы до подстанции, где газы жидкие в неограниченных количествах по безналичному расчету выдают.

Девушка там работала. Нина. Ее нехорошие люди проституткой звали, но нам такая формулировка ее поведения ой-е-ей как не нравилась. Дура-то она была, это уж точно. А все остальное от глупости: перегидроль, мушка самодельная на физии, клипсы — чего не натворишь. Так ОН же потом, кобель, закурит немецкую сигаретку с фильтром. «Да, вот какая такая она стервь»,— говорит, а глазоньки-то уж блядские у него, у него самого. А остальные, что слушают, что рты поразевали: «Ну-ну... Это ж нужно... Прямо тсс, как не комильфо...»

Вот убивал бы гадов таких из автомата без малейшей жалости.

Я Нинке галантно говорю:

— Здорово, полупочтеннейшая скиадрома.

А Саша губами:

— Сип-сип-сип.

А Нинка:

— Ой, я усохну.

— Не сохни,— отвечаю,— кислород давай по безналичному для нужд.

А Саша:

— Да, э-э, девушка...

А она:

— Ой, я совсем усохну.

Кран открыла, шланг в баллон, дымится кислород. Дым белый, шип змеиный от кислорода идет, а она и не смотрит и не слушает, она на нас взирает, какие мы молодцы-петушки, Васи Теркины с мороза. И мы уже уходили, уже баллон с двух сторон за стылые ручки взяли, а она вдруг на крыльцо выбежала. Шаль набросила, рукой машет, а мне вдруг так горько стало, так больно. Думаю, пропадешь ты зазря, дура красивая, пропадешь...

Но я себя одернул, отнеся причину этой тихой грусти за счет тяжести баллона, за счет сорокаградусного мороза и вообще за счет этого чертова дня.

И тронулись дальше, захрустели по снегу. Молча идем, что-то думаем. Думающие люди-то мы, слышь? На все можем «нигил» начепить, а можем и не начепить. Это уж как возжелается.

Но смех-то смехом, а холод кусает, гадюка. Ручки эти будто в отрицательном пламени горели, прямо совсем отрицательно раскаленные, и, чтоб не нанести повреждения наружном кожному покрову, зашли мы погреться в гастрономический магазин, и Саша сел на баллон, чтобы не смущать народишко, который знай себе и знай снует и снует по магазину. Подходит мужичок в шапке. Одно ухо вверх, другое — вниз, как у овчарки нечистых кровей.

— Че несете, ребята?

— А то несем, что тебе знать не положено.

— Тогда давай по рублику, что ли?

— Мы, может, сегодня масштабом выше,— закобенились мы поперву.

— Не свисти,— строго заметил мужик, и нам пришлось согласиться, что ж делать, не обижать же человека.

Саша хотел «гитлера» — емкость в 0,75 литра. «Я, видите ли, вина давно не пил. Хочу. А то все водка да водка».

Но мы с мужиком его устыдили. «Ты русский,— говорим,— или турок? Сейчас мороз и надо водку пить, кто водку не пьет — изменник прямо идеалам».

Внял Саша. Приобрели «гуся» за два восемьдесят семь, и на пять копеек закуску «хор Пятницкого», или по-официальному «Килька маринованная». И ходу в столовую напротив, туда, где вывеска висит: «Спиртные напитки распивать строго воспрещается». Я стаканы организовал и два лобио. Это блюдо такое кавказское: фасоль, подливка жгучая, перец черный сверху, и все-то удовольствие стоит одиннадцать копеек.

Хватили мы по граненому, потыкали лобио, размякли, и начал мужичок свой рассказ:

— Я раньше сапожник был частный, потому что инвалид с войны. Имел коло висячего моста мастерскую — будку фанерную под заголовком «МАСТЕРСКАЯ ЗАРЕЦКОГО. МОМЕНТАЛЬНЫЙ И ПОДНЕВНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ», имел инструмент сапожный и гармонию, собственноручно вывезенную из города Берлина в сорок пятом году, когда вы, значит, на свет-то и повылазили.

После множества событий в жизни нашего общества стал я вольнодумом: на одной стене повесил один портрет, на другой — другой и любил, сев в уголок, подмигивать то тому, то другому: знай, мол, наших.

И жил я безбедно и безоблачно, пока в один прекрасный день не явилась поутру дамочка с красными губками и заплаканными глазками, и туфелечка у ей в шпилечке сломана.

Но виду я не подал. Набрал в рот гвоздей медных, голову наклонил, набычился. Ремонтирую. А вот когда уж

готово все было, тут я ее и осмелился. Спрашиваю ласково: «Где же вы так туфельку подпортили?» А она и до этого мрачная была, а при словах вопросительных вдруг как зальется слезами: «Ах, все равно он негодяй, мерзавец...» Дала мне пятерку и убежала. А я-то с нее хотел один рубль поиметь...

И вот высунулся я в дверь, распрямился. Вижу, цокает она далеко-далеко. Косыночка развевается. Грустно так стало. Запер предприятие, взял гармонь, мужику по морде дал, который хотел меня заставить в такой грустный для меня час его вонючие ботинки чинить.

Водки взял. Пошел в рощу березовую. Иду меж дерев, наигрываю. Тихо. Пиджак на одном плече, душе сладостно так, аж плачу, сам себе играю, сам и плачу. Хорошо было. Ни о чем не жалею.

И дошел я до какой-то стены и стал там жить. Хлеб да огурцы на газетку положил, водочку попиваю да наигрываю. Только не дали мне спокою там. Под самую ночь пришел какой-то и погнал меня к маме — хотел вообще брать, да видит — калека, отпустил.

Я тогда на опушку пошел и там уснул, а утром солнышко пригрело, взбодрилась душа моя, рванул я мехи и выхожу с опушки, потому что магазины в восемь открывают. Туман стелется еще. Солнце в нем дыры делает, и посреди этой обстановки встретил меня поэт один, мигом про меня стихи сочинил, воодушевившись, и мне же их прочел. Что-то помню, чушь там какую-то:

«И вся Россия как гармошка...»

Так вот гулял я неделю и все спать приходил к той самой стене, и сказали мне добрые люди такие слова, что за этой стеной атомный завод, а я, значит, через месяц умру, оттого что у меня кровь свернется. И испугался я, потому что у меня тысяча двести скоплена на сберкнижке, а умру я через месяц. И раскинул я себе гулять по сорок рублей в день. Как гулял — не буду вам

рассказывать, не дело это перед смертью, а только сегодня последний денечек мой.

Была взята еще водка, но лобио мужик есть отказался.

— Последний день мой,— завопил он,— желаю патиссонов.

И сильно пнул баллон с кислородом.

Выпили. Соляночки похлебали с маслинами. Сорок копеек проклятая стоит, но раз уж последний день — можно человека уважить.

И неизвестно откуда музыка взялась. Заиграла, запела. Я не удивился. У меня всегда так: как выпьешь, музыка сразу «треньди-брень». Это я объясняю гипнозом алкогольного состояния, локальной ослабленностью организма в башке.

Мужик стал грустный и добрый:

— Давай споем, что ли? Ребята, а? Робертину Лоретти. Жи-маа-а-й-ка!

И мы с Сашей подпевали, а потом взяли еще бутылку, и, кажется, еще одну, и у буфетчицы выросли усы, а вскоре исчезли, и Саша все удивлялся — когда ж она побриться успела, вроде и не уходила никуда, а бутылки, тарелки, ложки и стаканы сами собой написали слово «МИР», а если прочесть назад, то получалось «РИМ». Появилось множество знакомых лиц, и главное из них — Куншин с академическим портфелем, Куншин, который попил с нами кофе, рассеянно почитал газету, но потом исчез так быстро, что я забыл спросить с него объяснения за давешние шутки с преподаванием математики.

Мужик-то все просил, чтоб ему гармонь дали «да на ангела моего, жизнь мне переменившего и тем убившего, посмотреть». Он немного порыдал, сокрушаясь о своей близкой смерти, но затем вдруг стал сухим, желчным и раздражительным. Высокомерно так заявил:

— Но, но, но, молодые люди, я знаю вас, молодые лю-

ди. У вас в баллоне не что иное, как атом. Тот, кто познал атом через забор и привез из Берлина гармонию, может разгадать вас, сопляки.

И тут я встал и в восторге рыдающем сказал:

— Врешь, отец. Ты — отец, мы — дети. Это есть не атом, а величайшее благо, газ жизни — кислород.

— Э-э нет,— упрямился мужичок,— мне пятьдесят пять лет, а меня никакая физика, никакая химия не возьметь...

— И я дарю этот газ жизни всем присутствующим, включая дам,— галантно добавил я.

И все стали во фрунт, и буфетчица, и судомойки, и кассирша, и посетители, и ложки, и стаканы, и бутылки пустые, и бутылки полные — все замерло.

А правофланговым был Саша.

Достал я наш синий баллон, р-раз, р-раз по крантику — и повалил белый кислородный дым, и разрумянились лица. Ура! — все кричат. Слава! — все кричат. Целуются все.

Армию я свою взял, всех, кто во фрунт стоял. Бутылки, буфетчицы, низкорослые вилки, мусорные урны, два районных битла — все в движение пришло.

Только одно по сердцу резануло: Нинки нет с нами. Она ведь не дура теперь, раз такая армия, а впрочем...

Позабудь, позабудь, солдат, про дом, ать-два!

Участковый, участковый нынче пущен на дрова!

Армия, и Саша — ротный.

А мужик взводный.

Дошли мы до НИИ нашего, армию в окопы, а сами вызываем Тумаркина, начальника.

Я ему говорю:

— Во избежание пролития давай с тобой один на один, как богатыри, по принципу Куликова поля.

Тот понимает, что конец ему и всей его лавочке настал, такую чепуху мне порет, кулачонками грозит.

Тут уж осердился я:

— Ах, ты так. Тогда смотри: вот нас три колдуна. Мы руками трогать не будем ни тебя, ни заведение твое, которому так кислород требуется, а для чего — это мы и сами знаем.

— Да-да,— высунулся мужичонка,— никакая физика, никакая химия...

— Трогать не будем, а скажем лишь три слова, из которых одно нецензурное, и ты увидишь, что будет.

И мы сказали три слова, из коих одно — нецензурное, и зашатался дом, и молнии хлестать крышу стали, и все кирпичики, перекрытия разные стали превращаться из атомов в одну огромную молекулу, и я с радостью увидел, что это — этиловый спирт. А сотрудники все, кто хорошие,— превратились в голубей и полетели парить, напевая про себя песню Исаака Дунаевского «Летите, голуби, летите», а кто были плохие — превратились, стыдно сказать даже, в дерьмо, и Тумаркин был, извиняюсь, самая большая кучка. Новый удар, гром, Куншин появился, построилось в каре наше войско, я рукой махнул, да вдруг и упал бездыханный.

Ох, как башка-то утром разламывалась, господи боже ты мой! Мать плачет, ты, говорит, совсем дурной сын стал, непослушный. Раньше ты не такой был. Ну я слез мамашиных выносить не могу, ведь и у меня сердце есть, огромное сердце, я говорю:

— Это, мать, ниче, это так, случайно.

А у самого аж помутнение в глазах, ничего не понимаю.

Надел штаны, пальто и вышел на улицу. Трудовой народ кувать идет, и я вместе с ним. Только вдруг что-то как закружит меня, как толкнет.

«Ага,— соображаю,— остаточная деформация».

Народ на меня не то что с опаской смотрит, а вообще доброжелательно, как на родного. А навстречу мне и сам

Саша. Важный, степенный, в очках. Деформация у него всегда пластическая. Остановились мы и так хорошо заговорили, что все беды за экран, за море-окиян уплыли, и безденежье хроническое, и бедокурство наше. Вот мама только все упрямилась, головой качала седенькой, укоряла нас, да потом и сама развеселилась: «Черт с вами, ребята. Ох, и озорники ж вы мои». И так хорошо мы о чем-то заговорили, что народ даже шаг притормозил: завидно ему стало, что не спешим мы кувать, а вот стоим, по-человечески беседуем и в трамвай не лезем, пуговиц своих-чужих не рвем и не суетимся...

И чтоб не смущать народ, пошли мы туда, где еще вчера наш НИИ стоял, где мы лаборантничали за семьдесят рублей минус всякое уважение.

Смотрим, ай, а он и сегодня на месте. И зазывает начальник Тумаркин нас к себе в кабинет, где кресло, его задницей вчера окончательно расплавленное, за ночь закристаллизовалось в форме того же кресла, и зачитывает нам приказ об увольнении по статье 47 КЗОТ за халатное отношение, нетрезвый вид и прочие каверзы.

Тут мы с ним немножко поборолись и добились, чтоб он изменил формулировку на «по собственному желанию», отчего и друзьями с Тумаркиным расстались, руки нам жал, напутствовал.

И вот идем по улице, думаем, куда пойти — учиться? Или работать? Кто его знает... А может, к сапожнику в пай? Он-то поди не умер еще, его ведь никакая физика, никакая химия не берет.

Легок на помине, и сапожник появляется, вполпьяна уже, а может, и на старых дрожжах, со вчерашнего... Сообщает:

— Русский народ, вишь, по двум законам живет. Один — бу сделано, а второй —...с ним. «Пить не будешь больше?» — «Бу сделано». «Уволим, ежели что еще такое».— «А ну и... с ним». «Холодно. Пальто надо ку-

пить».— «Бу сделано». «Эх, холода настали, а нету пальта».— «Ну и... с ним». Поняли, пацаны? Мы-то пока по второму закону поживем, а потом можем и по первому, это уж как возжелается.

И идем мы той же улицей, что вчера за жидким кислородом шли. Потеплело малость, снежок реденький стелется. А я все думаю: ну вот уволили нас — это ладно, но НИИ-то наш, распроклятый научно-исследовательский, взрывался вчера или нет — хоть убей не помню.

А больше никто об этом не думает.

Поэтому одинок я на свете, как штырек проигрывателя посредине черной, черной, чернющей пластинки.

СВИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ

Разные люди посещали уютный ресторанчик при станции Подделково Московской железной дороги, разные люди просиживали там минуты, часы и дни, разные, но хорошие.

И станция тоже была ой-ё-ёй какая красивая — прямо завитушечка. Имела станция начищенный, средних размеров колокол, медный, в который никогда не колотили, числились там старинные часы с жесткими стрелками и выпученными цифрами, а также дежурный в красной шапке — строгий и нелюдимый, а вот, напротив, станционный милиционер Яшка-синяя фуражка был очень простой и общедоступной личностью: он даже иногда детям грецкие орехи рукояткой револьвера колотил.

И канал Москва — Волга настолько близко к станции подходил, что летом видна была палуба теплохода, полная веселых оптимистов, и пустое верхнее пространство проходящей баржи, где трепыхалось по ветру матросское белье и босоногие фигуры, устроившись в штабелях колотых дров, исполняли на полуаккордеонах популярные песни и танцы — чаще всего «Я никогда не бывал», ту самую, что поет оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев.

И электрички — вжик-вжик — серые длинные крысы серые тени на серый заасфальтированный перрон лепят; пс-пс-ы — резиновые двери и ту-ту-ту бу-бу-бу-ву-ву — покатили на Москву.

Да, да. Именно на Москву, и ни в какую другую сторону, потому что была эта станция для электричек конечная, так что если кто и хотел ехать еще дальше от Москвы, то обязан был сесть в простой поезд с проводником, кипятком, паровозом, трубой и дымом, и народ действительно садился — все больше с фибровыми чемо-

данчиками да котомками — и отправлялся неизвестно куда — не то к Питеру поближе, не то к Воркуте: северная, в общем-то, оказывалась дорога, а не в теплые страны.

Вот так. А район-то, который к станции прилегал, сам по себе корнями уходил в дикую древность, когда татары были сильнее русских и от них строили крепости с монастырями, валами, рвами и крепкими воротами. Строили как крепости, понятно, напрасно, но польза вышла через несколько веков в виде памятника древней культуры «Крепость-монастырь Подделково охраняется государством» и расовой принадлежности жителей Подделковского района, в которых, как в капле, частично отражался спорный тезис некоторых товарищей, что русских в России больше не осталось и мы все метисы, а кто называет себя русским и утверждает, что его родила русская женщина, так тот нахально врет или заблуждается, хорошо не продумав существо вопроса или вовсе не обращая на него внимания.

Ясно, что район, имеющий в центре и повсеместно сумму памятников старины русской, не может быть так уж сильно развитым в промышленном отношении, но наш район брал своей ученостью: кроме научно-исследовательских институтов в подвалах церквей, где копались архивариусы, окончившие Московский историко-архивный институт, здесь функционировала крупнейшая атомная станция для мирных целей, которая заменяла торф, уголь, бензин, соляр и дрова, а требовала только воду, графит и немножко урана-235. А макробиологическая станция с морскими свинками, дельфинами, черепахами и собачками настолько была известна всему миру, что часто улицы древнего, а оттого и несколько скучного, городка оживлялись иностранцами — совсем похожими на нас людьми, но ничего не понимающими по-русски.

Техникумы, ФЗУ, институты, ШРМ — об этом и говорить не приходится. И так ясно, что куча их у нас. Упо-

мяну только, перед тем как перейти к основным событиям моей грустной истории, еще об одной достопримечательности района — психоневрологической лечебнице полузакрытого типа на 1200 мест. Она тоже прогремела на весь Союз именно потому, что там применяли новые лекарства, новые методы лечения и общежития больных, и еще — воздух, неповторимый по акцессорным химическим элементам подмосковный воздух, лес и близость спокойной воды мигом выпрямляли слишком искривленные мозги людей, страдающих, увы, очень распространенным в наше умное время недугом.

А из методов — вот, например, последнее, что там придумали ученые-врачи: О-С-Б, или Общественный Совет Больных.

И больные от этого так обрадовались, что сразу же затеяли выпуск стенной газеты в двух экземплярах под названием «За здоровый ум», где осторожно, но смело критиковали отдельные грубые действия отдельных санитаров, а после выпуска газеты пошли еще дальше — сами, ве́село, с песнями заново отремонтировали всю больницу и покрасили ее в лазурный, глаз радующий цвет, так что психоневрологическая лечебница стала одним из приметных красивейших зданий станции, но ведь не это важно — важно, что труд многих постоянных обитателей больницы вылечил совсем, вчистую, так что их даже стало немногим меньше, чем тысяча двести, и имелись свободные койки; да и на оставшихся труд наложил особую печать мудрости и спокойствия, что позволяло им легко переносить свое ненормальное состояние. Вот какое целебное действие оказалось у лечения Общественным Советом и трудом!

Сам видишь, друг и недруг читатель, какое обилие тем и сюжетов предлагают начинающему литератору станция Подделково и прилегающий к ней район. Но не буду я писать ни о волшебном действии атома, ни о морских свиньях, ни о старине, ни о сумасшед-

ших. Мне бы чего-нибудь попроще, как в песне поется, читатель! Ведь еще до сих пор не перевелись, к сожалению, грустные случаи, которые рождают грустные истории, подобные ниже описанной, а когда они все переведутся, то я и про это напишу, и про архивариусов, и про веселых студентов. Поэтому не сердись, а прочитай, как послушай, мою грустную историю про ресторанчик при станции Подделково под названием «Подделково», про драматические события, происходившие в его стенах и в зале районного суда, в зале с выездной сессией, прокурором, тремя корреспондентами различных газет и массой взволнованной публики.

А ресторанчик этот непосредственно на железнодорожном вокзале и помещался. Нужно было толкнуть тугую вокзальную дверь и пройти через комнату с желтыми деревянными скамейками, где полуспали путешественники, где, кроме всего прочего, висел телефон-автомат, из которого можно было за 15 коп. позвонить прямо в центр, в Москву — сердце России. А потом нужно было открыть еще одну дверь, стеклянную, со швейцаром, и пройти за стол и сесть и нюхать запах того кушанья, отведать которого все сюда и приходили — блюдо «Свиные шашлычки» — гордость и изобретение ресторана, или, если быть точным и объективным, директора его — незаменимого и талантливого Олега Александровича Свидерского, о котором я все расскажу, но немного позже, потому что нужно сначала рассказать про шашлычки, из-за них ведь весь сыр-бор загорелся.

Среди множества основных достоинств шашлычков резко выделялись главные: относительно умеренная цена порции и незабываемый вкус. Ну вот вы сами посудите, чудаки, где ж еще поблизости от Москвы вам выдадут на шестьдесят четыре копейки столько соблазнительных по виду и запаху натуральных кусков мяса, да еще и политых острейшим оранжевым соусом, да еще и с лучком, да еще иногда и с лимончиком! Эх! При простом

перенесении на бумагу воспоминаний об испытанных вкусовых ощущениях рот пишущего эти строки наполняется высококачественной густой слюной.

— Главное здесь то, что порция приличная, ой приличная — прямо на удивление,— нервно говорили понимающие люди, говорили, влажным глазом контролируя правильность сгружения официанткой Нелли стальных тарелочек да со стального подносика да на нарядный стол, разукрашенный пивными бутылками и прибором СГП — соль, горчица, перец.

А нервными понимающие лица стали не от объективных причин, а от того, что пили казенную, а не ресторанную водку, ибо, как известно, ресторанная водка в ресторане необычно дорога. К тому же если представитель администрации в лице официанта заметит подмену ресторанных интересов казенными, то немедленно, хотя и незримо, потребует оплаты за нейтралитет в сумме полтинника или целкового.

Ах, что там водка. Это грустно. Я лучше еще про шашлычки: источали они тонкий земной мясной дух, хрустели и таяли на зубах и языке едоков, были они совершенным воплощением приготовленного свиного мяса. И не зря ведь и не раз захмелевшие почитатели свиных шашлычков вызывали аплодисментами директора и чудесного изобретателя Свидерского раскланяться, поговорить и выпить с трудовым народом, проводящим свой досуг в ресторанчике и тем самым на практике решившим острую проблему свободного времени не раз, но никогда выполнить это не удавалось, потому что жил Свидерский своей работой где-то в глубине ресторана, за котлами, плитами, кастрюлями, автоклавами, сундуками, в кабинете, среди шуршащих счетов, накладных, фактур, среди почетных грамот, сейфов и красного вымпела, говорящего о первом месте.

Всех видели — официанток Нелли, Римму, Шуру, Таню и Наташу, буфетчицу Эсфирь Ивановну, сменных

швейцаров-друзей Кемпендяева и Козлова, даже поваров иной раз видели, а вот директора — никогда.

Ну и ладно.

И знали посетители — тихо, хорошо, деловито и прохладно в заведении, а вот какая напасть мучает слаженный, дружный, сработавшийся с точностью часового механизма коллектив — никто этого не видел, никто об этом не знал, какое «знал», никто об этом и не догадывался даже.

А суть напасти была в том, что ресторанные возчики всегда попадались «Подделкову» как на подбор: отборные пьянчужки, матерщинники, ворюги, бабники — кто во что горазд, а в общем, отборные дряннейшие образцы человеческой породы.

Поведение последнего из них, некоего Ордасова, повторяло и дополняло поведение его десяти предшественников: лошадь его зазеленела и качалась от голоду и от побоев. На кухню забежит Ордасов, сразу нужно схватить ему первый попавшийся шампур с шашлыком, пива требует одну бутылку, вторую, третью, а если выйдет на двор по нужде или по делу судомойка или другая какая женщина, так обязательно начнет Ордасов хватать ее за места и делать ясные предложения, в которых фигурирует чердак ресторанной конюшни и сено, которое там хранится, и мягкость этого сена. А если по каким-либо причинам соблазнительные дела ему не удаются, то Ордасов немедленно пускает в ход мат и обидные прозвища — в частности, он придумал унизительное в наших условиях слово «ложкомойка» по отношению к трудящейся женщине.

Хотя, может, это кой-кому и не понравится, но коллектив явно вздохнул с облегчением, узнав, что возчик Ордасов продал наконец кому-то на сторону куб сливочного масла, а деньги пропил, за что и был взят под стражу работниками ОБХСС, на допросе рыдал, во всем признавался и вскоре отправился куда положено.

И вот в ясное погожее утро, когда пробуждается природа, когда только защебечут птички, когда роса все еще увлажняет асфальт, когда в ресторане уже начинали суповую закладку, а соусник Витя уже застегивал желтые пуговицы своего белого халата, когда все только начинается,— все отметили внезапное появление во дворе неизвестного молодого человека, неизвестной, высокой и печальной наружности. Одет он был странно, но не очень: техасские штаны московского производства, добрые туристские ботинки за шесть рублей и серая лавсановая рубаха, правый рукав которой был расстегнут.

Все удивились появлению печального незнакомца, а молодой человек, покопавшись в штанах, вынул кнут, подошел, постучал кнутовищем в окошко и сказал:

— Аггы? Угу!

Все замерли, видя необычное поведение, слыша странные слова, а молодой человек покружил еще по двору, потом пинком доброго ботинка растворил тяжелую дверь конюшни, вывел лошадь Рогнеду, выкатил телегу на две оси — и в мгновение ока хомут уж на вые, телега за Рогнедой — в общем, ходовая часть ресторана на ходу.

— Это возчик новый! — крикнул соусник, и все сотрудники высыпали во двор.

И зеленела трава, зажелтели уж одуванчики, и даже Рогнедин навоз весьма видимо выпускал теплый пар, а новый возчик уже знакомился с новыми товарищами по работе.

— Я Аникусця, и я буду у вас восцык, на лосцадке буду во-о-сцы-цек, на лосцадке буду «тпр-р — но». Аггы?

— Угу,— отвечали растроганные.

А потом новый возчик сделал вот что.

Опустил ворот рубахи на правое плечо, так что расстегнутый рукав полностью закрыл его правый кулак, затопотал на месте и запел:

— Паровоз путь идет, не путяди куда дёт! — И крикнул: — Бабы! Мято, мято!

— Убогонький он, вот что, убогонький он у нас,— так поняли жалостливые официантки эту сцену.

— Ну что, Аникуша, работать пора,— раздался ласковый и вместе с тем строгий голос.

И все взвихрилось, и все засуетилось, и все побежали к котлам и автоклавам, к кастрюлям, шампурам и сковородкам, к картофелечисткам, теркам, сифонам, соусникам, мясорубкам, дуршлагам — потому что Свидерский Олег Александрович, сам товарищ директор, вышел на железобетонное заднее крыльцо ресторана.

И подошел, четко ступая, к Аникуше, и сказал ему следующие слова:

— Аникуша! Работай хорошо и не воруй, и ты будешь жить хорошо.

Так сказал Свидерский, и Аникуша опустил голову, загрустил, но через секунду обрадовался, накидал полную телегу пустых ящиков и торжественно выехал через зеленые ворота работать.

Вот когда ресторан достиг наконец настоящего расцвета, когда боевая обойма коллектива была укомплектована качественным новым патроном с хорошим капсюлем и достаточным количеством пороха, с боевой, хотя и маленькой, свинцовой головкой.

И даже шашлычки стали еще вкуснее, еще совершенней, и неуклонно ширился круг их любителей, и за короткое время в ресторане станции Подделково перебывало множество народу.

Были физики с атомной станции. Строгие, в очках, в нейлоновых рубашках с короткими галстучками и по сути очень простые ребята: анекдоты рассказывали, а один из них, наверное молодой, да ранний, спел довольно сомнительную песню, хотя глаза его оказались чудесными и оказывали явное доверие нашим идеалам, просто молодой был паренек, не устоялся еще... Ели и хвалили...

Были макробиологи, и от них почему-то нисколько не воняло животными, а ведь разнообразные черепашки

имели с учеными непосредственные связи и были ими чрезвычайно любимы. Хорошие люди, но какие-то больно мягкие, ласковые, все точно как дама из ихней же компании, которая сказала такие слова:

— Это надо же. Нет, вы представьте себе. Товарищи! Витя, Алик — это же надо — в такой глуши, за восемьдесят километров от Москвы, и такая кухня, такой сервис! Вы знаете, что я русская, но я приехала в Москву из Баку и там ела шашлыки. Так вот: я вспоминаю свою солнечную родину и, кажется, готова заплакать и раскрыться, как лилия под дождем.

И друзья ее — Витя, Алик с лысой башкой, Эммочка и Эммануил — чокнулись со звоном казенной «Московской» и ели и хвалили.

Были и заезжие студенты из Москвы, представители нового поколения отцов и детей. Зашли, отведали, ахнули, ели и хвалили, а сами настроили электрогитары, а сами были уже без бород, но уже с длинными волосами и в расклешенных брюках и в японских свитерах. Ну а когда они слаженно заиграли «биг бит», все тогда узнали, что ни за что за это их осуждать не надо и что не только штанами и прическами определяются качества человека, как об этом писал когда-то поэт Евтушенко. И что джаз тоже очень хорошая вещь, ибо он не вредный, а и классическую музыку мы тоже знаем и уважаем, но в определенном применении к модерну, нет, нет, вы не подумайте, что категории наизнанку, нет, вовсе не так, ведь мы живем в эпоху новизны, в период физматов и ф. м. ш., во время физиков, которые все понимают и ироничные. Вот как примерно играли заезжие студенты, как потом выяснилось — студенты-геологи, и народу на их игру набежало видимо-невидимо, и все ели и хвалили.

И даже председатель ОСБ, больной Лысов, изобретатель вечного двигателя, отпущенный как-то теплым летним вечером врачом, ему сочувствующим, на свобод-

ную прогулку, забежал в ресторанчик и в углу, за столиком, где слева зеркало, а справа копия с картины Сурикова «Боярыня Морозова», беседовал с незнакомым физиком о прошлом и будущем своего изобретения. Был сам Лысов невысок, и с залысинами, и с усталым лицом глупого человека. Он в психбольницу не сразу попал, а через полушубок. Он полушубок украл на базаре. Он бы до самой смерти своей двигатель разрабатывал и выводил философское доказательство его существования, потому что жизнь вокруг он и раньше понимал как уже действующий вечный двигатель. И не знал только, двигатель какой у такого вечного двигателя. И он делал свою модель после работы, мастер, надо сказать, хороший был Лысов, но он потом спер полушубок на базаре и получил несколько месяцев, а там уж он стал кричать и нести всякую чушь; в частности, и про двигатель всем рассказал, администрации, и его тогда направили на принудительное лечение, простив ему полушубок, и тут Лысов и сделал карьеру, венцом которой был почетный и приятный пост председателя Общественного Совета Больных.

Крепко поспорили сумасшедший и физик, и говорит физик больному Лысову:

— Слушай, старик, ты же умный человек, старик, ты же знаешь, что идея вечного двигателя бессмысленна и на ней ошибались лучшие умы, ты же где-то не можешь не понимать своей малости перед лицом мировой науки.

Заплакал председатель Лысов, обнялся с физиком и признался наконец во всем, в том, что двигатель он хоть и построит, это точно, но сам в его длительные и существование и работу не верит по одной простой причине, потому что детали и приводные ремни изотрутся и нужно будет ставить новые, и, следовательно, двигатель хотя и заработает, но уже не будет вечным. Говорили они, плакали от жестокости и суровости науки, но ели и хвалили.

А возчик Аникуша сидел во время этого расцвета на кухне и, раздвинув глубокомысленно рот, объяснял любопытным, как он любит сильно кошек, собак, рыбок, птичек, а также цветочки и траву. В свободное от работы время носился по предприятию, прыгал, скакал, блеял, причем забегал в самые заповедные уголки — кладовую, холодильник, да что холодильник: он в святую святых забегал, в директорский кабинет, и тоже там прыгал и скакал, даже если Свидерский был с посетителями — и странно, не очень-то сердился Олег Александрович на богом обиженного своего сотрудника, хвалил его, ласкал. Вот ведь как один маленький человек может помочь понять обществу другого, большого. Все вдруг увидели, что очень добрый, немолодой и усталый человек директор ресторана Олег Александрович Свидерский, много повидавший в жизни, где-то в чем-то пострадавший от нее, вот почему ставший мудрым и нелюдимым и все-таки остающийся своим, родным и талантливым.

А усерден был Аникуша не в пример прежним возчикам: работал с утра до полуночи, даже на ночь иногда умещался у себя в конюшне, и не баловался, не пил, не крал, в карты не играл, не сыпал на раскаленную плиту перец, не жался по углам, так что даже странно было видеть такое хорошее поведение у обыкновенного дурачка.

И еще. Замечали некоторые, что иногда исходит от Аникуши странное сияние. Не такое, как, скажем, от Христа или от угодников — постоянное и от головы. Нет — прерывистое, напротив. И не от головы вовсе, а от пупка. Р-раз — и мелькнет. Да-да. Прерывистое такое и откуда-то снизу, ну от пупка, что ли. Но на это явление внимания не обращали: мало что непонятного может происходить с блаженным человеком, да и мало ли что привидится, если простоять целый день у раскаленной плиты, да повертеть свиные шашлычки проклятые на шампурах, да посуды гору перемыть — тяжелая работа

по обслуживанию, что ни говори, и мало ли что может почудиться усталому человеку.

Но как же изумились все, когда все кончилось и объяснилось очень даже просто.

Приехала милиция. Запечатала ресторан, и Свидерский, бедный-бледный-белый, окинул прощальным взглядом детище свое и шагнул в беспросветную темь «черного ворона», где уже дожидался его некто с пистолетом на боку. И повез «воронок» директора по засыпающим улочкам прямо в изолятор, где побрили его, облачили его и разоблачили его, гражданина Свидерского, 1915 года рождения, русского, не имеющего, нет, не участвовавшего, привлекавшегося,— разоблачили в ужасном и омерзительном преступлении, а именно: оказалось, что известные всей округе шашлычки и не свиные вовсе, а из обыкновенной собачатины. Жучки, тобики, пальмы, рексы, джеки, тайфуны, белки — всех взял Свидерский Олег Александрович, всех переработал в мясной концентрат.

Нет, ты это можешь представить себе, дорогой читатель! — маразм сей и мерзость сию, чтоб на таком большом году существования советской власти этот сукин сын, этот седоватый подлец в компании с подобными себе гнусными омерзительными личностями, окопавшимися в милом подмосковном ресторанчике, с тобиков шкурки снимал и мясо — ё-моё — собачатину, пакость — в разделку пускал, негодяй!

И еще стыд один, что гурманы-то наши, любители вкусных ощущений, в заблуждение были введены. «Шашлычки, шашлычки», а коснись что, так они и кошек, наверное, за милую душу бы слопали, только подавай. Тоже ценители — свинью от пса отличить не могут.

Хотел было я в утешение обманутой публике поведать историю, которую мне одна бабушка на базаре в городе К. рассказала о себе, как она собачьим салом

щенка Кутьки за зиму от харкотинки-чахотинки пять человек избавила и что вообще от туберкулеза собачьим салом лечат, но когда увидел на суде, какие у свидетелей-мордоворотов морды, то от такой идеи сразу и начисто отказался, опасаясь насмешек, а может быть, и побоев от таких сильных людей, которые взросли на собачьих шашлычках и ничего не боятся.

И Аникуша тоже исчез. Сначала думали, что он правая рука был у главного шашлычника, а потом поняли — он Свидерского за руку поймал и глотку ему стальной милицейской лапой зажал. Конечно же он оказался старшим лейтенантом милиции Взглядовым. Поймал, изобличил и сфотографировал даже отдельные темные дела на микропленку с микровспышкой. Вот откуда сияние-то шло таинственное, эх вы, охламоны-жулики, куриная слепота.

Был, конечно, громовой процесс в старом здании суда, на старой улице, со старым прокурором во главе. Сбежалось пол-Подделкова, и также иногородние приехали, любители шашлыков.

Каялся Свидерский и плакал сучьими слезами, но и тени сочувствия не появилось в глазах публики. Кто-то требовал для него высшей меры наказания — расстрела, и хотя ясно было с самого начала, что под вышку человек за собачек никогда не пойдет, всем очень нравилась эта идея.

И даже адвокат и тот зачем-то все время заостренной спичкой в зубах ковырял. И что хотел он этим сказать — неизвестно, но можно догадаться, если хорошенько подумать — защищаю я тебя, Свидерский, усердно, но потому лишь, что это моя работа, такова моя грустная должность на нашей земле, защищать такого подонка от заслуженной кары.

И получил Свидерский и не много и не мало: как раз столько, сколько полагается по нашим законам, и сгинул злостный изобретатель под всеобщий шум, и вели-

кие семена смуты и скепсиса посеял он в беззаботных сердцах безобидных гастрономов.

А ресторан, между делом, давно распечатали и обновили крепкими работниками. Появился официант Боря, 45-го года рождения, белобилетник, любивший рассказывать посетителям, как он три года подряд поступал в Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, новый экспедитор, новый кассир, новый возчик, ну и без нового директора, конечно, не обошлись, по фамилии — Зворыкин. Не в пример прежнему был весел, шумлив, любил, распустив вислое брюхо, присаживаться к посетителям, почтенным гостям и потчевать их историями из собственной зворыкинской жизни.

Но вот шашлычки при нем ну совершенно в упадок пришли. Стали они слишком серые, слишком бурые, слишком тусклые и гораздо меньше стали, как будто съежились от позора за внешний вид. И не хотелось их даже и в рот-то брать, а спрашивается, куда деваться? — приучил Свидерский так народ, что он без шашлыка и дня прожить не мог.

А нового директора вскоре тоже замели, что звучит очень странно, особенно если учесть, что бомба два раза в одно и то же место никогда не падает. Случайно выяснилось, что с каждой порции он имел 4 грамма мяса себе в карман и из этих граммов составил себе состояние в много тысяч. Правда, при обыске их нашли всего две, но не исключена возможность, что он остальные тысячи тоже где-нибудь пристроил: может, просто взял да и закопал в саду под яблонькой, а вернется поздоровевший от физической работы, крепкий, и скажет, что я, дескать, пойду червячков для рыбалки накопаю, и выкопает, и заживет в уединении, спасая душу размышлениями о несовершенствах человеческого характера — жадности и глупости. Тоже густь хороший!

И вот наступило новое лето. 1967 год. Зелень. Сирень городок затопила. Цветения сирени, море — крыши только и торчат, а люди, подобно неведомым морским личностям, шныряют в тинной прохладе улиц.

Окна распахнуты настежь в ресторанчике «Подделково» при станции Подделково Московской железной дороги, распахнуты и затянуты марлей от мух.

Вентиляторы жужжат, сидят люди, вентиляторы жужжат, и под это жужжание люди уже который месяц разбираются, который из двух директоров хуже был. За Свидерского обычно заступался сцепщик Михеев, который стал частым посетителем ресторанчика после того, как получил в соцстрахе хорошие деньги за сломанную на работе ногу. Вот и сейчас его голос вырвался из вентиляционного шума и перекрыл ресторанный гуд:

— Я считаю, что Свидерский хоть и сучара был, язва, прости господи, собаковод, но кормил он прилично — и много было, и вкусное, а тебе не все равно, кто пес, а кто свинья?

— Зворыкин тоже гад, вор, прямо сказать надо, так ведь он давал настоящее мясо, хоть и мало.

— А, много ты знаешь...

— Да уж...

И неизвестно, чем бы в конце концов кончился этот нелепый спор, но тут как раз вентиляторы жужжание свое прекратили, потому просто, что их выключили для небольшой экономии электроэнергии ввиду понизившейся температуры в зале, и из динамика грянули звуки новой, только входившей в моду песни, которую исполняли под аккомпанемент различных электровеселых инструментов молодые люди-67, в расклешенных брюках и в пиджаках без воротников, звуки песни, которая, по образному выражению радиодиктора, стала гвоздем сезона, символом-I нашего яркого лета, лета молодых, лета-67:

Возвращайся. Я без тебя столько дней!
Возвращайся. Трудно мне без любви твоей.

И т. д. Про Сирокко. В общем, знаете вы эту песню, конечно. И, окажись вы — чудом — в тот момент в ресторанчике станции Подделково, вы немедленно бы стали подпевать невидимым радиопевцам, как это сделали все спорщики, немедленно позабыв о преступных директорах, двух негодяях-67, а может, к ним только и обращаясь. Все пели серьезно, вытянув шеи и втянув животы, самозабвенно пели, не жуя и не занимаясь, кроме пения, никакими другими делами, и на этом мы грустно прощаемся с развеселым рестораном и удаляемся от него, чтоб рассмотреть удивительные дела, которые творятся в других уголках нашей Родины, а то вот, например, в Якутии, на севере, тоже удивительная история приключилась: упал человек, кочегар с пивзавода, в пивной чан да и пролежал там без малого месяц, пока его не заметили, а как узнало об этом население, так целый месяц не только пиво, но и водку не пило, опасаясь встретить там умершего в растворенном виде и тем самым оказаться причастным к людоедству. Ну разве не удивительно!

Надо бы написать и об этом, да, боюсь, трудно будет напечататься.

ОТРИЦАНИЕ ЖИЛЕТА

...И надо сказать, что раньше я очень и очень верил в жилет. Я искал в жилете остатки человеческого разума, отзвуки гуманистических идей. Сам вид жилета успокаивал меня: длинный ряд пуговиц, отсутствие рукавов, шелковая спинка, хлястик, милые остренькие полы, витая массивная цепь серебряных жилетных часов.

Вспоминал Чарли Чаплина с его тросточкой и малолетним Джекки Куганом. Как, покачиваясь, он раскуривает сигарку около мусорного ящика на дне жизни, роняет дырявые перчатки, тщетно, чиркая спичкой, пытается уловить какой-то ускользающий смысл.

Ну а в тот день потери веры в жилет я сначала тихо и спокойно ехал в первом вагоне пригородной электрички.

Там было много народу. Все куда-нибудь ехали. Вечерело. Ехали домой грибники с полными лукошками — все женщины, дети, мужики, бабы, малые ребята.

Я, уткнувшийся в многостраничный номер «Недели», воскресного приложения к известной газете «Известия», поглядывал на грибников с уважением и подобострастием, сознавая их превосходство. Они встали в 4 часа утра, ходили босиком по росе навстречу солнцу, их ели кровососущие насекомые, а я спал до 12 часов дня, потом пил чай с клубничным конфитюром, потом лежал на берегу, на песочке. Ленился.

И, говоря по совести, я еще боялся, что ежели случись что, то они, грибники, благодаря своей энергии окажутся жизнеспособнее меня, а я погибну.

Слышались слова: «Мы собирали грибки», слышались слова: «Маслята», «Опята», «Белые», «Обабки», «Грузди». Из транзистора неслось пение:

Непогоде вопреки валят лес сибиряки. Ча-ча-ча...

А я ехал из гостей, с чужой дачи, и сидел на желтой и жесткой вагонной скамье. И одет был по случаю гостей неплохо. В хороших башмаках и неплохом венгерском костюме фирмы «Модекс», с галстуком и жилетом, конечно.

Ехал, читал «Неделю».

И напротив меня, тоже на желтой, тоже на жесткой, находился какой-то мальчик. Он что-то все вертелся, крутился, поглядывал на грибы и грибников. Поглядит, посмотрит, а потом возьмет да и черканет что-нибудь в своей записной книжечке.

Я хотел с ним разговориться. Вот и говорю:

— Мальчик, ты, наверное, юный натуралист?

— Нет, я просто натуралист,— ответил мальчик,— я — юный писатель. Я — вундеркинд. Критики обвиняют меня в чрезмерной психологической заостренности. Утверждают, будто я нахожусь под влиянием Золя и французской киногруппы «Авангард».

— О! Это очень интересно. А я — молодой писатель. Мое имя тебе ничего не скажет.

— Очень приятно познакомиться,— сказал мальчик.

Ехать стало гораздо веселее. Мы с мальчиком беседовали на литературные темы. Мальчик сказал, что он терпеть не может «Золотые плоды» Натали Саррот, и вообще из всей современной литературы признает только «Трансатлантический экспресс» Роб-Грийе, который он, к сожалению, еще не читал.

Я его горячо с этим поздравил, но в глубине души был слегка уязвлен.

— Ну а как же Сартр? — сказал я, испытующе глядя на юного писателя.

— А что Сартр? Сартр, Сартр,— ворчливо ответил мальчик и стал ворчать: — Сартр, Сартр. Носятся с этим Сартром как с писаной торбой. Я англосаксов люблю и

на них делаю ставку. Сартр. Носятся с ним, с Сартром. Совершенно потеряли всякое чувство меры.

— Ну а Камю? — спросил я, теряя последние надежды.

— Ка-мю?! — озлобился мальчик.— Да если хотите знать, меня лично совершенно не устраивает его теория безысходного отчаяния, ведущая к космическому пессимизму. Пассив. А я хочу активных действий. Если говорить образно, то вот на вас жилет, а рукавов на жилете нету. Так вот — философия Камю — это рукава от жилета настоящей философии.

— Какой настоящей?

— Ну, настоящей. Вы что, не знаете какой, что ли? Настоящей философии.

От таких слов я заробел, и неизвестно, чем бы кончился наш спор, но тут к нам подсел еще один пассажир, бывший солдат. Он донашивал военное обмундирование, то есть был в полной форме, но без погон и звездочек.

Чайный домик словно бомбоньерка
В венчике своих душистых роз,—

запел солдат, закурив.

— И мой вам совет,— сказал мальчик,— так жить на земле, как живете вы,— нельзя. Нужно либо повеситься, либо начать жизнь по-иному. Вот скажите, вы уже написали роман?

Я тут приободрился.

— Э-э! Нет! Видишь ли, пузырь, настоящий роман сейчас написать невозможно. Это раз. А во-вторых, если еще подумать, сколько времени уйдет на роман — полгода, год, два, три, то становится страшно. Поэтому я пишу короткие рассказы, а также потому, что больше я ничего писать не умею.

— Вот. Вот. Вот вы и пожинаете плоды своих увлечений и философий.

— Но помилуй, кто тебе дал право...

— А почему мне не нравится ваш разговор,— неожиданно вмешался солдат,— да потому, что я в нем ничего не понимаю.

— Боитесь все, боитесь, а чего бояться,— пилил меня мальчик.

— А также потому мне он не нравится, что он мне что-то напоминает. И я даже могу сказать что, если хотите.

— Нужно не клонить голову долу, а смело смотреть жизни в глаза,— наставлял мальчик, и на этом наша дискуссия о литературе, ее творцах и философах закончилась.

Мы начали слушать солдата, так как тот уже стал тяготиться нашим невниманием. Он заорал:

— Тихо, вы — змеи, ро́маны. Дайте и человеку наконец слово сказать!

Дали.

— Я в жизни много видел безобразия,— начал свой рассказ солдат,— но такого, какого я повстречал в городе А. Якутской АССР, вы не найдете нигде, точно вам говорю.

Я, ребята, стоял в очереди за вермутом разливным, или, как говорят у нас в народе, за рассыпушечкой. Мне что? Мне лишь бы рассыпушечка была, а дальше я проживу. И ведь уже почти достоялся, когда вдруг теребят меня за робу две подруги, ладные такие дивчины, и одеты неплохо и сами ничего себе, все покрашенные. Теребят и говорят: «Солдат! Возьми нам по стакану рассыпухи, а мы тебе обои за это заплатим натурой».

Вы понимаете, что это значит? А это значит, что за стакан рассыпушки они уже на все согласные.

И тут солдат на минуту замолк, чтобы перевести дух. Я с удовольствием смотрел на его говорящее лицо, а мальчик в пол.

— Вы, конечно, знаете, как я люблю заложить за

воротник. Вы знаете, потому что я вот, например, и сейчас под газом. Но это гнусное предложение глубоко возмутило меня, как гражданина, как бойца и как мужчину. Я вышел из очереди, где мне оставалось два человека до продавца. Вышел, чтобы круто поговорить с девчонками и, может быть, даже направить их по правильному пути.

Вышел я, значит, из очереди, и что же я, братцы вы мои, вижу? А вижу я, что эти две профуры, они обои стоят в углу с какими-то поросятами, и вино они дуют без моей посторонней помощи.

Я подошел к ним, чтобы что-нибудь сказать, может быть посоветовать, я все-таки постарше их буду, но только мне один барбос из этих вдруг как с ходу звезданет по рогам! Он мне выбил зуб.

И солдат открыл рот, указав пальцем на пустоту в своей челюсти, и, достав красненькую в горошек тряпочку, тряпочку размотал, вынул, предъявил нам желтый кривой зуб.

— Что же было дальше? Профуры было заржали, но я ихним хмырям мигом накидал таких пачек, что развратницы заткнулись и стали их утаскивать из магазина. Вино кончилось. Я был маленько побит. Через месяц демобилизовался в чине ефрейтора. Вот и весь мой рассказ.

— А вы бы лучше постыдились рассказывать такие гнусные истории при ребенке,— взорвался мальчик, перестав смотреть в пол,— впрочем, я чувствую, что Лена Мельникова из нашего класса тоже когда-нибудь падет до подобных степеней. Она уже сейчас слишком хороша собой и целуется с кем попало. Ее на переменках всегда жмут в углу. Я тоже жал.

— Вот это мужской разговор, сынок,— одобрил солдат.— А ты что скажешь, жилет? — обратился он ко мне.— Напялил жилет и заткнулся. Ты лучше что-нибудь скажи, расскажи или спой, на худой конец.

— Я? Ладно. Я хотел промолчать, но раз вы просите, я скажу. Я вам вот что скажу, дорогой мой товарищ. По моему глубокому убеждению всякая рассказанная история служит лишь для того, чтобы сделать из нее какой-либо вывод, резюме. Подвести черту. Это — моя теория. Это — мое глубокое убеждение. А из вашей истории адекватного вывода сделать нельзя, так как слишком сомнительно ваше благородство и моральное превосходство над теми хмырями, слишком слабо обрисованы хмыри и профуры, слишком неясна расстановка сил добра и зла в вашей истории. И все это вдобавок при многозначительной простоте вашего рассказа. Ложная простота! Ложная многозначительность. Ложь и ложь! Совокупность двух видов лжи! Ваш рассказ не может существовать без чего-то главного, резюмирующего. Понимаете? Как мой жилет без пиджака...

— Это верно! — волнуясь воскликнул мальчик.— Это настолько верно, что я, по моему мнению, должен присоединиться к высказавшемуся товарищу.

— Да что уж там. Это все хреновина, пустое,— добродушно улыбаясь, оправдывался солдат,— я и сам не понимаю, что к чему. Зачем я к ним полез? Подумаешь! Может, эти хмыри были их законные мужья. А слова профур, обращенные ко мне, являлись женской шуткой. Может так быть? Может быть вполне. Э-эх, и всю-у-то мне жизнь не везет. В школе я курил махорку, в Якутии мне выбили зуб, и вот вы с пацаном сейчас меня ругаете. И правильно ругаете, наверное. И между прочим, может быть вполне, что и зуб мне правильно выбили. За дело. Не лезь в чужие семьи. Э-эх. Дай-ка я лучше глотну,— сказал он, вынимая из кармана бутылку. Поднес ее ко рту и хотел пить.

И совершенно точно стал бы пить. Тут и сомнений никаких быть не может. Это, извините за каламбур, как пить дать, если бы не приключилось вдруг нижеописываемое ужасное событие.

А в вагоне действительно случилось вдруг нечто ужасное: защелкало, зашелестело, зашевелилось, засуетилось, забегало, задвигалось.

Как бы это вроде гром с ясного неба на ошарашенную местность, и ветер, со свистом рассекающий дотоле спокойные купы деревьев.

— Щелкунчики,— побледнев, сказал мальчик.

— Яковы? — глухо отозвался бывший солдат.

А это контролеры железных дорог в этот именно день и на этом именно поезде устроили вдруг внезапную проверку проездных документов.

Работая компостерами, они шли по двое с двух концов вагона. Зловеще мерцали алюминиевые звездочки на обшлагах их форменных пиджаков. Жалобно стонали гонимые ими огрызающиеся безбилетные. Охали сердобольные грибники.

И вот они уже дошли до нас, и вот они уже встали молча над нами. Встали молча, а потом говорят в четыре голоса:

— Ваши билеты!

И безбилетники тоже, огрызаясь, перепихиваясь, кривляются:

— Ваши проездные документы.

Нахалы.

Мальчик тут тотчас же встал и присоединился к безбилетной толпе, предварительно объяснив всем, что он — дитё.

Бывший солдат сделал вид, что очень устал от жизни и давно спит, но его разбудили и тоже присоединили.

А я искал по всем карманам — в одном кармане, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, в восьмом — нету!

— Черт побери. Где же он?!

— А вы его, наверное, забыли взять с собой,— сказал один контролер.

— Он его, наверное, потерял при входе и выходе пассажиров из вагона,— сказал другой контролер.

— Вы, наверное, очень опаздывали на электричку и не успели взять билет,— сказал третий.

— Его билет был, наверное, у товарища, а его товарищ сошел на предыдущей станции. Большая жалость,— сказал четвертый.

Потом все четверо некоторое время укоризненно молчали. Зато не умолкали наглые безбилетные.

— Он его оставил дома на рояле.

— Около белого телефона.

— Совершенно случайно.

— Простите его.

— Помилуйте, товарищи,— возразил я,— неужели вы меня принимаете за студента или лицо, не отвечающее за свои поступки? Ведь у меня несомненно должен быть билет. Я купил его за 25 копеек в кассе пригородной станции.

— Если бы у вас был билет, то он бы был, а так его у вас нету,— справедливо возразил контролер и сделал резюме: — Жилет надел, прохвост, а билет дядя за него покупай.

И он был бы совершенно прав, этот человек, если бы это было действительно так.

Таким образом, и меня они сняли с места, и меня поволокли вместе со всеми прочими в голову поезда, вымогая по дороге три рубля штрафу.

— Нет у меня три рубля. За что я вам буду давать, когда я уже брал билет за 25 копеек? Я не студент, не ребенок. Я отвечаю за свои слова и поступки.

— Нету у нас три рубля. За что мы вам их будем давать, у нас нету три рубля,— ныла и толпа, пытаясь раздробить зловещее молчание контролеров.

Эти люди загнали нас в самый передний тамбур, а сами куда-то исчезли.

И наступила тишина, и наступило молчание. Тамбур

позванивал и шатался. Сбившиеся в кучу, мы грели друг друга. Нас было человек около дюжины. Не было среди нас веселых, но солидных грибников, не было среди нас обладателей трех рублей.

Малодушные скребли мелочь по карманам, надеясь подкупить неподкупных. Мальчик тихо плакал, заметно повзрослев. Он плакал, но все-таки писал в книжечку карандашиком при никудышном тамбурном освещении. Солдат же глотнул наконец и заснул стоя — тихим сном счастливого подростка.

И на его одухотворенное лицо упала уже окончательно наступившая вечерняя темь.

Пошли шепотки:

— Ой! И что с нами будет?

— А будет то, что стащут в милицию и оштрафуют как надо.

— Может, по дороге отпустят? Меня раз отпустили.

— Отпустят, жди.

— Ой, ой-ой.

И тут меня взорвало. Меня, тихого человека.

— Товарищи! Ну вы-то хоть мне верите, что у меня был билет? Вы понимаете, что я — жертва роковой ошибки. У меня есть билет. Я его брал. И вообще. Мы дожили до счастливых времен, а не верим друг другу, что у нас есть билет. И вообще. Это — безобразие, не верить мне, что у меня есть билет. Вы понимаете это?

— Понимаем, понимаем,— закивали товарищи, не веря мне,— как же тебе быть без билета, коли на тебе жилетка с часами.

— Это — безобразие! — опять вскричал я.— Я чувствую, что даже вы, мои невольные товарищи по несчастью, не верите мне. Но я докажу. Клянусь своим жилетом, что докажу... Пустите меня! — окончательно разошелся я.— Я докажу. Я докажу. Я сейчас на ходу выйду из поезда. Из-за такой незначительной вещи, как билет. Я сейчас на ходу выйду из поезда, а вы убедитесь,

что на земле есть еще честный человек, и этот человек — я!

— Да верим мы тебе. Верим. Мы даже видим, что у тебя легкоранимая душа. И жилету верим,— удерживали меня сердобольные безбилетники, поняв мой план и решительность.

Но и удерживая, конечно же не верили.

Укоряли:

— Постыдились бы так делать. Ведь на вас же жилет.

— Бессовестный самоубийца.

— Нехорошо.

— Это не выход! — кричал мальчик.— В любой ситуации надо оставаться человеком.

— Ты противоречишь себе,— холодно заметил я.— Ты требовал активных действий. Вот они.

При этих словах я вырвался, с невесть откуда взявшейся физической силой раздвинул пневматические вагонные двери и, пнув кого-то напоследок, на ходу вышел из поезда.

Вы никогда не выходили на ходу из поезда? О! Сейчас я вам расскажу, что из этого получается.

Я попал под откос. Я летел, как птица, падал, как самолет, и катился, сметая в инерционной агонии пригородную траву, кустики, консервные банки, бутылки, костры туристов и другие мелкие предметы. Потом закон инерции перестал использовать меня в качестве иллюстрации собственного существования, и я затих, лежа в неизвестной, крайне болотистой, вредной для здоровья местности.

Тут-то я и потерял веру в жилет.

Выйдя из поезда, на ходу, с подранной штаниной, с пустотой души и ломотой в членах, я хотел узнать хотя бы, который сейчас час. Полез за часами в карман, а там, ясно, и лежит тот самый билетик, из-за которого загорелся весь сыр-бор. В кармане жилета, жилета, подло, неожиданно и мерзко предавшего меня.

А надо сказать, что раньше я очень верил в жилет. Искал в нем остатки человеческого разума, отзвуки гуманистических идей, сам вид жилета успокаивал меня.

А теперь — все. Лежа в неизвестной мне болотистой, крайне вредной для здоровья местности в жутком виде, в жутком состоянии, отдыхая после совершенно несвойственных мне активных действий, я, разумеется, после небольшого размышления пришел к полнейшему отрицанию жилета.

Подлый предатель! Мой бывший милый, а ныне отрицаемый жилет! Какой там длинный ряд пуговок, отсутствие рукавов, шелковая спинка!

Что теперь все это для меня значит, если я окончательно потерял веру в жилет и пришел к полнейшему его отрицанию, когда исчез мой милый островок спокойствия? Грустно мне. Пойду, пойду, скорей пойду по белу свету, посоветуюсь с трудящимися. Может, хоть они подскажут, во что мне теперь начать верить.

Излишне предупреждать вас, уважаемый читатель, что песни, которые вы прочтете вслед за моим и еще одним предисловием, принадлежат перу замечательного, покойного Николая Николаевича Фетисова и составляют ничтожно малую часть его громадного литературного наследства. Это вы и сами поймете по блестящему стилю, форсированию действия песен и по исключительной актуальности затронутой покойником темы. Николай Николаевич как бы говорит нам: «Да! Действительно еще есть у нас люди, которые злоупотребляют оказанным им доверием. Есть, но скоро их уже не будет».

Евг. Попов

ПЯТЬ ПЕСЕН О ВОДКЕ

Дорогие мои! Хорошие! Предупреждаю вас, что изложенные мной пять песен о водке направлены исключительно против алкоголизма, для борьбы с ним. А если кто усмотрит в песнях еще что-то, то это его частное дело. И лишь в том случае частное, если он не предаст свои «усмотры» огласке. Так как я терплю, терплю, а когда-нибудь и подам на кого-нибудь в суд за клевету. И этот человек будет как миленький отвечать перед народными заседателями и мной. Пора наконец положить конец подобному символизму и выискиванию изюминки между строк моих рассказов. Кроме того, пора печатать меня большими тиражами и платить мне за работу хорошие деньги. Изюминки похожи на клопов.

Ник. Фетисов

СТУЛ СТУЛ ТАБУРЕТОВИЧ

Один человек, ужасно любящий водку, однажды выпивал следующим образом: он купил очень большую бутылку водки, взял стакан и стал пить из бутылки и стакана.

После приема некоторой ее порции этот самый человек почувствовал, что жить ему стало значительно веселее.

И он пересел с маленькой табуреточки, на которую любят ставить ноги старухи. Он сел на стул, который нынче имеется в каждом доме и даже в каждой избе. Нынче везде есть стулья и табуреты.

Он сел, и настроение человека все улучшалось. И низок ему стал стул! Мало ему стало стула! Он поставил на стул табуреточку и, взгромоздившись, продолжил питье из бутылки и стакана.

Но ведь всем же известно, что смысл жизни человека в том, чтобы никогда не останавливаться на достигнутом. Ведь всем же известно, что если бы человек останавливался на достигнутом, то он бы вернулся в первобытное состояние и плясал голый вокруг костра.

А так на сегодняшний день мы почти совсем не имеем пляшущих вокруг костра. И наоборот: турбины дают электрический ток и вся страна освещена его волшебным сияньем.

Поэтому мужик пошел на кухню и принес красный стул о трех ножках, сделанный в городе Риге (Латвийская ССР).

На обычный стул он поставил красный стул, на красный стул — маленькую табуреточку и сверху сел сам, твердо помня, что есть у него еще одна очень большая бутылка водки.

Воодушевленный, он взирал со своего насеста на имеющуюся вокруг обстановку, заработанную собственными руками. Торшер он заработал собственными рука-

ми. Пианино дочурке, уехавшей в пионерлагерь, он заработал собственными руками. Немецкую тахту он заработал собственными руками. А так же, не боясь последствий, отправил жену отдыхать в Сочи.

— Надо бы мне еще ковер купить, палас. Вот жинка вернется, мы с ней пойдем к Иван Иванычу в магазин и там его купим,— сказал мужик.

Увы! Увы! Как часто наши желания не совпадают с быстрым ходом реально текущей жизни! Не успел пьяница произнести эти дельные слова, как все его сооружение зашаталось и наш Стул Стул Табуретович со страшной силой рухнул на пол и вонзился в последний рогами, согласно закону всемирного падения вниз в пьяном виде.

От падения у Стул Стул Табуретовича очень разболелась голова. Он принял пирамидону. Пирамидон не помог. Он пошел к врачу, и врач сказал ему, что у него в результате травмы сдвинулся мозг.

Отчего мужик и скончался, оставив жену и дочь рыдать над его глупым телом. Перед смертью он опустился и пропил всю обстановку, кроме пианино.

Всем ясно, что и доча и жена Стул Стул Табуретовича не пропадут у нас в Советском Союзе... Доча закончит школу и, может быть, даже станет профессиональной пианисткой. А если и не станет — не велика беда. Жена найдет себе другого, потому что красивая.

Но ведь это же безобразие! Вы представляете, как им обидно было видеть своего дорогого пьянчугу не за обеденным столом, а в гробу.

Вы представляете, что будет, если все пьяницы станут падать со стульев и умирать? Ведь для неокрепших детских душ их детей это может оказаться таким сильным потрясением, что они свободно могут запить сами, и пьянство, таким образом, получит цепную реакцию.

ДИКАЛОН

Любо-дорого было смотреть на четкую и слаженную работу токарного цеха завода резинотехнических изделий. Лица рабочих суровы и напряженны. Колечками вьется стальная стружка. Весело бежит белая эмульсия. А лишь перерыв, то сразу — шутки, смех. Стучит домино, и каждый рассказывает, что он видел в жизни.

Больше всех в жизни повидали токари Петров и Попов. Их все всегда с удовольствием слушали и окружали всеобщим почетом и уважением.

Потому что они не только много повидали в жизни, но также и перевыполняли норму на большое количество процентов.

А ведь люди они были совершенно разные. Попов — веселый толстяк, пил исключительно пиво, и только по праздникам.

Петров же — наоборот. Тощий, длинный. Не имел правой почки, которую вырезали. Нервный. Пил не только по праздникам, но и по воскресеньям. И по субботам он тоже пил. А также неоднократно хвалился в пьяном виде, что любит пить не водку, а обычный «тройной» одеколон.

— И что ты находишь в этом одеколоне, дурак? — говорили ему коллеги.

— Я нахожу в нем все,— важно отвечал Петров и пил вместо водки одеколон. Однако работал он прекрасно, повторяю это.

И тут так случилось, что в цехе сильно развернулось соревнование за лучший труд.

Все работали не покладая рук. Были сделаны важные почины. Развернулась борьба за экономию материалов. Впереди, конечно, шли Попов и Петров.

Работая, они подзадоривали друг друга, и работа двигалась полным ходом.

Настало время подведения итогов. И тут случилась удивительная вещь. И у Петрова и у Попова показатели

оказались совершенно одинаковыми. По всем статьям. И по выработке, и по экономии. Стали судить и рядить, кому из них должно быть присуждено первое место, но не пришли ни к какому выводу.

— Может быть, можно дать кому-нибудь из них второе место? — предлагали люди, желающие все утрясти.

А другие люди, желающие все утрясти, возражали:

— Как же так? Почему один из них должен страдать, а другой за его счет получит первое место?

Интересно было бы вам посмотреть на виновников спора. Если бы это было где-нибудь в другом, менее спаенном коллективе, то они, может быть, и дулись друг на друга, а возможно, даже и подрались. А тут — нет. Спокойно и размеренно точили они детали и лишь изредка поддевали друг друга необидными остротами.

Так, например, однажды Попов заявил:

— Это товарищ Петров потому так прет, что у него внутре карбюратор. Он на одеколоне работает.

Тут-то всех и осенило. Сразу же один товарищ другому говорит:

— Я чувствую — мы не можем присудить первое место товарищу Петрову, потому что как же мы можем присудить первое место товарищу, который жрет одеколон.

— И вдобавок этим кичится,— поддержал его товарищ, к которому обратились.

Вот какие разговоры пошли по цеху. И, услышав их, Петров изменился в лице.

— Нет. Дикалон ни при чем,— говорил он в курилке.—Я не понимаю, при чем тут дикалон. Я работал честно, а что я пью дикалон, это — мое дело. Ты вот квас пьешь, я ж к тебе не лезу. А я пью дикалон, и ты от меня отвали.

Но подобная нахальная пропаганда мерзкого напитка

только усугубила его вину. И товарищи, сурово посовещавшись, поставили вопрос круто: они не только лишили Петрова первого места, но также изобразили его в стенгазете в гнусном виде, как он прыщет себе в рот из пульверизатора. Прыщет одеколон.

А Попову заказали его собственную фотографию размером 18 на 24 и повесили фотографию на видном месте с надписью, поясняющей заслуги Попова.

Многие в тот день смотрели на Петрова. А у того личико стало совсем тощее, головой он вертел как волк и тихо говорил:

— Не понимаю я это. Это — непорядок. Зачем я честно работал? Чтобы меня нарисовали, как курву? Я не хочу так. Я так работать не договаривался. Так нечестно. А я все равно буду там висеть.

Вот тут-то бы и обратить внимание товарищам на эти его довольно странные слова. Все-таки действительно они поступили несколько бестактно. Надо, надо было наказать Петрова и разъяснить ему вред употребления в пищу одеколона. Надо было, но не так же круто. Надо было как-нибудь помягче.

Многие так подумали, когда утром следующего дня заявились в цех и обнаружили следующую дикую картину, висевшую до прихода милиции и «скорой помощи».

Висел. Он висел. Петров повесился на собственном ремне. Повесился на том самом видном месте, где была фотография его конкурента. И, повесившись, заслонил собой фотографию своего конкурента.

Когда к нему подошли, то врачей и милиционеров сильно удивило, что от висельника попахивает одеколоном. Но им все объяснили, и врачи успокоили взволнованный коллектив тем, что Петров, будучи законченным алкоголиком, покончил с собой в состоянии алкогольной депрессии. И коллектив, таким образом, не несет за его патологические поступки никакой ответственности.

СВОБОДА

Один юноша, желая видеть свою любимую девушку, поджидал ее, как было договорено, у здания театра музыкальной комедии, где девушка работала реквизитором, а в этот день была выходная.

Девушка опаздывала, и юноша задумался. Он думал и не мог понять: почему девушка не хочет по-настоящему любить его, несмотря на то что они уже несколько раз пили вместе водку и три раза лежали в постели голые.

Зрители клянчили друг у друга лишние билетики. Подкатила на такси веселая компания. Вышли. Кудрявый и лысый дяденька сказал своим спутницам:

— Знаете что, девочки?

— Что? — спросили девочки, младшей из которой было сто лет.

— Ну ее, эту самую комедию муз,— сострил дяденька.— Двинем-ка мы лучше в шашлычную. Я вас там познакомлю с одним грузином. Мой лучший друг!

— Хочем знакомиться с грузином,— решительно заявили девочки и стали охорашиваться.

Кудрявый и лысый мгновенно реализовал билеты, и компания исчезла.

— Так твою мать,— пробормотал юноша.

— При чем тут мои родственники? — перебил ход его мыслей голос возмущенного человека.

И сам человек появился перед ним. Стоял, покачиваясь. Юноша отвернулся.

— Ты харю не вороти,— с укором сказал покачивающийся, который был одет в потертые одежды.— Ты — тунеядец, а я — рабочий человек. Я — столяр, а меня замдира щас взял за шкирку и говорит: «Иди отседа, хамло. Завтра напишешь объясниловку, почему ты напился на работе».

Юноша посмотрел на часы.

— Не придет, сволочь,— пробормотал он.— Как обещал, так и сделаю ей, падле.

А обещал он ей вот что. Он позвонил ей на работу и сказал:

— Я к тебе завтра приду.

— Не приходи,— сказала реквизиторша, которая жила на улице Засухина в бараке.

— Я к тебе завтра приду, и если тебя не будет дома, то перебью тебе все стекла и скажу соседям, кто ты такая.

— А кто я такая? — оживилась реквизиторша.

— Сама знаешь,— угрюмо отвечал влюбленный.

После чего ему и была назначена встреча на семь часов тридцать минут. Перед началом спектакля.

— Мне нужно кой о чем посоветоваться с подругами,— объяснила реквизиторша.

И обманула. Сволочь.

— Все. Все стекла переколочу,— ярился обманутый.

— Это вы можете,— сказал пьяница.— Это вы можете. Ломать, драть. Меня кто прошлу неделю ограбил? Читушку отобрали около магазина. Все вы. Дали вам свободу, подлецам, молодежи, так вы и куражитесь. А мне кто даст свободу? Меня замдира взашей выкинул, а жена меня будет сегодня не иначе как бить. Она — хитрая. Я настелехаюсь, а она меня — скалкой. Я утром думаю, что сам где упал, и ее не бью за это. Она меня обманывает.

— Ты Дуньку-реквизиторшу знаешь? — поинтересовался юноша.

— Знаю, почему не знать. Она моя коллега. А у меня деньги-то есть. Ты не думай, что я — бич. Я — рабочий человек. У меня есть деньги.

И пьяница вынул из мятого кармана эти нелепые бумажки.

— Ты пойди сходи, позови ее,— сердясь сам на себя, попросил юноша.

— А я один не пойду,— закуражился столяр.— Ес-

лиф за компанию, то я пойду. Пошли вместе. Пива выпьем. Мы в служебном буфете выпьем пива.

Тоскливо стало юноше. А также любопытно — каков он из себя, служебный буфет. И есть ли там живые артисты. Юноша сильно уважал живых артистов. Он и с Дунькой познакомился по той же линии. Ему ребята говорили:

— У тебя баба есть?

— Есть,— отвечал юноша.— В театре работает.

— Сука, наверное,— говорили ребята, имеющие о многих вещах превратные мнения.

И юноша хохотал.

Зашли по служебному входу. За столом сидел пожилой человек, похожий на петуха.

— Ты куда прешь? — сказал он столяру, который выделывал ногами вензеля.

— А вот юноша ищет свою сестру,— сказал столяр, подмигивая юноше.

Тому стало жарко, но их пропустили.

— Ты мне Дуньку найди, и я пойду,— бормотал оробевший юноша.

— Щичас, щичас,— сказал его провожатый, который уже очень плохо стал говорить по-русски.— Щичас. Пивка выпьем.

Так попали в буфет. Буфет оказался как буфет, за исключением публики. Публика была — дай боже! Ковбой сидел, играя различными револьверами. Красавица обмахивалась здоровенным веером. Зажглась красная лампочка над входом, и ковбой проворно ускочил. Откуда-то издалека раздался его измененный голос:

— Я убью тебя, ничтожество! Ты отравил мне жизнь. О Мэри, Мэри! Моя прекрасная Мэри.

Юноша беседовал со столяром о своей любви.

— Побью, побью гадюке стекла,— говорил он.

И при этом угощал работника театра.

А тот уже совершенно осовел. Он совел, совел, а потом вытянулся и запел:

О, дайте! Дайте мне свободу!

После чего рухнул на пол и встать больше не мог.

Буфетчица и публика с интересом ждали, как отнесется юноша к падению своего собутыльника, потому что юноша весь был сам собой чистенький, приглаженный, в свитерочке.

Но он просто-напросто взял вместо пива бутылку вина и просто-напросто стал пить в одиночестве.

— Смотри-ка, вон столяру нашему свободы захотелось,— громко сказал один румяный актер одному бледному актеру.

А тот был не в духе и ответил злобно:

— А человеку и не нужна свобода. Это он так, для видимости, что ему свобода нужна. Ему иллюзия нужна, а не свобода. Дай нашему столяру иллюзию, и он будет рад и доволен. А дайте ему свободу — он разрушит все, и в первую очередь самого себя.

— Это что же, Василий, тебя такой философии в театральном училище научили? — захохотал румяный актер.

— Мое здоровье,— громко сказал юноша, поднимая стакан.

А в это время его разлюбезная Дунька сидела неподалеку на ящике для костюмов и болтала ногами. Подруги уже передали ей, что видели в буфете ее пьяного сердитого хахаля. Дуньке было страшно и сладко. А еще ей хотелось коньяку и конфет «Птичье молоко».

НЫРЯЛЬЩИКУ СНАЧАЛА ВЕЗЕТ, А ПОТОМ ОН ПРОПАДАЕТ

Один пьянчуга справлял в маленькой компании Международный день защиты детей. Пьянице ведь что ни день — все праздник.

А компания действительно была маленькая, но интеллигентная. Доктор, приезжий артист и какие-то две неизвестные девушки. Алкоголик был без пары, отчего и грустил немножко.

И разговор тоже велся очень хороший, актуальный. Доктор и артист высказывались по вопросу о вмешательстве прогресса в живые силы природы.

— Ты извини, но тут я никак не могу с тобой согласиться,— говорил доктор, пуская дым колечками.

— Нет. Нет и нет,— твердил артист.— Ты меня прости, но — нет. Все же это — хорошо. Ты представляешь — было пустое место, скалы, а сейчас — ГЭС.

Выпили водки. Алкоголик молчал.

— Эх, артист ты мой, артист,— сказал порядком опьяневший доктор.— Ты человек приезжий. Тебе легко рассуждать. А у меня тут дедушка жил, бабушка жила, прадедушка жил, прабабушка жила. Оно конечно — я против ГЭС не спорю. Ни-ни.— Сделал жест рукой.

— Но ведь ты понимаешь. ГЭС. ГЭС можно строить, а можно и не строить. Можно придумать какое-нибудь там... атомное, что ли, топливо. А как ты построишь ту красоту, которая исчезла? Лес? Скалы?

— Послушай, лес же весь вывезли, вырубили.

— Весь? А ты был на море? Видел, как там у берегов? Это ж чистый сюр. Деревья. Верхушки торчат, а ныряешь к корню. Жутко нырять к корню, а? Впрочем, вру. Я не нырял.

— Нет. Там можно нырять,— заступилась девушка.— Там тепло, а вот в самом Енисее — нельзя. Четыре градуса вода круглый год.

— Почему так? — изумился артист.

— А потому что донная вода идет через бьеф плотины и до города не успевает прогреться,— объяснила ученая девушка.

Алкоголик молчал. Зато вступила другая девушка.

— А я дак лично и в море не стану нырять. Там, во-первых, может быть зараза. Скот чумной раньше закапывали, вот тебе и зараза. А во-вторых, я раньше в районе жила, у меня там папочка похоронен, и он сейчас под водой. Как же я стану нырять над папочкой?

Девица прослезилась и выпила единым махом. Доктор тоже растрогался и, желая утешить, сказал следующее:

— А вот тут вы ошибаетесь. Заразы не должно быть. Там были сделаны бетонные козырьки. Заразы не должно быть.

— Над всем чумным скотом козырьки? — усомнилась девица.

Доктор сбозлился.

— Пойми ты, дура, что не в скоте дело, не в скоте. И не в кладбищах даже. А — в красоте! Красота исчезает под напором прогресса... хотя, впрочем, кладбище... да... тоже аргумент,— забормотал он.

От таких резких слов девица струсила. И артист уже не спорил. Его подруга сидела в свободной позе, и он заметил у ней на ноге синюю жилку в форме буквы «М».

— Метро. Мужчина,— сказал артист.

— Что, что? — переспросили его.

А алкоголик все молчал, и молчал, и молчал. И он домолчался.

Когда все стали спрашивать «что, что», алкоголик поднял буйну голову и сказал совершенно ни к месту:

— Это что за обывательские разговоры, товарищи? Почему нельзя нырять. Очень даже можно нырять.

После чего разбежался во всю длину однокомнатной квартиры второго этажа и нырнул в окно, пробив двойные рамы.

Остальные пьяницы с ужасом бросились и увидели,

что алкоголик лежит в газоне, на свежевспаханной земле.

— Надо скорей бежать вниз, посмотреть, что с ним! — крикнули пьяницы и бросились вниз смотреть, что стало с ныряльщиком.

Но внизу они не обнаружили ныряльщика, равно как и следов какой бы то ни было катастрофы. Случайные прохожие не могли им дать никакого объяснения. Они просто-напросто шарахались в сторону от взволнованных пьяниц. За поисками незаметно настала ночь, пропавший пропал без вести, и они возвратились в дом, где незаметно заснули.

А ныряльщику сначала очень повезло. Он упал в пахоту и, очнувшись, очень обрадовался тому, что жив. Он со страхом ощупал свои конечности и увидел, что они у него есть. А страх не проходил. Тогда пьяница вскочил и полетел в ближайший травматологический пункт, где стал просить лекарств. Его всесторонне осмотрели и велели не нести ахинею про падения со второго этажа.

Но пьяница клялся и божился со слезами на глазах и с жаром в душе.

Да! В затруднительное положение попали бы медработники, если бы кто-то из них не догадался взять у пьяницы алкогольную пробу.

Ныряльщик дыхнул в трубку и мгновенно пропал. Его попридержали, и через некоторое время он был доставлен в медвытрезвитель № 1, где его раздели и поставили под холодный душ.

Ночь он провел скверно. Приводили пьяных. Двое подрались, и их сильно увещевал милиционер. Одного тошнило.

А утром пьяницу оштрафовали на 30 рублей, а также сообщили по месту его работы. Пьянице пришлось держать ответ перед своими товарищами. Он стоял перед ними и мучился.

РОМАША И ДЖУЛЬЕТТА

Один совершенно спившийся алкаш по имени Ромаша, которого вдобавок еще и очень сильно любили девушки, пришел с одной из них к себе домой, где стали пить водку из бутылки и стакана.

Да! И девушка пила, совершенно забыв про свою девичью честь. Пила, как будто бы и не знала, как вредна водка для ее неокрепшего, юного организма. Пила, будто бы никогда не читала газет, и не слушала радио, и не видела телевидения!

Бедная девушка! Пожалуй, она поступала так нехорошо от любви. Ведь она так сильно любила алкоголика Ромашу.

А его и было за что любить. Он был очень умный, пока окончательно не спился. Он знал наизусть, кто когда родился и умер из великих людей, и любил поговорить о том, как их мучили. Она его любила.

А Ромаша, между прочим, тоже ее очень сильно любил. Он начал ее любить еще тогда, когда пил только по вечерам и совсем немножко. А она тогда была красивая и только смеялась над ним, когда он ей что-нибудь предлагал.

А это приводило его в такое отчаяние! Она смеялась, а он от этого помирал. Он однажды разбил кулаком окошко, а также приучился пить.

Изначально слабый был человек, как видите, но от пьянства заимел какой-то суррогат твердости. Дерзил, острил. Девки-дуры вешались ему на шею, а он их всех ублажал. Он нахальный и странный стал.

И вот же ведь как дико устроена девушка! Лишь она увидела, что ее бывший дружочек жрет водку, как конь, что он не пропустит ни одну юбочку, так она сразу же — и срочно, и мгновенно — полюбила его сама.

И она стала приходить к нему на квартиру. А он сначала ничего не мог понять. Он думал, что девушка над ним

издевается. А когда понял, то задохнулся от радости и, задыхаясь, стал любить девушку, когда только было у них свободное время.

А времени свободного у них было много, потому что Ромаша докатился до того, что рисовал на кладбище желающим таблички про покойников. А девушка она и есть девушка. Она всегда свободное время найдет. И вообще — у девушек всегда все есть. У них всегда деньги есть непонятно откуда, и они всегда могут дать мальчику на бутылку.

Слюбились, значит. Вот тут-то и остановить им, глупым, мгновение. Ведь оно было у них очень прекрасное.

Но пьяница никак не мог забыть, как она раньше его водила за нос. То есть сверху-то он давно забыл, а вот там, внутри... Там, внутри, знаете, как темно?

И девушка тоже — ей было стыдно перед людьми и собой, что она как ни крепилась, а все же полюбила такого ничто́жного, который не имеет будущего, денег, власти, сильных друзей и автомобиля.

По этому случаю — водка у них лилась рекой, а табличек Ромаша писал все меньше и меньше. Зато он сочинил стихи и прочитал их девушке.

Сказала мне одна алкоголичка,
Что она — католичка.
Теперь я знаю: средь алкоголичек
Есть небольшой процент католичек.

Так прочитал он. А девушка вяло посмотрела на него, сходила в ванную и, возвратившись, принялась за водку.

— Налей и мне,— попросил Ромаша.

Девушка снова вздохнула, снова посмотрела, но налила.

И пришла к нему, лежащему в нестираной постели.

— Милый,— сказала она.— Милый. Ты — мой.

— Я обожаю тебя,— сказал он.— Я обожаю, я обожаю тебя. Ты меня погубила, но я обожаю тебя. Я тебя обожаю.

— А я тоже пропала,— ответила Джульетта.— Я хотела за кандидата каких-нибудь наук, но я пропала. Я не могу выйти за кандидата каких-нибудь наук. Ты — мой маленький, радость ты моя.

И они выпили водки, и они были близки, а когда все кончилось, алкоголик лег на спину. Он глядел в потолок и думал об истории человечества и знал, что рядом лежит она: рост один шестьдесят восемь, гулко бьется сердце, перегоняя семь литров крови, голубая жилка на запястье.

— Милый,— шептала девушка, задремав.— Милый. Ты — мой маленький, сильный и храбрый. Давай выпьем еще водки, хочешь?

И тут алкоголик, наконец, решился. Лицо его озарилось тихим сияньем. Он взял девушку на руки. Пухлые губы ее были влажны, и волосы заливали лицо.

И он взял девушку на руки, и он вышел на балкон шестого этажа, глядя на раскинувшийся внизу город.

И он внимательно посмотрел на раскинувшийся внизу город. Девушка слабо обнимала его. Он перегнулся через перила и выпустил девушку из рук. Она не вскрикнула. Послышался глухой удар. На асфальте расплывалось темное пятно. Алкоголик стоял на балконе.

И на всю эту безобразную картину падения нравов оцепенев смотрели доминошники, забивавшие козла под тенистым тополем. Они работали на комбайновом заводе и, оцепенев, не знали, как истолковать случившееся. Алкоголик стоял на балконе.

— Эй, а ты че же! — крикнул один доминошник.

Алкоголик не слушал его.

— Подожди. Не спеши. Я — сейчас,— бормотал он, после чего и сам выбросился с балкона. В полете он познал всю мудрость мира. Но, к сожалению, люди, познавшие всю мудрость мира, уже никому не могут о ней рассказать.

На них не было никакой одежды. Доминошники за-

крыли тела принесенными из дому простынями и стали дожидаться представителей власти и медицины, разгоняя жадную до зрелищ толпу грубой бранью.

Дорогие мои! Хорошие! Землячки́! На примере изложенных пяти песен о водке вы ясно видите, что людям, которые тонут в море водки, приходится очень и очень туго.

Но худо должно быть также и тем, которые плывут по этому спиртовому пространству в белоснежном лайнере. Стоит себе, опершись на корму, сукин сын, одетый в аккуратный фрачишко, и слушает, как корабельная музыка играет «Прощанье славянки», а в ресторане подают красную икру.

Стыдно ему должно быть, такому человеку! Ему должно быть очень и очень стыдно, что он не борется с морем водки, чтоб оно высохло раз и навсегда. Ему должно быть очень стыдно!

Но ему, напротив, ничуть не стыдно. Мало того, он наверняка будет иметь претензии ко мне за то, что я сочинил изложенные пять песен о водке.

А как мне не сочинять пять песен о водке, когда я слышу вопли распадающихся семей и вижу детишек с перекошенными от волнения лицами.

И везде — ад. И везде эта водка, водка, водка!

Туман! Болезнь! Мрак! Чувствую — скоро будет осень. Утром высунусь из окна и увижу, что алкоголик идет по серебряному от инея рельсу неизвестно куда.

ХОРОШАЯ ДУБИНА

Жена сказала мужу:

— Если ты, скотина, посмотришь в зеркало, то увидишь там лицо полного, обрюзгшего идиота. Ты не даешь мне денег на хозяйство, потому что у тебя их нет при зарплате 125 рублей плюс 40% прогрессивки в квартал. Прошлый раз ты мне дал 15 рублей, а из остальных взял 30 рублей взаймы, из которых, я знаю, уже истратил 10 рублей на такси и на 15 купил различных продуктов: хлеба, молока, яичек, мяса, масла, круп. Ты не уважаешь меня и относишься ко мне оскорбительно, смея приводить в пример женщин-декабристок, потому что ты подлец, хам, свинья и неотесанный неуч, у которого нету ничего святого. Ты совершенно опустился и тянешь меня на то дно, где всегда лежал и чавкал, находя в этом удовольствие. И я когда-нибудь уйду от тебя к маме, потому что дальше такое продолжаться не может. Мы должны наконец серьезно поговорить, и если мы не понимаем друг друга, то нам лучше расстаться, потому что женщине нужен орел, а не мокрое ощипанное животное, петух с интеллектом неандертальца и выпученными от слабоумия глазами.

А муж посмотрел в зеркало и нашел, что она не права.

— Душенька, успокойся,— сказал он.— Я очень тебя люблю и прошу, чтоб ты не орала, как стерва, отчего твой чудный, милый голосок становится отвратительным и визжащим, как у подвальной крысы, и тогда нет никаких сил жить с такой змеей, а лучше повеситься в лесу, как Иван Сусанин, которого повесили поляки за то, что он неправильно указал им дорогу. Я слишком люблю тебя, но хочу также и уважать, поэтому требую немедленно прекратить скандальные сцены, позорящие тебя и меня,

позорящие нас, нашу любовь и затемняющие будущее. Обожание мое переходит всякие границы, но я прошу тебя не пользоваться им в утилитарных целях, а то я когда-нибудь выйду из терпения, и последствия этого будут самые ужасные. И я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, потому что я неоднократно говорил тебе это, но ты не внемлешь моим разумным словам, а лишь даешь волю нервам, тоске, унынию и печали неизвестно по какому поводу, ибо нельзя же всерьез считать причиной нашего напряженного разговора вонючую сумму в 125 рублей, которая определена мне как содержание за мою жизнедеятельность на этой земле?

Дама замигала и неожиданно разрыдалась, открыв рот и уткнувшись лицом в подушку, в хрустящую накрахмаленную наволочку. Кавалер, почувствовав угрызения совести, успокоил ее, осушил слезы словами и делами любви, после чего вышел на кухню их двухкомнатной кооперативной квартиры во Втором микрорайоне Теплого Стана, притворив за собой дверь, чтоб жена не слышала, как он оттачивает трехгранным напильником столовый ножик... Чтобы это ей не мешало.

— Несправедливо, несправедливо,— бормотал он, работая.

Жена спала. Он убедился в этом, засунув в дверь комнаты свою круглую плешивую голову, после чего вышел на лестничную клетку и осторожно, пытаясь не звякнуть ключами, крепко запер за собой дверь.

Он прошел несколько кварталов до югославского магазина «Ядран», расположенного в Третьем микрорайоне, и, круто изменив направление своего маршрута, внезапно углубился в зимний городской лес, который тянулся на несколько километров по перпендикуляру от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, а в продольном направлении тоже на несколько километров — от улицы Теплый Стан до улицы Обручева, и был в это время года и дня тих, пуст, темен, безлюден. Он вырезал

отточенным ножом хорошую дубину и присел в засаде около одинокой волейбольной площадки, которая действовала даже сейчас, зимой, но, естественно, в светлое время суток, а не тогда, когда все так страшно и все так сумрачно вокруг, и пруд с хлорированной водой в зоне отдыха замерз, и не шелохнется снежная ветка, и ни один черт не бежит по тропинке «бегом от инфаркта», и собаки не гадят на дорожках, и разрумянившиеся лыжники не скрипят палками по снежку, и прогуливающаяся интеллигенция Теплого Стана не ведет своих наглых посмеивающихся разговоров, кутаясь в перекидные шарфы и воротники надувных пальто гонконгского производства, что приходят в посылках и продаются желающим за стоящие деньги. Страшно, господи! Ох как страшно в зимнем лесу, где человек практически забывает в такие минуты о прекрасности жизни, а думает всякую бяку, гадость всякую, безблагодатную и бесперспективную!.. Страшно...

А вот Внуков А. Н. ни о чем прекрасном не забывал, и ему абсолютно не было ничего страшно. Ибо это был гражданин СССР из породы тех самых лиц, с которыми власть и общество упорно борются по линии коррупции, поскольку эти граждане крадут все, что есть, и продают налево, совершают приписки, берут взятки, устраивают знакомых и родственников на такие же места, как те, где они служат сами. Они ходят в сауну, смотрят по видео фильм «Последнее танго в Париже», ездят на «Жигулях» и «вольво», скупают старинную мебель, посуду, картины, книги, пьют баночное пиво, виски, джин и определяют детей в хорошие высшие учебные заведения, где эти «цветы зла» учатся за казенный счет и даже становятся иногда высококвалифицированными, нужными родине специалистами, зачастую даже и не подозревающими о подлинном моральном облике их родителей. Эх, дети! Они обычно витают в заоблачных сферах, предаваясь грезам и мечтам до того самого времени, пока

суровый народный суд не расставляет все точки над i, после чего тут же взрослеют...

И Внуков А. Н. был очень доволен своим рабочим днем и вечером, который он провел в ресторане «Хунзах», расположенном на улице Теплый Стан, откуда он, проживая в Девятом микрорайоне, решил прогуляться по воздушку, распахнув полы своей турецкой дубленки и сдвинув на затылок бобровую шапку. Посвистывая, этот веселый сорокапятилетний человек шел себе по лесной тропинке, совершенно не чуя абсолютно никакой беды и лишь перебирая в голове, как турок четки, различные свои приятные мысли и мыслишки, связанные с ресторанным пребыванием, где в его честь был устроен небольшой банкет на 350 рублей, в конце которого Внукову А. Н. была с поклоном вручена определенная сумма денег. Он даже затянул грузинскую народную песню «Мралаважмиер», но столь явно не обладал голосовыми данными, что его невнятная музыка была быстро погашена морозным воздухом. С ветвей шурша осыпался снег, в прогалинах виднелись уютные огоньки многоэтажек, и он наддал шагу, желая поскорее очутиться в кругу семьи, но, поравнявшись с волейбольной площадкой, внезапно остановился и, как волк, повел носом вокруг, ибо нечто вдруг затормозило ход его движения, чувство опасности, которое никогда не подводило его, отчего и существовал он в довольстве, достатке, счастье, надеясь прожить с этим чувством до самого конца отпущенных ему господом дней.

Но в этот раз он даже не успел ничего предпринять. Тяжелый удар пришелся сзади по шапке, ноги у Внукова А. Н. подкосились, и он бездыханный упал в сугроб.

А муж возвратился домой уже поздней ночью, вдосталь напетлявшись по лесным тропинкам, наездившись в автобусах, троллейбусах, трамваях. Открывая дверь, он снова пытался не создавать шума, но когда разделся, надел тапки и прошел на кухню, то тут же запел песню

из репертуара ленинградского рок-ансамбля «Механический удовлетворитель», нечто вроде:

Скоро настанет весна.
Налипнет на подошвы дерьма...

Жена холодно глядела на него, не зная, как правильно оценить возбужденное состояние мужа. Она сидела за кухонным столом, крытым импортной клеенкой, и пила чай внакладку. Перед ней имелось яблочное варенье в вазочке, рубленая ветчина Каунасского мясокомбината, сыр с тмином из Шяуляя, полтавская колбаса и эстонские соленые галеты.

На всякий случай она хотела отвернуться, но муж не дал ей этого сделать, сразу же вынув из кармана увесистую пачку денег.

— О, сколько у тебя денег! — не удержалась она от удивительного восклицания.

— Все это я нашел в лесу,— тяжело дыша, сообщил он.

Они пересчитали деньги. Их оказалось ровно 10 000 рублей красными червонцами.

«Мы должны заявить о находке в 127-е отделение милиции»,— хотела твердо высказаться жена, но муж снова не дал ей этого сделать, объяснив, что если кто предъявит находку, то на долю заявителя придется лишь никчемная ее часть, а именно — один процент, то есть всего-навсего 100 рублей, которые «не сделают погоды», даже если их обоих наградят золотыми именными часами за проявленную честность. Он либо ошибался, либо сознательно лукавил, этот муж, — ведь всем в СССР, даже малым детям, известно, что государство дало бы им за находку гораздо больше, чем 100 рублей, не говоря уже о моральном уважении от общества. Но не в этом дело...

А в том, что они оба тихо засмеялись и зажили с тех пор весел и счастливо. Они положили деньги в

пустую коробку из-под кубинских сигар, когда-то подаренных им на свадьбу, и стали прибавлять к своему ежемесячному бюджету всего лишь по 200 рублей, правильно рассчитав, что указанной суммы им хватит на 4,16 года. Не обошлось и без небольшого спора: жена предлагала сразу же купить югославскую стенку за 2016 рублей и зеленую плюшевую мебель финского производства, как у их друзей, живущих неподалеку от Смоленской площади в кооперативе Большого театра, но муж решительно воспротивился этому, объяснив, что здоровье дороже и летом они поедут в Прибалтику, осенью в Крым, зимой в Грузию. Жена легко согласилась с ним, потому что тоже была очень умной женщиной.

Вернемся к потерпевшему Внукову А. Н. Отлежавшись в сугробе, он пришел в себя, ощупал затылок, определив на нем изрядно вздутую шишку, оценил руки, ноги, грудь и, убедившись, что все находится в полном порядке и наличии, включая бобровую шапку, больше ничего ощупывать и оценивать не стал и весело продолжил свой путь, страшно удивляясь происшедшему и потеряв от этого почти всю свою бдительность, не чуя совершенно почти никакой беды.

Которая заключалась в том, что дома его уже ждали. Он понял это по заплаканному лицу Тамары, открывшей ему дверь, и по лицам двух высоких мужчин в кожаных пиджаках, мгновенно выросших за ее спиной. В глубине квартиры, под картиной работы кисти раннего Боера, сидела дочь Внукова А. Н., Лена Внукова, в дымчатых «поляроидах», нервно крутя в тонких изящных пальцах австрийскую сигарету «Майдл сорт». Он кивнул дочери, но та отвернулась.

— А в чем, собственно, дело, товарищи? — спросил он.

— Пройдите в гостиную, и вам все станет ясно,— сказал один из кожаных пиджаков.

Медленно разматывая шарф, Внуков А. Н. прокрутил

в голове все комбинации по собственному спасению, но не одна из них не давала ему искомого результата. Он мельком подумал, что на Западе сильное распространение получили у деловых людей электронные компьютеры, способные принимать мгновенные решения в сотые доли секунды, и вздохнул — как мы все-таки отстали, у нас этот компьютер тут же бы сгорел от напряжения ясным огнем, и денежки, траченные на его покупку, сгорели бы тоже.

Он шагнул в комнату и, конечно, тут же увидел этого сукина сына, с которым они целовались 40 минут назад в вестибюле «Хунзаха», когда швейцар надевал на Внукова пальто, получив за это рубль. Рядом с подлецом на диване сидели какие-то молодые спортивные ребята, которые в дальнейшем фигурировали как понятые.

— Ну что, стыдно, шакал? Так-то ты мне платишь за мою доброту и участие? — обратился он к Анзору, и тот, съежившись от позора, лишь провел ладонью по горлу, дескать, зарезали, что делать, извини, друг, и Внуков А. Н. брезгливо отвернулся от этого нечеловека.

— Так в чем же все-таки дело, товарищи? — повторил он, устроившись в кресле и перекинув ногу на ногу.

— А то вы не знаете, гражданин Внуков,— не удержался один из понятых, но мужчины в коже посмотрели на него строго, и старший из них по чину сказал примерно так:

— Гражданин Внуков А. Н., в присутствии понятых мы будем вынуждены провести на вашем теле личный обыск с целью изъятия у вас меченых денежных знаков в сумме 10 000 рублей, которые вы получили в качестве взятки от гражданина М.— Он указал на Анзора, и тот согласно кивнул головой.— О чем гражданином М. сделано соответствующее заявление, признанное компетентными органами явкой с повинной. Попрошу начинать... Женщины,— обратился он к Тамаре и Лене,— вы можете пока удалиться на кухню...

— Нет, я останусь! Я хочу все видеть собственными глазами! — вспыхнув, сказала Лена, а Тамара лишь тихо плакала, бесшумно сморкаясь в батистовый носовой платок с монограммой.

— Что ж, ваша воля, ваша власть,— пробормотал Внуков А. Н.

— Что?! — подняв голову от заполняемого бланка протокола, спросил второй кожаный пиджак, но Внуков А. Н. уже стушевался, размяк, и вопрос повис в воздухе, после чего процедура началась.

И тут же закончилась к превеликой досаде почти всех присутствующих, ибо денег, как уже следовало бы догадаться, естественно, что не оказалось же.

— Где деньги? — спросили Внукова А. Н.

— Какие деньги? — удивился он, наливаясь кровью, после чего немедленно заорал, завопил, затопал ногами, заохал, застонал, пнул ногой гражданина М., суля всем оклеветавшим его страшные кары и месть вплоть до понижения по службе, хватался за сердце, и сияющая Тамара принесла ему в зеленой рюмочке патентованное заграничное средство, с ненавистью глядя на служивых людей.

— Вы ведь прямо по лесу шли? — неуверенно спросил один из них.

— Не ваше собачье дело, где я шел! — взвизгнул Внуков А. Н., но тут же был немедленно вознагражден за перенесенные испытания тем, что подле него вдруг оказалась Лена, снявшая наконец свои темные очки, против которых он часто протестовал, утверждая, что они портят миловидное выражение ее не очень-то красивого лица.

— Я всегда знала, что ты честный человек, папка, и говорила об этом девочкам,— сказала она, и слезы в ее прекрасных глазах задрожали, как бриллиантовые сережки в ее ушках.

— Доченька моя, милая,— не выдержав, зарыдал и

Внуков А. Н.— Ты видишь, как сложна жизнь, как много в ней грязи, лжи, несправедливости, но пускай все случившееся послужит тебе хорошим жизненным уроком в смысле оптимизма и постижения прекрасности жизни, чего, что уж тут греха таить, зачастую так не хватает современной молодежи, иногда предающейся пессимизму, нигилизму, унынию, а то и голой отрицаловке, неверию во все то хорошее, что существует на земле испокон веку и будет существовать до тех пор, пока останется жива хоть одна душа, пока не потухнет солнце! Верь, дочь моя! Верь во все прекрасное и светлое, ибо дорогу осилит идущий, а обрящется лишь ищущему и верующему!

Кожаные пиджаки захохотали, смеялись понятые, Тамара, гражданин М., улыбнулась сквозь слезы Лена, заливался соловьем и сам Внуков А. Н.

Они смеялись. Давайте и мы оставим наконец печаль и тоже засмеемся — открыто, весело, счастливо, легче и интенсивнее, чем раньше. Давайте наконец-то бросим валять дурака. Давайте наконец-то будем как дети!

ЭМАНАЦИЯ

РАЗОР

СМЕЯЛИСЬ–УЛЫБАЛИСЬ

ЗЕРКАЛО

ГОРБУН НИКИШКА

ЩИГЛЯ

КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА

БАРАБАНЩИК И ЕГО ЖЕНА, БАРАБАНЩИЦА

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

ГРИБЫ





ЭМАНАЦИЯ

Не стесняясь, еще и еще раз заявляю: прекрасна наша сибирская золотая осень, когда лист шуршит в шагу, и с Енисея тянет влажной синевой, и лебеди, курлыкая, улетают в Египет, и солнце слабеет, отпускает к вечеру, и тополь чуть дрожит в полуденном мареве, и комок к горлу подкатывает, когда видишь — ползет через серый бетонный мост красненький трамвайчик на долгом фоне яркой, охряно-пятнистой и синей, и зеленой, и фиолетовой осенней тайги.

А вот и девушка. Девушка вышла из красненького трамвайчика и медленно спускалась к Енисею, рассеянно припинывая носком замшевой туфельки случайный малый камешек. Ее зовут Аня. Ей двадцать шесть лет. Она учится в городском педучилище и живет с родителями.

И на фоне всего вышеописанного очаровательного пейзажа вышла Аня на крутой бережок и стала спускаться к тихой волне, ленивого плеска которой не нарушал даже громадный механизм земснаряда, причаленного в протоке и вытянувшего свои толстые трубы аж до самого правого берега с целью намыва галечной насыпи для расширяющегося комбайнового завода. Земснаряд молчал. Аня вышла на родной берег к тихой волне.

А там уж и расположился на камушках невидимый сверху ее будущий муж Вася. Одетый в небогатый черный свитер, простые штаны, длинноволосый, он щурился и наигрывал на гитаре.

Милая, ты услышь меня...

Аня вздрогнула, увидев незнакомого парня, услышав эти слова, но виду не подала, что смутилась и слышит. И маршрут она не изменила, чтобы Вася чего-нибудь

такого не подумал, что она про него что-нибудь такое подумает.

Она осторожно подошла к самой кромке Енисея, постояла, еле шевеля губами, а потом глубоко наклонилась, и Вася услышал тихое:

— Здравствуй, Вода...

И увидел Вася длинные аккуратные ножки в белых чулочках и край белых трусиков над задравшейся мини-юбкой. И ахнул Вася, и оценил он тут взглядом всю ее: худенькую девочку с вьющимися локонами, тихую, как видно.

Он почувствовал прилив необычайного воодушевления и снова защипал гитарные струны.

Милая, ты услышь меня...

Девушка тогда заледенела спиной, выпрямилась и, слова не говоря, подвинулась в сторону, села на валун, распахнула какую-то интересную книжку.

— Ми-ла-я...

Аня перевернула страницу.

— Девушка, а что это вы там такое интересное читаете? Нельзя мне тоже с вами почитать? — якобы лихо спросил Вася, который на самом-то деле вовсе не был такой уж особенный лихач.

Аня ничего не слышала.

— Девушка, вы что, глухая? — стал приближаться осмелевший будущий муж.

Так он и приближался, неловкий, смущающийся, пытаясь улыбаться, держа на отлете красивую гитару. Таким его и увидела Аня, с досадой повернувшая аккуратную головку.

— Милая...— улыбался Вася.

И тут девушка с треском захлопнула книгу и гневно вскочила. Она напряглась, напружинилась и...

И тут включился работать доселе молчавший земснаряд. Скрежет и вой, страшный скрежет и вой плыли

с земснаряда, звеня и сталкиваясь летели по толстым его трубам невидимые камни.

Девушка махала руками, девушка что-то гневно кричала, но не слышал ее опешивший Вася Феськов. Страшно исказилось, побагровело ее лицо, рубила она воздух маленьким кулачком.

И внезапно оборвался жуткий звук, в наступившей тишине Аня и слова не могла вымолвить. Она задыхалась, она яростно смотрела, она вдруг прошипела:

— Дурак!

И отвесила Васе звонкую пощечину.

Вася побледнел, отступил, сцепил зубы.

А она вдруг заплакала. Она сначала всхлипнула, ойкнула, а потом и началось.

— А-ва-ва...— захлебывалась она.— А-ва-ва...— Дергалось птичье ее тельце, худенькая шейка.

— Девушка, что с тобой? Что с тобой? — затосковал добрый Вася.

А она вдруг ослабела, уткнулась в его свитер и, продолжая жалобно всхлипывать, бормотала:

— Какие все пошлые, какие все — пошлые, почему все такие пошлые?

— Да что ты, милая, что ты? — совсем потерялся Вася и, совсем плохо соображая, что делает, неловко обнял ее и стал гладить сухие пряные волосы.

И девушка успокоилась, легла в забытьи на его плечо с закрытыми глазами. Потом вдруг очнулась, с ненавистью увидела Васю, отшатнулась и побежала. Он ее бросился догонять. Она задыхалась, и он задыхался. Они оба задыхались.

Вот так и познакомились будущие супруги. Ну а вскоре после этого романтического происшествия и поженились, вступив в законный брак по внезапно вспыхнувшей любви и зарегистрировали эту любовь в отделе ЗАГС Центрального района. Счастливые Анины родители

поздравляли их, хотя и опасались слегка, что Вася будет выпивать, а Васина старая тетка, у которой он, будучи круглым сиротой, квартировал всю жизнь, даже и расплакалась. Друзья Васи имели почтительный вежливый вид, Анины же сокурсницы все больше шептались.

Так счастливо и удачно началась их совместная жизнь. Любо-дорого было бы вам на них посмотреть, на этих двадцатишестилетних голубков. Совсем и не узнать стало ранее экзальтированную Аню, когда она, распевая нежные популярные мелодии, пылесосила их ковры или в сотый раз натирала глянцевый паркетный пол той однокомнатной кооперативной квартиры, которую подарили им запасливые Анины родители, мудро считавшие, что ведь когда-нибудь и она выйдет замуж, их любимая доченька, не век же ей в девках сидеть. Аня к тому времени закончила педучилище и работала музыкальным воспитателем сразу в трех детских садиках, на полторы ставки. Она так сильно заботилась о Васе, она так сильно о нем заботилась, что ему временами как-то даже становилось неловко.

— Вася, да ты что же это делаешь? — вдруг ужасалась Аня.

— Что? Что? — пугался и Вася.

— Ты зачем эти старые брюки надел?

— Они мне нравятся.

— Немедленно их сними. Они мятые.

— Ну и что, что мятые, черт с ними...

— Не черт, а это ты раньше мог неряхой и грязнулей ходить. А теперь ты женатый человек. Ты идешь со мной. Все скажут, что это я за тобой не слежу.

— Да в гробу я видел, что скажут,— огрызался Вася, но брюки все же переодевал, справедливо считая, что все это мелочи и не стоит из-за мелочей спор разводить.

Сам-то он, как ему казалось, совершенно не изменился. Он по-прежнему был весел, ровен, бодр. Правда, с

институтом пришлось на время расстаться — Аня сдавала государственные экзамены, нужны были деньги, и Вася пошел работать техником в горную лабораторию. Да как-то там незаметно и остался. Поигрывал на гитаре, изредка встречался с друзьями, до сих пор неженатыми.

— Все в порядке, старики,— говорил он.— Я считаю, что я прав. Я сам пошел на это, и я прав. И потом, я вам скажу,— у человека в доме должен быть суп.

— Суп и в столовой есть,— возражали друзья.

— Не то, не то...— смеялся Вася.— В столовой суп есть, но нету этой... эманации. Понимаете? Эманации. Когда все напряжено, и волшебное сияние от всего исходит, невидимое сиянье счастья.

Тут какой-нибудь развеселый друг озабоченно щупал Васин лоб, отчего Вася первый же и хохотал.

Ну а если честно признаться, начал, начал его грызть какой-то маленький червячок. Потому что все вроде бы и нормально шло, да как-то не так, как-то не так... С одной стороны, наверное, действительно хорошо, когда женщина следит за тобой, просит, чтобы ты не гулял и не водил ночевать в дом веселых дружков. Когда она гладит твои рубашки и прикидывает — хватит ли вам до получки тех ваших ежемесячных денег, на которые вы существуете без ропота и обиды. Конечно, хорошо, а то как же иначе? А иначе — пропадешь, опустишься, измельчаешь, погибнешь без возврата.

И будучи человеком отчасти рациональным, Вася умом-то это понимал, но все его существо вопреки мировой логике восставало против этой непонятно почему унизительной для него опеки. Дыхания ему, что ли, не хватало? И ведь знал он, что существует даже такой специальный термин «обабилась», но отчего же так быстро-то? Отчего так быстро?

И вскоре стал молодой супруг вести себя, мягко говоря, не совсем корректно. Вредничать стал, капризни-

чать, нехорошо улыбаться. И особенно злился оттого, что Аню как-то и не особенно удивила подобная перемена в его поведении. Как будто она давно уже была готова к этому. Ровно и спокойно она настаивала на сказанном, а при грубых Васиных словах запиралась, за неимением другого места, в ванную и там тихо читала, доводя его тем самым до окончательного исступления.

Вот так и стали проходить эти их обыденные деньки — в мелкой вражде и спорах, равно как ночи — в жаркой любви.

От таких потрясений и контрастных переходов Васины нервишки стали совсем сдавать. То все грубил, бывало, а однажды, исступленный, даже замахнулся на Аню кулаком.

Это случилось так. В ранней юности Вася баловался стишками. Стишки были так себе. Вася это понимал и вскоре свои версификаторские упражнения прекратил. Но у него была громадная амбарная книга, куда он записывал всякие лично им придуманные мысли, фразы и рассуждения. О жизни и смерти, о любви и правде, о том, что бога нет, но лучше бы, если б он был. Вася цели никакой не имел, деля эти записи. Впрочем, тут я, пожалуй, не совсем прав. Временами ему казалось, что это — костяк, фундамент, на котором он когда-нибудь построит хорошую, честную, умную книгу, не «амбарную», а вечную, построит и тем самым оправдает свое существование в этом мире. Потому не для того же родился он, Василий Феськов, на земле, чтобы только так вот есть, спать, ходить на работу, целовать Аню. Хотя — хорошо есть, хорошо спать, сладко целовать Аню.

И вот что еще интересно. Ей он почему-то свои записки никогда не показывал. Да и сама она особого любопытства не проявляла, когда он, вытащив книгу из старого чемодана, закинутого на антресоли, морщил лоб

и вписывал туда мелким круглым почерком очередную свою, как он выражался «толковую мыслю».

И в тот плохой день, когда все и случилось, Вася пришел с работы, поел и решил записать в книгу вопли нервного мужика, которого он видел в автобусе. Мужик тот кричал, что он только что из морга, где лежит его любезный друг, лежит бездыханный, потому что он попал под электричку. «Сашка, Сашка! — кричал мужик.— И что ты наделал, Сашка! И ведь не пьяный ты был, а на работу шел, Сашка!»

Эти нелепые выкрики и хотел записать Вася. Но он книгу на антресолях не нашел. Он обрыскал один чемодан, другой, но книги нигде не было.

— Аня, ты случайно не видела, у меня была такая книга, «Амбарная» на ней написано, зеленая такая, толстая книга? — спросил он.

— Видела,— ответила Аня, сидевшая у телевизора с шитьем на коленях.

— А где она?

— В мусоропроводе,— спокойно ответила Аня.

— Да ты что? Ты шутишь? — побледнел Вася.

— Нет, не шучу,— любезно ответила Аня.— Нисколько не шучу.

Вася побежал на лестницу, открыл мусоропровод. Там к влажной его стенке прилип какой-то бумажный обрывок.

«...изнь дается человеку случайно. По случа...

...совпадению я явился в этот мир. Так какого же че...

...трусливо цепляться за него. Мир! И тянуть и муча...»

— Зачем ты это сделала? — вскочил Вася в комнату.

— О-о, какой сердитый муженек у меня,— улыбнулась Аня.

— Я тебя спрашиваю!

— А я тебе отвечаю! Я случайно на нее наткнулась. И случайно прочитала. И знаешь, я тебе что скажу, боль-

шей пошлости, грязи, сальности и безвкусицы я в жизни не видела...

— Да твое-то какое до этого дело? — задохнулся от злобы Вася.

— А ты повежливей, пожалуйста, повежливей. Я не спорю, в конце концов, может быть, это и не мое дело, что ты пишешь гадости даже и про меня. Ты б хоть немножко подумал! ЧТО пишешь? Ты ведь как-никак теперь семейный человек!

Вот тут-то и замахнулся на нее Вася.

— Ах ты дрянь! — закричал он.

Но Аня смотрела на него по-обычному спокойно, как-то, я бы даже сказал, светло смотрела, беспечно, равнодушно.

— Если ты меня хоть раз когда-нибудь ударишь, я от тебя тут же уйду.

— Ах ты дрянь! — кричал Вася.— Ты зачем все делаешь мне назло? Ты что, умнее меня?

— Успокой нервы! — насмешливо бросила она и повернулась уходить по привычке в ванную.

— А, черт! — взвыл Вася и, оттолкнув ее, сам туда первый кинулся, закрылся на крючок.

Трясущимися руками вырвал он из брюк ремень и остановился в растерянности, потому что он ни разу еще в жизни не вешался и не знал, как это делается.

Он подошел к зеркалу и нерешительно примерил ремень, как галстук. Из зеркала глядело на него почти незнакомое, озлобленное лицо.

— Открой! Открой! Василий, немедленно открой! — бессильно лупила в дверь Аня, которая каким-то инстинктом почуяла, что на этот раз по-настоящему плохо дело.— Открой, открой! Вася, миленький, хорошенький, родной, ну открой, открой, открой!

— Ну, чего раскричалась? — грубо спросил Вася, рывком распахивая дверь.

— Вася, я не успела тебе сказать. У нас, у нас будет ма-а-ленький!..

И Аня безудержно разрыдалась.

— Ну, зачем плакать-то? — уже мягче сказал Вася, невольно обнимая ее.

— Нет, скажи — ты счастлив, скажи — ты счастлив, счастлив? — все твердила она, запрокидывая облитое слезами лицо.

— Да счастлив я, счастлив,— морщился Вася.

А лет семьдесят до него писатель Лев Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Господи, неужели и в самом деле прав яснополянский мудрец?

РАЗОР

Жила-была тихая девочка около станции Уяр Восточно-Сибирской железной дороги. Папаша у ней оказался порядочный сукин сын и однажды сбежал в неизвестном направлении, а мама все болела, болела, побаливала. Даже ездила раз по путевке на курорт «Озеро Шира». Болела, болела да и умерла — тихо и незаметно, скромно и немучительно.

А девочка похоронила маму и поставила крест с фотографией. Мама глядела с фотографии как живая. Девочка погоревала, распростилась с оставшейся жить неродной теткой и уехала в город.

А там она идет по улице и вдруг видит на столбе криво приклеенную бумажку:

«Пущу на квартиру адну девочку. В Покровке».

Она и направилась по адресу, оказавшись у ловчайшей старухи сгорбленной конструкции. Старуха отобрала у ней деньги за три месяца вперед, не велела никого приводить, поздно являться и «устраивать бардаки». Сама же в первый вечер напилась «Солнцедару», пошла на огород и стала зубатиться с соседкой. Соседка пустила ей в голову подсолнух. Старуха взвыла и повернулась, задрав юбки. Такое оскорбление вряд ли кто выдержит — соседка ринулась в бой, пришел участковый, составил протокол.

А девочка сначала хотела в финансово-кредитный техникум, но выяснилось, что прием туда в этом году уже закончен. Тогда она устроилась на почту и стала разносить письма, газеты, денежные переводы.

Подруг у ней не было. Она раз пошла на танцы в Политехнический институт, и там ее пригласил один длинный, лохматый. Похожий на «песняра», которые сладко и звонко поют под электроинструменты с пластинки того же названия. Звали его Вовик. Он проводил

ее до ворот, и стоял, и курил, и полез под лифчик, и получил отпор, и назавтра опять пришел, а старуха ей и говорит:

— Ты с этим козлом не шейся. Я по его морде вижу, что тебе от него будет разор.

— Да я и не думаю ни о чем таком,— сказала девочка.

— А ты думай не думай, а будешь с ним шиться, так и будет тебе от него разор,— настаивала старуха.

Но девочка ей не верила. Они ходили на танцы, в кино, дважды он приводил ее к себе, где сильно приставал. Но в первый раз помешал его папа. Щелкнул дверным замком и бодро крикнул в глубину громадной квартиры:

— Эгей! Люди! Кормилец с заседания пришел, голодный, как сорок тысяч волков!

А во второй — девочка сама в последнюю секунду вырвалась и убежала. Вовик остался лежать злой и крыл ее вдогонку последними словами. Но на следующий день они снова встретились.

Ну и вскоре она как-то очень даже незаметно для себя допустила лишнее, а через месяц ее и вырвало во дворе, в присутствии старухи.

— Колбасы я налопалась ливерной,— сказала девочка.

А старуха глядела пристально.

— Как бы тебя, однако, на солененькое да на известочку не потянуло от такой колбасы,— сказала старуха.

Девочка-то и не поняла — к чему это она, а потом поняла.

Она тогда пошла к Вовику, и дверь ей открыла Вовикова мама.

— Здравствуйте,— сказала девочка.— Мне Володю можно?

— Нету Володи,— ответила мама, неприязненно глядя на девочку.

— А где его искать? — спросила девочка.

— А нечего его искать,— ответила мама.— Ходят, ходят — надоели. Надо будет — он сам тебя найдет. Нечего его от занятий отвлекать. У него сессия на носу!

И захлопнула дверь. А девочка отошла к стенке, ковырнула ногтем штукатурку и стала ждать. Но Вовик не пришел. В подъезд заходили другие люди: катили коляски, несли свертки, сумки, пакеты. Здоровались, смеялись. А Вовика все не было. Девочка пошла домой.

А Вовика все не было. Девочка раз видела его через стекло. Он ехал на задней площадке трамвая и что-то объяснял, жестикулируя, своим друзьям. Он рассеянно скользнул взглядом и, наверное, на самом деле не заметил девочку.

А она шла в номерную баню. Она купила за 35 копеек билет и зашла в душевую кабину. Она вынула карманное зеркальце и стала смотреть свой живот. Живот точно стал выпуклый. Девочка повернула кран. Звонко лилась вода из-под потолка. Девочка заплакала.

А как-то она встретила Вовиного отца. Высокий, еще выше, чем сам Вовик, плечистый, стриженный под полубокс, папа вышел из машины, размахивая портфелем.

— Привет, кнопка! — обрадовался он.— Что не заходишь? Или с Вовкой поссорились, с оболтусом?

— Да нет,— сказала девочка.

— А что такая квелая? Круги под глазами?

— Пузо у меня,— сказала девочка.

— Чего? — поперхнулся отец.— Ты что болтаешь такое?

И девочка взяла да ему все и рассказала. И вечером того же дня папа имел с сыном продолжительную беседу.

— Ну и что ты, сын, собираешься теперь предпринять? — наконец спросил он.

— Учиться, учиться и еще раз учиться,— пожал плечами Вовик.

— А девка что будет делать, сволочь?

— А я ей десятку дам, пойдет да и выскребет,— ответил Вовик и тут же получил прямой удар в челюсть.

Ворвалась подслушивающая мать.

— Не смей бить ребенка, фашист! — кричала она.— Ему рано жениться. И эта особа вполне совершеннолетняя. Она знала, на что идет. Ты ведь ей не обещал жениться, Вовик?

— Конечно нет,— угрюмо ответил Вовик, подсасывая сочащуюся кровь.

— И я не позволю, чтобы мой сын женился на первой попавшейся деревенщине...

— Позволишь,— недобро бормотал отец.— Позволишь! Вовик тебя попросит, и ты позволишь. Ведь правда, Вовик? Попросишь?

— Да на кой она мне на самом деле, папа? Мне еще учиться три года. Ну, на кой она мне? А потом, кому известно, что ребенок от меня? Может, и не от меня.

— Подлец! — Папа смотрел на сына с отвращением.— Подлец! Неужели ради таких воевал я на фронте, и строил, и мерз, и голодал?

— Ну, пошел...— сказала жена.

— Не пошел! — взорвался строитель.— А сделал ребенка — пускай женится. И — никаких. Все! Позорить я себя не позволю. Меня полгорода знает.

Вовик неожиданно развеселился:

— А! Могу и жениться. Мне — один черт! Она, правда, не шибко красивая. Были у меня и покачественней.

Отец тоже улыбнулся.

— А это ничего,— сказал он.— Знаешь восточную пословицу? Красивая жена — чужая жена.

— А надоест — так и брошу,— размышлял Вовик.

— Я тебе брошу! — отец погрозил ему пальцем.

Мать Вовика рыдала, и вскоре молодые уже стояли перед служащей отдела ЗАГС Центрального района.

Брачующая сказала:

— Рука об руку, деля удачи и неудачи, пройдете вы по жизни. Так пусть будет крепким ваш союз! Пусть будет крепкой эта новая ячейка нашего общества — ваша молодая семья! Ура, товарищи!

И товарищи сказали «ура», и сели в машину, всю изукрашенную лентами. Прохожие смотрели на машину. К ветровому стеклу черной «Волги» чьи-то заботливые руки привязали громадную целлулоидную куклу.

Дальше была свадьба. На столах всего было видимо-невидимо. Имелась даже красная икра. Со стороны невесты родственников не имелось. Зато со стороны жениха многие говорили речи и желали молодым обилия различных благ. Невеста сидела потупив очи.

— Пускай и молодая что-нибудь скажет,— крикнул кто-то.

Невеста встала, обвела стол и присутствующих счастливым взором и сказала, обращаясь к Вовиковым родителям:

— Дорогие мама и папа! Позвольте мне вас теперь так называть! Немалая ваша заслуга в том, что я вошла в ваш дом и стала вашей невесткой. Верьте, что я — очень работящая, а также что я всегда буду это ценить и никогда это не забуду.

И, не выдержав, заплакала. Жених улыбался снисходительно, но многие тоже плакали. Плакала мама, вытирая глаза кружевным платочком. Папа плакал, сурово кусая хорошо подстриженный ус. Многие плакали! И плакали, разумеется, от радости. А от чего же еще?

СМЕЯЛИСЬ — УЛЫБАЛИСЬ

Один длинноволосый молодой человек, путешествуя по творческим надобностям, встретил в Минусинске землячку, про которую было известно, что она — очень развитая, а из себя — эмансипе.

Смеялись. Землячку сопровождала бабушка — такая седенькая сухонькая сибирская старушка. Тихонько, с мягким добрым юморком смеялись над неловкой старушкой, смеялись над новой кинокомедией, смеялись над всем и вся, и все вместе пошли на автовокзал. Там бабушка перекрестила внученьку, а на молодого человека посмотрела сухо. Молодые люди сели в автобус и покатили в Абакан — барышня вечером собиралась лететь в Новосибирск, а из Минусинска, как известно, самолеты в Новосибирск не летают.

Стояли на площади. Около гостиницы «Хакасия». Смеялись. Молодой человек указал на плоский барышнин животик, оголившийся под модной короткой майкой.

— Как местное население? Осуждало или восхищалось?

— Местное население в общем и целом реагировало нормально. Даже слишком нормально. Соседка Анфиса платье штапельное хотела подарить.

А молодого человека вдруг осенило.

— Махну-ка и я в Новосибирск. Выжался я тут, как лимон. Все! Пора и мне домой!

— Вы ведь, кажется, художник? — уточнила барышня.

— Художник... Я — художник,— небрежно отвечал молодой человек.— Я и писатель, я и художник, я и Моби Дик, я и сын лейтенанта Шмидта. Все! Лечу домой! То-то ребята из группы «Арт дизайн» обрадуются! Явился, скажут, наш алкаш...

— Вы много пьете? — удивилась барышня.

— Не, по потребности,— молодой человек скорчил рожу.— Кстати, может, щелкнем бутылочку коньячку, который подешевле, а?

— Актуально! — засмеялась барышня.— А успеем?

— О, мы все успеем,— молодой человек таинственно наклонился и таинственно спросил: — А как у тебя дела в области половой морали? Полное раскрепощение секса или частичное?

Тут барышня слегка улыбнулась и слегка подмигнула молодому человеку.

А тот, обрадованный, стал выкладывать такие свои выкладки:

— Я — человек мягкий. Я — человек безвольный. Но я не люблю вранья, и я не люблю тайну, и я не люблю лгать. Вот я честно открыл свои планчики, и это куда лучше, чем вдруг бы я сидел-сидел да и пустился вдруг ни с того ни с чего тебя лапать. Ведь ага?

— Ага,— смеялась барышня.

— Кстати, ты в Новосибирске долго будешь?

— Не, поеду отдохну на каникулы к родителям в Монголию. Они у меня — блестящие геологи.

— В Монголию! К родителям! Блестящие геологи! Ну ты даешь! А как тебя пустят? Впрочем, монголы же наши братья. Как это — хинди-руси, бхай-бхай!

— Это неважно, что братья,— посерьезнела девушка.— Мне, например, оформляют международный паспорт. Я к бабушке, чтобы время быстрей прошло...

А время очень быстро прошло. Время, можно сказать, пролетело. Как самолет. Они взяли коньяку, шоколаду и поднялись наверх — в одноместный номер человека искусств.

— Секи лозунг: отель «Хакасия» — абаканский «Хилтон»,— посмеивался молодой человек.

Он уже немного осовел, и барышня чуток опьянела, и в бутылке оставалось мало. Молодой человек глянул на часы.

— Ну что, давай? — сказал он.— Пора нам, боярыня, в постелю!

— Так быстро? Зачем? — вроде бы удивилась барышня.

— За этим самым,— усмехнулся молодой человек.— Ну, давай, а то до самолета-то поди и не управимся.

И тоже подмигнул ей. Он, если позволят так выразиться, возвратил ей подмиг. Он подмигнул и шустро полез к ней под майку. Барышня отпрянула.

— Не подумайте! Не вздумайте! — сказала она.

— Да что ты все на «вы» да на «вы»,— вспылил молодой человек и схватил барышню за локти.— Договорились же на «ты».

— А я же так быстро не могу,— прошептала барышня.— На «ты». Мне надо привыкнуть.

— Ай, брось ты вертеться! Ну как тебе не ай-я-яй! Ведь я тебе все объяснил, и ты со всем согласилась. Брось, мать, ломаться. Перед мальчиками институтскими будешь ломаться...

— Не подумайте! Не вздумайте! — твердила барышня.— Я должна была вам сразу правду сказать. Я должна, я была, я же — девушка.

— Вот именно,— веселился молодой человек.— Была я молодая... Слушай, тебе не кажется, что наши любовные игры несколько затянулись? Пора и к делу переходить.

— Но я правда — девушка. Я — девственница.

И тут молодой человек внезапно все понял. Он понял все. Он резко встал, резко подошел к окну и резко забарабанил пальцами.

— Как же так? — бурчал он.— А Беляев, который из музкомедии, он же у тебя был?

— Вот также вот и был.

— Врешь, наверное? — неуверенно сказал молодой человек.

— Зачем мне врать? Какой смысл? — потупилась барышня.

— Что ж это получается? — рассвирепел молодой человек.— Где ж твоя голова? Где твоя честь? А мне каково? Я уже настроился. Я целиком настроился...

И они посмотрели друг другу в глаза — рассерженный молодой человек и барышня в слишком короткой майке. Барышня качала головой и глядела грустно. И он глядел тоскливо.

— Ну я тогда пошла,— сказала барышня.

— Привет Чойбалсану,— буркнул тогда молодой человек.

И барышня ушла. Молодой человек стоял у зеркала.

— Смеялись — улыбались, а толку что? — жаловался он зеркалу.— Сплошной обман и сплошной туман...

...Минусинская бабушка скрипнула калиткой. Пес Жук бросился под ноги. Бабушка зажгла синюю лампадку и долго-долго молилась Богу! Потом она покушала что-то из эмалированной мисочки и стала смотреть в темнеющее окошко. Ее губы шевелились, но она ничего не говорила.

ЗЕРКАЛО

Ну, я не знаю — может, оно кому и лучше, совсем ничего не знать, как писали те древние философы, о которых мне раз толковал по пьянке Витенька, но я-то вот теперь знаю, и я совершенно спокоен, я точь-в-точь так спокоен, как должен быть спокоен тот ихний человек, который, по утверждениям древних этих философов, не должен ничего знать, и от этого-де жизнь его становится спокойна, мудра и блестяща. А я знаю все! И как мне стыдно было бы, да меня просто корежит от стыда, что я бы мог не знать. Какой бы я тогда был слабый...

Я сейчас работаю на штатной должности в институте лесного хозяйства — зверюшек считаю, чтобы потом ученые определили, сколько их еще в тайге в среднем осталось до полного истребления. Это я сейчас. А раньше я имел переменные факты биографии. В частности, по договору с хозяйством охотничал в Эвенкии, а также 1 год 7 месяцев, если не считать предварительного заключения, отбывал по недоразумению примерно в таких же местах, что и охотничал.

Всякое в жизни бывает.

А это «всякое» заключалось в том, что когда мы с Касымом прилетели в город К. и пошли ночевать к его сеструхе на станцию Е., то мы не знали, дома она или нет. И абалаковские наши рюкзаки затащили в подъезд, чтобы наверх не переть и чтоб шпана не свистнула. Затащили, а сами поднялись в ихнюю квартиру, но сеструхи не было дома, а когда мы спустились обратно вниз, то там уже стоит сотрудник и нежно нас спрашивает:

— Скажите, это не ваши вещи?

— А то чьи ж еще? — отвечаем. А у самих хоть очко и играет, как говорится, да и ничего, думаем, выкрутимся.

— Развяжите, пожалуйста, ваши рюкзаки,— ласково говорит этот гражданин, показывая нам красную книжечку.

— Ну и что, что книжка! На каком основании? — запрыгали мы, как бобики. Но было поздно.

Потому что он тогда лишь мигнул, и нас оперативники под обе руки и сволокли в желтую машину. Привезли, полезли в рюкзаки и очень удивились.

— Вот те раз,— говорят.— Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. У вас есть разрешение, например, на этот охотничий нож?

— Нет,— говорим.— Мы ж из тайги.

— А на этот обрез? А на этот пистолет ТТ?

— Нету,— говорим.— Мы ж из тайги.

— Ну, скоро, видать, мы ее опять вам подарим,— сулятся они.

И как в воду глядели. Потому что как тряхнули капитально наши «абалаковские», так у них на линолеуме и вышла чистая осыпающаяся горка — по колено неклейменых собольих шкурок.

Ну и что? Встать! Суд идет! А нам главное обидно — ведь вовсе и не мы им были нужны. Там внизу у кого-то квартиру обчистили, а они искали. Вот и искали бы кого надо, а мы-то здесь при чем?

Да ладно! Что там вспоминать! Отсидели с Касымом и вышли «по половинке». Подельник сразу на Чукотку подался. Ну его, говорит, начисто, этот город К., коли тут счастья нету.

А я-то приторчал тут, я-то приторчал, я-то капитально приторчал.

Видите ли, эта касымовская сеструха Танька (она у них от другого была отца, от русского), эта белая круглая добрая Танька, она мне не только в лагерь все очень хорошее писала, но шли мне даже от нее некоторые очень жирненькие посылки, даром что студентка пединститута. И вот как-то так мы с ней хорошо встретились, когда

я вышел, что там я с ней и остался на станции Е., где она комнату у старухи снимала.

А только как остался? Я остался, конечно, побыл, а потом мне же опять надо. Я всегда пою: «Двенадцать месяцев тайга, остальное — город». Я без тайги не могу. Мне без тайги душно. Я тут тогда сразу в этот лесной институт поступил. Ничего, взяли, плевать им на судимость — путние мужики везде нужны. Ну и я тогда опять с ходу в тайгу. И чего там только со мной не случалось! И доходил в Саянах, когда академика Федотова выводил в районе Джойского тасхыла, и с мишенькой мы один на один встречались, да только я не о том.

А я о том, что Танька ко мне странно прикрепилась и каждый раз меня назад ждала. И как я в городе, так — господи! — счастливее ее нету. Она не то чтоб ко мне лезет и ластится, а просто так это... вожмется в меня и бормочет там что-то это: «Маля мой приехал, хорошенький...» — и это... тычется в меня губами, прямо там, на аэродроме. А мне и неловко как-то, а с другой стороны — ух как это! Даже и не понять. «Да ведь и я тебя люблю, что ли?» — думаю.

Короче, в один мой приезд мы с ней взяли да и расписались. Денежки-то у меня были. Денежки у меня всегда есть. Дедушка Денежкин меня ребята звали. Но она, честное слово, ясно, конечно, что не из-за этого. На кой хрен тогда, спрашивается, ей было мне такие письма в лагерь слать, если из-за этого? Так что я как тогда считал, так и сейчас твердо думаю, что тут самая настоящая была и есть любовь. И ничто иное.

Ну и мы, значит, расписались. И я купил двухкомнатный кооператив, чтоб она наконец от той самой тети Фени съехала и принялась выстилать наше семейное гнездо.

Все как у людей. Финский гарнитур мы достали: лежаночки, оттоманочки, полированный стол, зеркало в полстены и вся прочая подобная дребедень. А только у меня

ведь работа такая, чтобы я был в тайге. А пуще того и самому охота. Знаю ведь, что и Таньку люблю и не совру, что мне приятно запустить в ванну шампуня, чтоб в этой пене плескаться, а только как мне все ж покойно, как хорошо, когда я разведу меж камней маленький костерок, и котелок булькает, и нету никого кругом на много верст — хоть кричи, хоть пали: никого не дозовешься.

Я ведь и Витеньку тут совершенно не виню. Витенька тут совершенно ни при чем. Я вот иногда думаю, что, может, Танька «при чем»? Так с другой стороны и ее винить не за что. Она меня как тогда любила, так и сейчас любит. Это и она мне говорила, да я и сам вижу.

Ну а все же в подобных райских условиях она сначала растерялась, а потом, грубо говоря, стала немножко хвост подымать.

Раньше, когда и квартиры не было и вообще ничего не было, то раньше — нету ничего, да и ладно. Штампа с загса нету, так и то этим меня не щучила. Обнимет, бывало, шепчет:

— Мой!

— А то чей же?..— шепчу в ответ.

Ну а тут она... Тут я не знаю — бабу, конечно, тоже нужно понять. Но мне сейчас вот кажется, что тогда она крепко себе в голову заколотила, что это я во всем виноват. Когда у ней это... ну, в общем, ребенок должен был у нас родиться, а она выкинула раньше времени. И потом в больнице месяц отлеживалась, и ни одна из ее тридцати телеграмм до меня не достигла, потому что кой черт в тайге телеграф? А на базу я вышел ровнехонько вот через этот самый проклятый месяц.

Так что я ее не виню. А Витенька — мы с ним случайно познакомились, когда я с ходу эти тридцать телеграмм прочитал и тут же — попутным вертолетом в город. Аж трясло всего, пока летел. А встретились — и вижу, что и она хоть и подрагивает еще маленько, а уже тоже вроде как отошла. Это я сейчас понимаю, что вот именно

тогда-то она и поломалась, а в тот раз считал, что уже отошла она от всех этих страшных дел. Встретила она меня ласково, нежно, всплакнула, конечно, чуток, а потом мы с ней пошли в кабак.

Ну и там-то мы с ним и познакомились, с Витенькой. Я ведь как был с дороги — бородища, зарос, обмылся только. И Танька — такая беленькая, хрупенькая стала. Он к нам извинился, подсел, она его узнала, что художник, и он сразу же напросился писать с нас картину на тему «Молодые сибиряки осваивают богатство Сибири». Чтоб мы стояли на крутой скале, а кругом чтоб была дремучая тайга, но ее чтоб прореживала длинная линия серебристой ЛЭП-500. Для выставки.

Я сначала хотел его послать куда подальше, но потом вижу, что и Танька этим делом довольная, и парень вроде компанейский, культурный, хороший парнишка. Да и мне, признаться, любопытно стало, что это будет за такая картина.

Ну, мы на скалу, конечно, не полезли, а на следующий день пришли к нему в мастерскую Дома художника, там обнялись на полтора часа, а он нас и зарисовал. Потом гульнули крепко прямо в той же мастерской. Там еще парни были, и они очень много интересного рассказывали о художниках, живописцах и писателях. И меня теребили, чтоб я им чего побольше заплел про тайгу, сравнивали меня с этим самым Хемингуэем и еще другим американцем, который много лет жил в какой-то там американской хижине около ручья. Таньке очень нравилось, что я им понравился. И она мне говорила, что очень она в результате этой пьянки обогатилась в культурном отношении.

Вот так мы и задружили. Скоро и правда — выставка открылась и там был наш с Танькой портрет у скалы. Я его хотел у Витеньки купить, но он сказал, что сейчас никак нельзя, потому что его отправляют на Зону. Я на эту з о н у рассмеялся, Витенька удивился, но когда я ему

рассказал, о чем смеюсь, то он тоже хохотал и обещал, что когда наш портрет с той зональной выставки возвратится, то он его нам бесплатно подарит.

Ну и шло время, шло, и как-то раз на днях, когда я опять вышел из тайги, напросился Витенька посмотреть у меня этот самый скорострельный карабинчик. У меня тут с ходу мелькнуло, что, может, он хочет баш на баш: он мне портрет, я ему карабинчик? Ладно, посмотрим, думаю, потому что я опять был радостный. Ну, взяли мы, что нужно, да и двинули к нам. Я Таньке лишь перед этим позвонил, чтобы на стол собрала. И она шикарно все сообразила — хариуса малосольного поставила, икры, того-сего.

Ну и пьем, беседуя. О том о сем. Наконец и до карабинчика дело дошло. Я полез на антресолю, и спрыгнул я, и гляжу я в зеркало — и глазам своим не верю.

И что я в этом самом зеркале вижу?

А я там ничего особенного не вижу.

А я только это вижу, что они это так *напряглись и стараются друг на друга не смотреть!*

Эх, мужики! Ну что тут в таком случае можно подумать? Это я вас, мужики, спрашиваю? Что? Что еще надо для доказательства? И как бы это меня ожгнуло всего, и как бы это все мои глаза сразу на ихний бардак открылися! И как только я понял, что все теперь *знаю*, так я и стал сразу ну вот совершенно, ну вот совершенно спокоен, стоя к ним спиной. И, стоя к ним спиной, я поднял верный карабинчик да и пальнул прямо в зеркало.

Что дальше — сами должны понимать.

Грохот. Зеркало вдребезги. Пуля срикошетила и жмакнула в окошко прямо перед самым ихним опешившим носом. Соседи в стенку замолотили.

— Ах ты господи,— говорю.— Вот же незадача.

И обернулся. И карабинчик в руках держу и вижу, что они оба очень бледненькие. Витенька улыбнуться

хочет, да немножко губки у него трясутся. Танька вообще как смерть — кровинки нет в лице.

А я-то думаю: «Вот теперь — полный порядок. Главное, что я теперь знаю, и она знает, что я знаю, и он знает, что она знает, что я знаю. И все всё знают! И мне теперь поэтому не стыдно, потому что я знаю все! А так мне как стыдно-то было бы! Да меня просто корежит от стыда, что я мог бы не знать. Какой бы я тогда был слабый!

— Ты что, окосел, что ли, паразит! — взвизгнула наконец Танька.

— Ага, совсем я бухой,— согласился я, не шатаясь.

— Ну, я тогда пошел,— сказал Витенька, не глядя мне в глаза.

— Иди, иди, сынок,— сказал я.

Он в ответ эдак плечиком поддернул, и я закрыл за ним дверь.

— Господи боже ты мой,— говорит Танька, но тоже мне в глаза не смотрит.— Да ты что?

А я ей:

— Не боись ты, Танька, не боись. Что-нибудь придумаем. Главное, что я теперь знаю. А уж если я знаю, то обязательно что-нибудь придумаем. Я тебя больше в обиду не дам.

— Да что ты знаешь-то? — вскинула на меня глаза Танька.

— Ладно. Что знаю, то — мое. А зеркало мы с тобой новое купим, и снова наша жизнь потечет прекрасная...

— Да уж, зеркало-то придется покупать,— усмехнулась Танька.

И медленно закурила сигарету «ВТ» из красивой пачки.

— Витенька оставил?

— Витенька.

— Дай выкину в окошко.

— Кидай, мне не жалко,— сказала она.

ГОРБУН НИКИШКА

А расскажу я вам лучше короткую историю любви горбуна Никишки, который служил продавцом в кондитерском магазине «Лакомка» и некоторое время жил в нашем дворе на улице Засухина близ Покровской церкви. Во флигеле, увитом плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

Как продавец Никишка был уникальным явлением не только в нашем городе, но, пожалуй, и далеко за его пределами. Вежливость Никишки не имела границ.

Подходит, например, к его прилавку полоумная старуха Марья Египетовна, а он ей и говорит, лишь слегка возвышаясь над витриной в своем белом халате и туго накрахмаленной продавцовской шапке синеватой белизны, он ей и поет, сверкая жемчужной улыбкой чистых мелких зубов большого рта:

— Добрый день, уважаемая, рады снова видеть вас в нашем магазине...

Старуха, выпучив слезящиеся глаза, долго смотрит на него, не зная, как оценить создавшуюся ситуацию. А он тогда сам приходит к ней на выручку:

— Могу предложить вам что-либо подходящее из нашего широкого ассортимента. Вот конфеты производства кондитерско-макаронной фабрики, «Клубника со сливками», абсолютно свеженькие, мяконькие, сам вчера за вечерним чайком ими, хе-хе-хе, баловался. Это — «Ласточка», «Пилот», «Счастливое детство». Все абсолютно свеженькое, мяконькое...

— Мине подушечек свесь на десять копеек,— говорит наконец старуха.

— П-пжалуйста, дорогая! — мигом откликается Никишка.

Взвешивает, мурлыкая модную песенку, ловко свер-

тывает кулек, машет длинной рукой и кричит вдогонку·

— Благодарим за покупку!.. Приходите к нам еще, не забывайте нас!..

На Никишку приходили смотреть.

— Это невероятно, дорогая Шура. Такое обслуживание мы с тобой имели последний раз, помнишь, тут был на углу красный купец Ерофеев в двадцать пятом году...

И какая-то старуха все тыкала и тыкала сухим пальцем в облезлую шубу собеседницы. И Шура соглашалась, что — действительно. Действительно приходили они к Ерофееву в юнгштурмовках и холщовых блузах, «кушали», отставив мизинчик, его мелкобуржуазный кофий и даже слегка еретически горевали, когда прикрылось наконец его частное заведение в связи с изменением общей экономической обстановки в стране...

Но были у него и враги.

— Сволочь! — с отвращением глядя на продавца, резюмировал свои впечатления сантехник Епрев, нетрезвый мужчина чалдонской культуры.— Сволочь, иначе не может, что ли, чем так выстеливаться?

— Нет, почему?.. Все-таки определенная вежливость, Сережа. Со старух-то ему какой материальный навар? — возражал Епреву его вечный оппонент и собутыльник Володя Шенопин.

— А зачем он тогда весь в кольцах золотых?! — истерично вскрикивал Епрев.

— А может, у него выпало в жизни наследство какое?.. Вот у меня был же ведь такой случай...

И Шенопин начинал длинно врать про какое-то письмо из Франции, найденную им в дровяном сарае серебряную ложку с вензелем «В.Ш»., таинственную встречу на станции «Библиотека Ленина» Московского метрополитена. Концы с концами не сходились, Епрев морщился, а вскоре приятели и вообще покидали заведение, потому что Никишка уже кричал им тоненьким голосом:

— Товарищи! Товарищи! Давайте все-таки не будем распивать в местах, которые не для этого созданы. А то ведь можно и с милицией довольно близко познакомиться.

— Это он, гад, вежливостью свою натуру компенсирует,— говорил тогда образованный Шенопин, и приятели уходили на берег Енисея, где напивались окончательно и плакали вдвоем, жалея бедную речную воду, быстро и безвозвратно текущую в холодный Ледовитый океан, жалея Никишку, жалея себя, жалея весь белый свет.

А вскоре он появился и у нас во дворе, потому что в него влюбилась продавщица Ляля Большуха и он переехал к ней жить, в ее флигелек, весь увитый плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

Эта Ляля Большуха была знаменита по городу тем, что являлась одной из главных героинь исторического фельетона «Плесень», который возвестил миру о появлении в нашем городе первых стиляг. Была она в то время приезжая девица броской южной красоты, но красота ее быстро потускнела — может быть, от невоздержанной жизни, может быть, от сибирского климата, а может, и вообще просто поблекла красота, и все тут. Так что к моменту знакомства с одиноким Никишкой она представляла собой довольно еще сохранившую все формы, но суховатую, птичьего облика, ярко накрашенную тридцатилетнюю даму. С серьгами и тоже всю, кстати, как и ее избранник, в золоте.

Предыстория их любви не известна никому. Ляля скоро уехала в Норильск, а Никишка при всей его словоохотливости никогда на эту тему не распространялся. Если его о чем-то подобном спрашивали, то он либо молчал, презрительно оттопырив нижнюю губу, либо откровенно смеялся вопрошающему в лицо, отчего тот терялся и умолкал.

Но я все же один раз слышал вечерний, на лавочке близ этого флигелька, увитого плющом, невидимый раз-

говор Ляльки Большухи с ее закадычной подругой, известной в городе по кличке Светка Халда, тоже героине упомянутого фельетона.

— Послушай, вот ты скажи, только честно скажи, тебе не стыдно с ним? А?

— А я тебе скажу, что совершенно мне на это... (тут Лялька произнесла грубое слово), что стыдно мне или не стыдно. Он — такой, он, я тебе скажу, что — мне... мне, ты мне не поверишь, а мне, честное слово, никого больше не надо. И потом — с ним знаешь как интересно? Он мне всякие научные истории рассказывает... Да он мне прикажет, я ему буду ноги целовать, я тебе натурально говорю. Ты-то ведь меня знаешь?

Подруга коротко хихикнула.

А у Никишки была машина, маленький, первого выпуска, латаный-перелатаный «Москвич». Епрев с Шенопиным однажды строго допрашивали продавца на предмет выяснения происхождения его личного транспорта.

— Вы, разумеется, слышали куплеты певцов по радио, Шурова и Рыкунина,— прищурившись сказал Шенопин.

А Епрев исполнил:

Скромный завмаг приобрел неожиданно
Дачу, гараж, две машины и сад.
Где это видано, где это слыхано,
Если зарплата пятьсот пятьдесят.

— Старые тут деньги имеются в виду,— уточнил Шенопин.

— Вы, я вижу, ребята, комсомольцы-добровольцы? — оскалился Никишка.

— Какое еще добровольцы? — опешили приятели.

Но Никишка не стал ничего объяснять. Он сказал:

— Наука говорит о том, что был такой француз

Телейран Шарль Морис и он тоже обладал кое-какими физическими недостатками, что не мешало ему быть весьма ловким дипломатом, как об этом написано в энциклопедии...

— Нет, мы вовсе не об этом, что физические недостатки,— запротестовали друзья. Но Никишка сел в свою латаную машину и куда-то важно укатил, по каким-то своим частным делам.

А потом была ночь. Мы сидели на лавочке и почти все слышали.

— Я уйду от тебя! — взвизгнула Лялька.— Ты меня обманул!..

— Ну это, во-первых, еще никем не доказано,— спокойно возражал Никишка.

— Я не про то, что вы там с Жирновым заворовались. Это мне на это наплевать — растрату мы покроем. Но то, что вы там с ним бардак развели, вот уж это ты — подлец, подлец ты, Никифор! — кричала Лялька.

— Тише ты! — Никишка подошел к окну.— Там, кажется, кто-то есть.

— А мне плевать, есть или нет. Урод, а туда же! По бабам!

— Урод? — недобро спросил Никишка. И мы услышали звук хлесткой пощечины.

— А-а, ты меня избивать вздумал? — завыла Большуха.

— Тише ты, не ори! — прикрикнул Никишка.

Но Большуха выбежала в одной комбинации во двор. Никишка за ней. В таком порядке они добежали до водопроводной колонки, где он ее все же изловил и возвратил, рыдающую, в дом. Подобные сцены были часты на нашей тихой улице и особого удивления не вызвали. Ну, посудачили бабы, и вообще — население Ляльку же потом и осудило, мистически приписывая ей вину за все, что случилось потом.

А случилось вот что. На следующий день мы выдумали

дразнилку, которой и встретили появившегося во дворе Никишку.

Никишка-горбун.
Большуху надул.
Никишка-шишка.
Никишка-шишка.

— Ну-у, злые дети, ведь это же нехорошо так дразнить живого человека. Чему вас в таком случае учат в школе? — почему-то совершенно не обиделся Никишка.

Наутро он потерял свой вальяжный вид. Волосы его были всклокочены, лицо опухшее, щеки небритые, глаза набрякшие. Мне кажется, что он, наверное, всю ночь не спал; плакал или пил. Кто поймет человека?

— Никишка-шишка! Никишка-шишка! — кричали мы.

Никишка лениво погрозил нам кулаком и вдруг неожиданно рассмеялся.

— Злые дети,— сказал он.— Вы себя плохо ведете, злые дети. Но я на вас не сержусь. Я вас сегодня покатаю на машине.

— Ура! — закричали мы и полезли в его драндулет.

Мы ехали за город, мы уехали далеко. Далеко позади остался наш двор, наш город с проспектом Мира и магазином «Лакомка», где на двери белела бумажка «Учет», Покровскую церковь обогнули, кладбище мы проехали, свалку, старый аэродром, березовую рощу, и выехали мы в открытую степь, в чистое сибирское поле.

Ах, как хорошо было в поле! Я и сейчас помню! Было жарко. Высоко стояло солнце. Жаркий ветер, пахну́в, приносил дыхание сосен, луга, нагретой травы. Стрекотали кузнечики, летали маленькие мушки. Хохоча, мы катались по траве, тузили друг друга, прыгали, кувыркались. Никишка, улыбаясь, следил за нами. Бросил в кого-то репейником, веселья ради прокукарекал, кувыркнулся и замер, глядя в синее небо.

Сорвал ромашку, растер ее тонкими пальцами.

— Ах, как хорошо,— сказал он.

А потом быстро поднялся и пошел к машине. Мы и опомниться не успели, как он сел за руль и укатил.

Мы сначала думали, что это он шутит и скоро вернется. Но время шло, а Никишки все не было и не было.

— Сволочь, правильно папка говорит, что он — сволочь! — выругался сын Епрева, Витька.

— Нарочно завез,— догадалась Любка-Рысь.

— А-а, как мы домой пойдем? — захныкал Володька Тихонов.

— Ну мы ему устроим, козлу, хорошую жизнь,— сказал хулиган Гера, главарь нашей компании.

И всю обратную пешую дорогу мы строили самые разнообразные планы мести этому проклятому обманщику.

Ну а когда пыльные, измученные, злые наконец появились мы на нашей тихой улице, то выяснилось, что горбун Никишка час назад врезался в двадцатипятитонный самосвал и умер на Енисейском тракте, не приходя в сознание. Лялька билась в истерике. Женщины отпаивали ее валерьянкой.

На панихиду и вынос тела собралось немало народу. Хмурые торговые работники. Множество старух. Старухи плакали и крестились. Плакали две или три красивые женщины, злобно глядевшие на Большуху. Епрев с Шенопиным после поминок беспробудно пили неделю. Ляля Большуха скоро завербовалась на Север. И опустел флигелек, весь увитый плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

ЩИГЛЯ

Собралась тут веселая компания на даче. Отмечать именины, что ли? Или просто так. Доктор Сережа, влюбленный офицер Потапов и один, который писателем себя называл, а сам сторожем работал, да хозяйка дома, разведенная красавица Наташа. Вот и вся компания веселая, собравшаяся на даче в летний день на свежем воздухе, под солнцем.

Ели картошку с тушенкой, огурцы, помидоры, колбасу. Беседовали. Тихо так было, хорошо.

И даже девочка не мешала. Маленькая девочка, деточка, дочка Наташи. Звали ее Оленька. И была Оленька в аккуратном платьице синеньком, и с карими глазками, и в пионерском галстучке. Она с гостями, конечно, не сидела. То есть она сначала посидела, скушала свое, выпила газировочки, а потом и закопошилась где-то там далеко, где куклы, домики, тряпочки, лоскуточки.

— Да! Я не отрицаю. Много, много, конечно, у нас бардака, но я надеюсь, я уверен, что рано или поздно все образуется,— сказал офицер Потапов.

Доктор молчал. Красивое лицо его осунулось. Он серый хлебный шарик мял мытыми пальцами. Поблескивал массивный золотой перстень.

Доктор молчал, а писатель ухмыльнулся:

— Во-во! Я тоже так говорил, когда в плагиаторах ходил. В районной газете. Помнишь, Серж, как тогда на меня напали, что я — плагиатор. А я в ответ, что если я и плагиатор, то плагиатор лишь современного газетного языка. Потому как то, что пишется нынче в статьях, в том числе и моих, халтурных,— есть ходульный набор бессмысленных фраз. Помнишь, Серж, а?

Но Серж опять молчал. Зато вступила в разговор Наташа:

— Понимаешь, в твоих словах есть, конечно, что-то

такое... верное. Я понимаю. Ты имеешь право. Твоя судьба... и прочее. Но ведь нужно же во что-то верить? Не все же так мрачно вокруг, как ты изображаешь? Вот ты смотри — какие иногда статьи «Литературка» печатает!

— Критикуют вплоть до министра,— поддержал офицер, преданно глядя на Наташу.

— Эх, Наташка! Глупая ты все-таки, Наташка,— сказал писатель.— Впрочем, пардон,— спохватился он.— Пардон, мадам, целую ручки.

И опять ухмыльнулся, обнажив желтые стесанные зубы. Но — устал, сгорбился, затих.

И все что-то замолчали. Жужжали жуки, оса ползла по белой скатерти, на железной дороге прогудело.

— Музыку, что ли, включить? — сказала Наташа.

И тут на веранде появилась Оленька. Она делала рукой какие-то таинственные знаки.

— Играй, играй, лапушонок,— рассеянно сказала мама

— Мам! — девочка смотрела умоляюще.— Мам, можно я прочитаю про Щиглю?

— Ну уж это по части дяди Толи,— улыбнулась мама.— Это он ведь у нас... писатель,— тонко добавила мама.

— Мам, ну можно? Дядя Толя, можно? Дядя Сережа, можно?

— Можно, можно,— великодушно согласилась мама, и все устроились поудобнее.

Девочка отставила ножку, сделала ручки по швам и звонко продекламировала:

— Стихотворение «Щигля». Посвящается Карлсону, который живет на крыше.

— ...сексуальной жизнью,— еле слышно пробормотал писатель, но на него посмотрели строго.

Мы почистим Щигле клетку.
Будет Щигля очень рад.

И постелим там салфетку
Для его нежнейших лап.

Щигля — добрый, Щигля — смелый.
Щигля — первый друг ребят.
«Щигля — милый и умелый»,—
Все ребята говорят.

Припев:

Щигля ты наш детский,
Детский наш, советский.
Катин ты и Олин —
Первый друг ребят.
Щигля наш любимый,
Щигля наш хороший,
Щиглю все увидеть,
Все хотят.

Всё! — сказала девочка.

И хотела убежать, но ее остановил обрушившийся шквал аплодисментов.

— Ну, ты даешь, мать! Даешь, старая! — хохотал писатель.— Ну, даешь! — растрогался он.— И самое главное — Щигля-то, он у нас, оказывается, советский! Верно? Да? Олька, да?

— Действительно, очень интересно,— искренне сказал офицер.— Это прямо творчество. Вы, Наташа, отдайте ее в какой-нибудь кружок. Обязательно отдайте!

— И так уж вся избегалась,— сурово отвечала польщенная Наташа.— И в балетный ходит, и на испанский язык записалась.

— И самое главное — советский! Верно? Да? Олька, да? — не отставал писатель.— А только вдруг он не советский, а немецкий? А? Олька, а?

— Нет, советский! — Глаза девочки налились слезами.— Он — хороший. А ты — дурак! А вы — плохие! — крикнула девочка, вырвалась и убежала.

— Совершенно от рук обилась,— покраснела Наташа.

— Ничего. Это — временное. Она же растет,— убеждал офицер.

— Отцы и дети. Акселерация. С печалью я гляжу на наше поколенье...— веселился писатель.

— Да перестаньте же вы паясничать! — разгневался офицер.

А доктор все молчал. И тут, как это бывает порой, вдруг тучи налетели, молния разорвалась, загрохотало и хлынул тугой ливень.

Ливень обрушился внезапно, ливень бил точно. Гнулись кусты.

— Быстро! У кого что под рукой — хватайте! — приказала Наташа и ринулась в дом.

Шумные, вымокшие, все внезапно оказались в доме, где на стенке тихо тикали ходики, кот вытянулся в плюшевом кресле и было тихо, спокойно — высохшие цветы стояли в хрустальной вазочке.

— Это называется — божье знаменье.— Писатель отряхивал воду с длинных кудрей.

— А что вы не стрижетесь? — спросил офицер.— Под хиппи работаете, что ли? Зарос весь волосами, понимаешь, а считает себя интеллигентным человеком.

— Зря стараешься,— писатель смотрел весело.— Зря стараешься. Ни ты, ни я ей не нужны.

— Это в каком смысле? — насторожился офицер.

— А впрочем, может быть, и не зря. Такие, как ты, то есть «вы», вы — всегда победители. Понял? Не понял? А давай-ка лучше выпьем, брат, что ли? Эх, загулял, загулял, загулял!..

Офицер побагровел, но выпил.

— Оленька! Оленька! — кричала в это время Наташа, бродя по комнатам и скрипя половицами.— Куда ты спряталась, чертовка?!

И наткнулась на доктора. Доктор прижался лбом к оконному стеклу. И дышал на стекло. Снаружи стекали мутные дождевые струи.

— Сережа, что с тобой? — прошептала Наташа.

Доктор молчал.

— Сережа, ну что, что с тобой? — крикнула Наташа.

— Отстань, надоела,— сказал Сережа, не оборачиваясь.

Наташа закурила сигарету.

— Олька такая противная стала,— пожаловалась она.— Слова ей не скажи.

И тут засияло солнце. И мокрая тьма рассеялась. Открылась дверь, и на пороге появилась маленькая сгорбленная старушка.

И что-то странное, жутковатое было во всем ее облике. Клянусь! Маленькая сгорбленная старушка с палочкой, промокшая до нитки, покрытая рогожным мешком. Поклонилась в пояс и сказала:

— Я старушка-побирушка. Подайте копеечку, добрые люди, а я вас уму-разуму научу.

И вдруг сбросила мешок, расхохоталась и кинулась к Наташе:

— Мам, а здорово я вас разыграла? Ну мам, ну мам, правда, здорово? Ведь, правда, здорово?

Потом Наташа много плакала, а офицер велел растереть девочку махровым полотенцем и научил как, а писатель все глотал и глотал водку, а доктор все молчал и молчал.

И было еще довольно светло.

КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве постояльца, платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.

Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих квадратных метров собственной или какой другой площади. Их гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать с места на место, меняя род занятий и деятельности. Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.

Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал, варил и паял. Точил.

Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь за незначительные послевоенные преступления, а в 1953 году его амнистировали.

В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили тыщи. Бродили, ели, спали на чердаках и в подвалах. И через этих бывших ЗК жизнь горожан во многом усложнилась. Редко мирный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что все знали — однажды одна дама вышла, на пять минут в 9 часов вечера, а навстречу ей шли люди в телогрейках, которые сняли с нее всю верхнюю одежду и часы. А было это в Таракановке около мясокомбината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там светло от фонарей и стоят какие-то еще люди. Она к ним: «Граждане! — кричит.— Меня раздели! Ой! Вон! Вон они побежали. Я их запомнила».

«Ты их запомнила?» — спрашивают.

«Видела! Видела! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку».

«И как увидишь, то узнаешь?»

«Узнаю, узнаю! Как не узать»,— отвечала женщина, не чуя беды.

И тут ее мазанули перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета крови, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавленная женщина ощупью выбралась на проспект Мира, упала и там ее кое-кто якобы и видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда «Черная кошка». Сибирь-53.

Или еще рассказывали — поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собрали кровь в колбы.

— Зачем?

— А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги.

— Что за чушь!

— Вот тебе и «чушь». Говорят тебе, что поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересовался и не участвовал. Боже мой! Да он наоборот, он если бы услышал или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично вызвал милицию.

Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николая Ефимыча, он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невиновен. Не знаю. Не знаю. Вина — это такое скользкое и неясное моему уму понятие, что я по вопросу виновности или невиновности Николая Ефимовича никак высказаться не могу, так как не понимаю и не располагаю. Важно то, что после амнистии он стал очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производство, желая приложить к нему свои золотые руки.

И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу Демьян.

Сама она была глухая, то есть слышала лишь немно-

гое и произносимое громким голосом прямо ей в ухо.

Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все — и громким голосом произносимое, и тихим тоже.

Это сокрытие как-то веселило Николая Ефимыча. Он ее в шутку ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все шло как по маслу: Николай Ефимыч ее ругает, а Демьян не слышит, беседует о том о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он ее матом.

А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдохновения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Я вижу их, даже по прошествии стольких лет, чрезвычайно четко.

Он — среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная, серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили — кирзовые сапоги, телогрейка. а брюки чтоб заправлены в сапоги, так и Николай Ефимыч. А когда стали с 1955 года продавать брюки-дудочки, и многие их купили, то и Николай Ефимович приобрел. Обыкновенная одежда — неприметная, серая. Обыкновенный человек — серый, неприметный.

И про Демьяна тоже можно сказать очень просто, что она поскольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке, и не верила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом, выдумкой газет и журналов.

Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы, платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отношение к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кирзовые сапоги 35-го размера. Я в то время носил сапоги 35-го размера и ходил во второй класс начальной школы имени Сурикова.

Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как

жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство размером 2 на 3 равняется 6 кв. м. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь.

А жили они недружно. Видимо, потому, что их обижали имеющиеся друг у друга различные скверные привычки.

Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпирая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовать со всеми, кто соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все заработанные деньги.

Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то варевом, которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправлялось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда-то аккуратно, но плохого качества.

Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовления Демьяном семейной пищи.

Ясно, что это обижало Николая Ефимыча.

Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под патефон, выпив водочки: задирая ноги и показывая краешки сиреневых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того, его брала досада, что жена через ларек имеет левые деньги и прячет их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что их, левых, будто бы совсем и нет.

— Такой бы змее еще одну реформу сорок седьмого года,— бормотал Николай Ефимыч. Не понимая, что сберкнижка гарантирует все реформы. И деньги Елены, если они у ней есть, не пропадут никогда.

Так они и жили. И временами в отношениях между супругами наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.

На новый, 1956 год Николай Ефимыч говорит:

— Демьян, давай сварим курухана.

А она не слышит.

— Курухана свариймо?! — кричит Николай Ефимыч.

Не слышит.

— Петуха мне свари, падла! Пожрем хоть на Новый год! — орет он ей в ухо.

А она хоть бы хны.

Помолчала, а потом и заявляет:

— Не дам. Будет новый год, и в новом году надо кушать.

От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.

А разговор происходил на кухне. Прыткая и маленькая Демьян проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трахнула им Николая Ефимыча по голове.

Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обстановку и орал. Он тыкался по углам и пинал стены.

— Ох, убью! — рычал Николай Ефимыч.

Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой в подполье. На крышку подполья надвинули для видимости комод. Новый, 1956 год Демьян встретила среди картошки и бочек с капустой.

А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя, что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.

Физиономию ему укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за ряженого.

Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколько же, спрашивается, можно там сидеть? Но — сидела. И дождалась она 2 января 1956 года, когда Николай Ефимыч отправился на работу. И решила она, черт с ним, сварить петуха. В свой ларек она не пошла.

А у них был петух. Вернее, у них сначала были курица и петух. Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята вырастут, станут нести яйца. И Демьян будет полной владелицей куриных яиц. Захочет —

съест. Захочет — продает на колхозном рынке как излишки.

Хорошо она прикинула. А ничего, к сожалению, не сладилось. Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке нахохлившись.

И кура взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно от чего. Гуляла, гуляла по курятнику, потом — лапки кверху. Подергалась, закоченела и стала синеть. Прямо удивительно, до чего быстро умерла курица!

Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому, что и сама толком не понимала: кому и зачем нужно было травить ее курицу.

И остался петух, которого Николай Ефимыч неоднократно просился съесть, но Елена не давала. Таким образом, 2 января 1956 года она все же решила сварить петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на работу, на то производство, где он трудился по металлу.

Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выколотил молотком, закалил, подправил. После этого он весь день ширкал по бывшему кольцу напильником.

— Николай Ефимыч, уж не перо ли ты себе мастеришь в рабочее время? Давай лучше крутанемся после праздничка,— говорили ему друзья-рабочие.

Но Николай Ефимыч, насупившись, ничего не отвечал и продолжал усердно ширкать напильником.

— Брось, Николай Ефимыч. Не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч, ножик этот на себя точишь,— уговаривал его один рассудительный человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту опасался, как бы кто ему не присветил по роже.

Но Николай Ефимыч с загадочной улыбкой отправил-

ся домой. Около крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.

— Век свободы не видать,— пробормотал Николай Ефимыч и шагнул в дом.

И увидел, что дома, за фанерной стеной, не воняет жареным желтым салом, что там, за фанерной стеной, очень даже чисто. За фанерной стеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли — пар петуха.

И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и окончательную победу над женой. Что, возможно, и сберкнижка будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия — это чушь и мелочь.

Хмурясь, он сел за стол и заорал:

— Демьян!

Тотчас и она, точно как из-под земли.

— Здесь. Я здесь.

Тихая и робкая Елена.

— Садись! Давай! Выпьем!

И точно сели, и точно дали. Выпили. И точно — сели, пили, ели. Выпили поллитру и стали пить вторую. И уже дело дошло до петуха. Он был вынут из кастрюли. И он был прекрасен.

Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Николаю Ефимычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.

И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать, супруги окончательно стали пьяны и завалились спать, не сняв одежд.

Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным квартирам. Демьян и Николай Ефимыч получили однокомнатную в Пятом микрорайоне.

Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Да ведь сейчас, оно, конечно, и жизнь не та: старые дома поломаны, кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванные, лоджии и горячая вода. Подполья и погреба исчезли, петухов и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и знакомых.

Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Вот так и съели петуха...

БАРАБАНЩИК И ЕГО ЖЕНА, БАРАБАНЩИЦА

Жила-была на белом свете одна тихая женщина-инвалид, и жил на белом свете вместе с нею один бойкий барабанщик из похоронного оркестра.

Эта женщина однажды проживала с мужем в городе Караганда Казахской ССР и ехала в рейсовом автобусе на работу. И тут у автобуса заглох мотор на переезде, а поезд был слишком близко.

И поезд налетел на автобус, делая кашу и железный лом. И барабанщица вылетела из автобуса.

Во время полета ей разбило голову кованым сапогом, и кости торчали наружу, после чего она что-то все стала бормотать, бормотать, бормотать, а также читала всего лишь одну книгу. А именно: Расул Гамзатов — «Горянка», где он описывает новые отношения между людьми в республике Дагестан и борьбу за их женское равноправие.

Эту книгу она купила в больничном киоске непосредственно после травмы. И никогда больше с ней не расставалась.

После несчастья многие отвернулись от женщины, и первым из них был ее родной муж.

А барабанщик всю жизнь играл на барабане. Он и на фронте бил в барабан, и после войны бил в барабан. Он сильно пил. Он пил, пил, пил и допился до того, что стал играть в похоронном оркестре, где ходил за гробами с музыкой.

И от него тогда тоже многие отвернулись.

Вот тут-то они и сошлись с женщиной, и стали жить на улице Засухина во времянке.

Зимой во времянку задувало, но ярко горела печь.

А летом у них в садике цвела черемуха, и можно было дышать. Правда, барабанщик все пил да пил, и женщина все бормотала.

А красивая была женщина — черноволосая, стройная.

А барабанщик, кроме игры на барабане, изучал вопросы прочности окружающих предметов. Он сильно сокрушался, что нет на земле прочных предметов. И что если есть вроде бы прочный предмет, то обязательно имеется предмет еще более прочный, который может разрушить первый предмет.

— Ведь если бы не это, твоя голова не была бы расшиблена кованым сапогом,— говорил он барабанщице.

И та с ним соглашалась.

Ввиду неуспешных поисков смысла прочности барабанщик пил все больше и больше. И вот однажды он в полном отчаянии замахнулся на святая святых: он забрался на барабан и стал по нему прыгать. Пробуя.

А женщина сидела на кровати.

Она тихо сидела на кровати и читала любимую книгу. Тихо тикали ходики. Деревянные стены времянки были аккуратно выбелены. В углу висел рукомойник и стояло поганое ведро. На полу лежал половичок.

А барабанщик все прыгал и прыгал, а сам был маленький и толстенький. Он прыгал-прыгал да и прорвал барабан,— свой хлеб, свое пропитание.

Он тогда очень огорчился и стал поступать нехорошо. Он стал обвинять барабанщицу в том, что она испортила ему жизнь.

— Если бы не ты, дура, я бы сейчас играл в Большом театре. Я тебя могу побить.

Тихая женщина очень испугалась. Потому что они жили долго, и он с ней никогда так не говорил. Она взяла с собой книжку и убежала на улицу.

А на улице была ночь и плохо горели фонари, так что бежать можно было лишь сильно отчаявшись.

Барабанщик понял это, и ему стало очень стыдно. Он тогда пошел к водопроводной колонке, а сам был волосатый. Он разделся, облился холодной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину.

Вывалялся весь в пуху и пошел искать барабанщицу.

Он нашел ее под завалинкой. Она дрожала от страха и смотрела в темноту из темноты.

— Ну, что ты боишься, дура? — сказал пуховый барабанщик.— Ты не бойся.

Барабанщица молчала.

— Ты не бойся, лапушка,— сказал барабанщик, который был бойкий.— Я не намазался дегтем, я не намазался медом. Я облился водой, и тебе будет легко отмыть меня. Ты хочешь меня отмыть?

— Хочу,— ответила женщина. Она вылезла из-под завалинки и забормотала: «Хочу, хочу, хочу».

И они вернулись в дом. Барабанщик обнял барабанщицу. Она нагрела воды в большом баке. Вылила воду в корыто и стала отмывать барабанщика.

А он сидел в корыте и пускал ртом мыльные пузыри, чтобы барабанщица не плакала, а смеялась.

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

У нас в слободе Весны жил один мужик по имени Васька Метус, и у него была жена.

— Ну и что? — скажете вы.— Многие живут в этой слободе, и почти у всех есть жены.

А то, что он свою жену ужасно ненавидел и хотел бы от нее избавиться.

— Ну и что! — опять скажете вы.— Многие ужасно ненавидят своих жен и хотели бы от них избавиться.

А вот то. Слушайте. Многие-то многие, а Метус при живой жене взял да и привел в дом еще одну.

Он привел ее и оставил в сенях. А сам зашел в избу.

Дома сидели его как бы существующая жена Галька и мама-старушка Метуса Макарина Савельевна, которая считала сына дураком, несмотря на то что он ее кормил, поил и одевал в ситцевые платья.

Женщины лузгали семечки.

Пело и играло радио. Тикали ходики. Мурлыкала киска, и домашние накинулись на Ваську, что тот пьяный.

— Ты где шляешься, сволочь?!

— Где? — переспросил Метус и сам ответил где.

Женщины закрутились по кухне и думали, что Васька сейчас их начнет гонять.

Но он их бить не стал, а, напротив, сел за кухонный стол, покрытый клеенкой, и сказал заплетающимся языком:

— Г-глина! Мне нужно обсудить с тобой очень важный вопрос.

— Вопрос-вопрос! Что еще за вопрос! Куды? Ложись лучше спать, Васенька, а завтра поговорим,— отвечала Галина голосом плачущим и явно приготовленным на случай Васькиных побоев.

— Сядь! Сядь, баба! — строго и величественно повторил Василий и запел:

Жду любви не вероломной,
а такой большой, огро-мнай!

Поняла?

— Нет, не поняла,— отвечала Васькина жена Галина, торговавшая продовольственным товаром в ларьке Заготскота.

— Ну так сейчас поймешь. Я тебе все объясню,— посулился Василий.

И объяснил, что Галина пускай ступает с богом к себе домой или еще куда-нибудь, куда она хочет, поскольку он ее не только не любит, не только не видит в ней своего или вообще какого-либо идеала, но даже имеет новую претендентку на ее место.

— Так что все. Хоре́. Пожили рядком, разойдемся ладком.

Васька привел неизвестно откуда взятую пословицу и думал, что все уже, что дело, так сказать, в шляпе.

Но не тут-то было.

— Ой-ой-ой! Ой, глаза бы мои на свет не глядели! — завыла Галина.— Мы ж... Мы ж... Мы ж с тобой муж и жена! Ва-асень-ка!

Крик, плач.

— Мы с тобой никогда не были муж и жена. Ты врешь. Мы с тобой подженились, так вот это точно, мы с тобой подженились, а сейчас я тебе даю развод,— пояснял Василий формальную сторону вопроса.

Пояснял, пояснял, а сам тем временем отворил дверь в сенцы, где притаилась его новая претендентка, и крикнул:

— Подь. Подь сюда!

Новая претендентка оказалась так, ничего себе, а в темноте сенок вообще выглядела некоторой даже красавицей. Галина, увидев это, завыла еще пуще, и сенная красавица вступила в дом.

Она злобно посмотрела на Галину, потом — в угол, где висела икона, а потом бухнулась в ноги Макарине Савельевне.

— Простите, мама! Простите нас. Падай, падай и ты, Василий! — забилась и зарыдала она.

Все рыдали и плакали. Даже Метус пустил слезу. Но на колени он, правда, падать не стал. Он обнял свою старую бывшую поджёнку, поцеловал ее на прощание и стал выталкивать за дверь.

Все рыдали и плакали, лишь старушка мама сохраняла полное спокойствие.

— Ты дурак,— сказала она сыну.

— Ну почему? — обиделся тот.

— Дурак. Дурак. Падай, Вася. Падай! — соглашалась новая жена, колотясь головой об пол.

Так они и зажили. Славно зажили. Только в первую ночь и проявились вышеописанные неудобства, связанные с переменами и перестановками. А потом все устроилось: Галина убралась к себе на другой конец слободы, где жили ее родители. Убралась и вскоре, по слухам, вышла замуж за солдата из стройбата, квартировавшего в их избе. Солдат обещал на ней жениться, лишь только кончится срок его действительной службы. На Метуса она при встрече подчеркнуто не смотрела.

А новые молодые Метусы зажили удивительно ладно и славно, несмотря на то что Валя, так звали претендентку, оказалась рябенькая. Она в детстве как-то болела оспой, и у нее от оспы остались рябинки на лице.

— Да при чем тут воспа,— горячо и возбужденно говорил Василий матери.— Мало ли у кого на харе черти в свайку играли.

А Макарина Савельевна в ответ на это всегда ему резонно:

— Дурак ты и есть дурак.

— Ты посмотри, какая она работница,— хвалился Васька.

А жена Валя действительно оказалась очень работящая. Она завела поросюшку и телку и очень хорошо их кормила помоями и объедками, которые приносила из столовой. Она работала в столовой. Мыла посуду.

Кормила, поила, холила, и поросенок с телкой росли, как навитаминенные.

И о Ваське успевала позаботиться, и о Макарине Савельевне. В общем, взяла дом в свои руки. Василий иногда не знал даже что и как. Что есть в доме, чего нету. И Макарина Савельевна не знала. А Валька знала.

Славно зажили. И ладно было, и хорошо, а нет-нет да Василий запоет свою прежнюю песню:

— Жду любви не вероломной, а такой большой-огромной...

— Уж ты и не пел бы так, Васенька, а то сглазишь наше счастье,— говорила жена, льстиво прижимаясь к могучей груди незаконного мужа.

— А я пою. Пою — и все,— упрямо отвечал Василий.— Пою потому, что жизнь разнообразна и может быть все. И с тобой мы оч-чень даже просто можем расстаться. Как в море корабли.

— Ну уж,— пугалась жена.

— Да. Я пою. Все может быть. И знай, что ты для меня вовсе не идеал.

И ведь действительно — он оказался прав.

Потому что в один прекрасный день приходит на двор какой-то мужик и велит отдавать поросюшку и телку, поскольку «Валентина Ивановна мине этих животинок продали через нотариуса».

И мужик стал совать всем в нос какую-то бумагу с гербовой печатью.

— А вот этого ты не видел? — Метус показал, что мог увидеть мужик, и опрометью кинулся по месту работы в столовую, а там выяснилось, что его якобы жена уже уволилась.

— И неизвестно, куда отбыла,— хохотали ее нахальные товарки.

Неизвестно. Это сначала было неизвестно. Телку и поросюшку пришлось отдать, потому что против гербовой печати не попрешь — можно поломать рога, а мужик в следующий раз привел с собой еще и милиционера. Мужик этот, кстати, оказался ничего. Он имел дом — будку путевого обходчика и решил обзавестись хозяйством. Он сказал, что, может быть, даже и понимает Метуса, но поскольку деньги заплачены, то он тут ничего не может поделать.

Так что пришлось отдать. И только потом обнаружилось мошенничество, а именно, что Валька была в сговоре с путевым обходчиком. Выяснилось, что они обо всем уже давным-давно договорились и только ждали, по-видимому, когда подрастет телка. Теперь они стали жить одним домом, в будке, а Васькина любовь таким образом кончилась и разбилась, как стеклянный шар.

И Метус, ошалев от всего этого, говорит маме:

— Вот видите, мама.

А старушка ему в ответ одно:

— Это все потому, что ты — дурак.

— Жду любви не вероломной...— запел тогда Метус и стал сажать в поле картошку, поскольку была весна. Он посадил целых десять соток картошки, да и в огороде еще чуть не полный мешок.

Кроме того, он хотел затеять судебный процесс со своей бывшей Валентиной Ивановной по случаю, что она украла у него всю скотину, но та одумалась, испугалась и сама отдала ему по сговору 125 рублей.

На эту сумму Метус купил себе мотоцикл. Мотоцикл был очень старый и весь какой-то ржавый, но обладал одним важным достоинством: сзади, для пассажира, у него имелось шикарное черное мягкое прекрасное пружинное седло от трофейного мотоцикла БМВ.

Скоро и пассажиры нашлись, потому что Метус

опять женился. Как он в этот раз женился — все равно и, пожалуй, даже и не имеет значения. Одно можно сказать, что последняя жена была ничуть не хуже, чем две первые. И не рябая, и не косая, а только чуть-чуть похожая на швабру.

Ну Метус жил себе да жил. И совершенно бесстрашно пел свое «Жду любви не вероломной».

Ну и вот. И настал август месяц, когда падает желтый лист и синеет воздух, когда перелетные птицы собираются домой, когда картошка уже окучена и нужно подумывать о том, как ее убирать и где доставать грузовик, чтобы вывезти урожай с поля.

А на грузовике ездил стройбатовский солдат по имени Рафаил, восточный человек.

Они как-то раз пришли, Рафаил и Метус, к Метусу домой и стали выпивать и договариваться.

Они пили, и жена не вмешивалась, потому что ее не было дома, а старуха молчала, потому что ей было все равно.

Они пили и договаривались, а потом Метус стал жаловаться, что мотоцикл весь ржавый и очень скрипит.

— И выхлопная труба погнутая,— огорчался он.

— Кольца, поршни, аккумулятор — все должно быть новое, а тогда — пускай! — Рафаил рубанул ладонью воздух.

Не работает машина.
Не заводится стартер,
Из кабины вылезает
Разободранный шофер,—

спел Матус.

И они еще выпили.

— Кольца, поршни, труба,— все это есть,— сказал Рафаил.

— Где? — удивился Метус.— Нигде нету.

— Э-э, бяшка! — восточный человек скривился.— У меня в городе есть земляк, а у него есть кольца, поршни, моршни, чистим, листим — у него все есть.

— Вот везет же вам,— восхитился Метус.— Везде у вашего брата земляки.

И сразу же стал хлопотать.

— Мама,— сказал он официально,— скажите моей жене, что пусть она не волнуется, а мы едем в центр за запчастями.

Мама молчала.

— Все для вас же. Стараешься, стараешься,— объяснил Василий, вытягивая из комода семейные сорок рублей.— Мы к вечеру будем.

— Мы на машине,— пояснил солдат Рафаил.

И поехали. А к вечеру не вернулись.

Не вернулись и утром.

Тогда новая молодайка старухе Макарине и говорит:

— Мама, может, их ГАИ забрала.

— Нет, доча, ГАИ их не может забрать, потому что Рафка военный человек. Их может забрать только ВАИ, а тогда Ваську бы отпустили, потому что он — штатский,— отвечала мудрая старуха.

И добавила:

— Поди забурились куда, паразиты.

И точно, забурились, да как еще. К вечеру пришел к ним солдат Рафаил. Вот именно что пришел, а не приехал. Он держал в руках гитару с пышным красным бантом и отнесся непосредственно к Макарине Савельевне, сказав:

— Все, мамаша. Не плачьте и не рыдайте, а ваш сын сидит в КПЗ и получит на полную катушку.

И рассказал ужасный случай, как опять подвела Матуса «Жду любви не вероломной».

...Они никаких запчастей, конечно, не нашли, потому что жена земляка, здоровенная бабища, сказала, что он куда-то уехал.

— Да куда же он мог поехать? Зачем ему куда ехать? — засомневались друзья.

— А я скудова знаю,— сказала бабища и не пустила их в дом.

Они тогда стали ждать и пошли в парк культуры и отдыха, где играл духовой оркестр, где читали лекции про Марс и космонавтов, а также продавали стаканами розовый портвейн.

В решетчатой беседочке, увитой плющом.

— Жду любви не вероломной,— вскоре запел Матус и тряс Рафаила за плечо, а тот открыл один глаз и пробормотал:

— А! Отстань, ара. Дай отдохну.

И положил голову на стол.

А Метус тогда вышел на симпатичную парковую дорожку, посыпанную гравием, и стал гулять, любуясь окружающей его культурой, а также отдыхом.

И вдруг — да, вот именно вдруг, а не как-нибудь — ни с того ни с сего он увидел ту, которую ждал, по-видимому, всю жизнь.

— Жду любви не вероломной,— снова запел он, приближаясь к женщине.

— Да? — хрипло спросила та, которая имела под глазом синяк, прекрасные черные волосы, серьги, накрашенные губы и папиросочку в них. Чулок у ней был спущен, а так весьма хороша собой и грациозна, как лань.— Да? — переспросила женщина и сказала.— Ты мне шаньги не крути, понял?

— Ты не лайся, я тебя люблю. Ух ты хорошая,— обнял ее Метус.

— Ишь ты! — женщина захохотала, как залаяла.— Хочется. Хочется, а у тебя шалыжки есть?

— Есть,— сказал простодушный Метус.— Вот.

И показал женщине десятку.

— О! Вот молодец! — женщина стала совсем своя и запела:

Говорит старик старухе:
«Ты купи мне рассыпухи,
А не купишь рассыпухи,
Я уйду к другой старухе»...

Э-эх, э-эх.

— А такой большой-огромной,— вторил ей Метус.

Потом они пили рассыпуху в той же беседочке, увитой плющом, где Рафик уже отдохнул и беседовал с какими-то людьми, бешено вращая кистями рук. Он поздравил Метуса, сладко чмокнул, посмотрев на даму, и выпил за их здоровье.

Потом он остался в беседочке, а они шатались по симпатичным дорожкам, обнимаясь, куря и веселя своим обликом отдыхающую молодежь.

И шло время. И упала на землю ночь, усеяв темное небо мелкой сыпью звезд, и месяц светил. Светил, светил и освещал справляемый в центре парка, в кустах, непосредственно за гипсовой статуей оленя, нехитрый праздник любви Василия Метуса и черноволосой гражданки.

Видите ли, милиционер. А ему, очевидно, донесла парковая уборщица. Милицонер помешал. Он подошел, он обнаружил влюбленных, извлек Метуса, поставил на ноги и довольно мирно посоветовал:

— Ты, мужик, лучше вали отсюда подобру-поздорову.

А гражданке сказал:

— А ты, Танька, если еще раз тут появишься, то я тебе, бичухе, остригу голову.

— А что я,— заныла Танька.

Что бы Метусу послушать опытного человека, разыскать Рафаила да и валить, валить, рвать когти.

А он взял да, как дурак, заорал на милиционера, кинулся на него, как бык, и ударил влюбленным кулаком по голове.

Милиционер засвистел, Метус еще приложился. На свистки явился Рафик и удержал Метуса от дальнейших необдуманных поступков.

Но как он ни уговаривал, как ни просил милиционера, как ни сулил ему горы золотых восточных денег, тот был непреклонен, и Метуса повезли.

— Он очень обиделся,— объяснил Рафаил.— Ну а вы, спрашивается, не обиделись бы, мамаша, если вас при исполнении служебных обязанностей шарахнули кулаком по голове за ваш же добрый совет?

Старушка заплакала и сказала:

— Я говорила, что он — дурак. Может, его хоть в дурдом посодят, а не в тюрьму?

— Не знаю. Не знаю. Сушите сухари лучше. Что же делать?

И Рафаил ушел, предварительно добавив и пошутив:

— Не плачьте, мама, а то я вам урюку не пришлю.

Так и пошел куда-то с гитарой. Про свою машину даже ничего не рассказал, куда она у него девалась.

Не плачьте, говорит, а как тут не плакать? А?

И старуха плакала. Она плакала, но уже собирала первую передачу: картошечка, огурчики, сухарики.

— Как ты думаешь, Марья, огурчики разрешат ему? — спрашивала она молодайку.

Но та окаменела. Она, как услышала, что произошло, то сначала вся покраснела, а потом окаменела и замолчала.

Она молчала несколько дней, а потом плюнула и стала со страшной силой возить для дома сено, дрова, копать картошку

Потом она съездила в город и завербовалась у вербовщика на остров Шикотан потрошить рыбу. На суд она не пошла.

— Извините, мама,— сказала она, кланяясь старухе.— Я вам буду посылать немножко, а с Васькой я жить не могу, потому что он — паразит.

— Дурак он,— сказала старуха.

К этому времени все стало известно. Был суд. И Васька получил полтора года. Но обещали, что если будет

вести себя хорошо, то могут выпустить «по половинке» или отправить «на химию».

— А то еще, гляди, и амнистия какая выйдет,— утешали люди Макарину Савельевну.

И вот теперь Васька сидит за колючкой. Жёны его — кто где. Рафаил демобилизовался и уехал.

Ваське дали полтора года, и никто не знает, что он будет делать, когда вернется. Начнет, наверное, с того, что опять подженится.

А сейчас — он никому не нужен. Так, по-видимому? Кому он нужен? Жены — нет. Рафаил уехал. Так, по-видимому?

Нет, не так.

Ибо старушка мама Макарина Савельевна молча и упорно дожидается своего дурака, которого она родила, растила, купала в корыте, где он говорил «гули-гули», нянчила, покупала ему букварь и стегала ремнем за двойки из школы.

Дожидается, надеясь на деньги с далекого острова Шикотан, на урюк и на господа бога.

Дожидается, питаясь картошкой, солеными огурцами, свеклой, капустой, грибами — словом, всем тем, за что не нужно платить ни копейки денег и что бесплатно растет у хозяев на родной земле.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

— Спаси! Спаси! Спаси, господи! Сохрани и помилуй! Поскольку офонарели кругом, заразы! Поскольку — суета, суета. Суть — тлен и разложение. Подайте на уродство, товарищ!

И нищий, сидевший на крыльце бани № 1 городского треста коммунально-бытовых предприятий, протянул коротковатую руку.

А слесарь проектного института Сибводпроект Иван Панкрат ответил ему так:

— Я тебя, харя, вот щас как не поленюсь, так и сведу куда надо. Чтоб ты не бормотал ерунду, поганая твоя рожа. Если ты — урод, то тебе пускай подаст собес. Однако мне сдается, что ты вовсе не урод и вполне можешь что-нибудь делать. Кроме того, я ясно вижу, что ты — пьяный. Эх ты, бессовестная твоя харя — харитиша!

— Ну пьяный! А ты мне, сволочь, подавал? — огрызнулась харя.

Иван задохнулся и прошел в баню, а побирушка остался сидеть и в баню не пошел.

Ни в коем случае не защищая нищего, который есть самый натуральный тунеядец и отброс общественности, я все же должен сказать, что товарищ Панкрат — довольно грубый человек: в поведении и языке. И это, пожалуй, единственный его крупный недостаток. Все остальные не выходят за пределы среднечеловеческих и вполне могут быть терпимы на данном этапе развития личности.

А вот грубость — это да. Тут Ваня крупно подкачал.

Уже будучи сердитым, он купил за 15 копеек билет и зашел в предбанник.

И не радовало его, что сейчас, сейчас скинет он

грязненькое бельецо и кожу, слегка зудящую, протрет рогожной мочалкой. А потом встанет под горячий душ и пойдет в парилку, выскочив из которой окатится ледяной водой. «Уф! Уф!» Не радовало, и он сердито глядел на шкапчики, крашенные синей масляной краской, и на тетеньку, которая их открывала. И закрывала, пытаясь предотвратить, чтобы у кого чего не слямзили.

— Ты долго будешь шляться? — поинтересовался Иван.

Но тетенька уже запирала его шмотки: нейлоновую куртку, брючки, ботинки производства красноярской фабрики «Спартак». И, по старости лет не стесняясь находиться в обществе голых другого пола, сказала:

— Если ты такой быстрый, то иди на стадион «Локомотив» и там с кем-нибудь соревнуйся бегом. А я тебе не пара.

— Ты... ты как отвечаешь посетителю? А что как я сейчас пойду к вашему директору и спрошу его: «А где, уважаемый товарищ, ваш сервис? А? А он тебя за хобот! А? Что ты тогда запоешь?

— А я запою, что в гробе я видала твой сервис, тебя и твоего директора вместе. Потому что за семьдесят рубли смотреть на твою, к примеру, задницу могу только я.

— И вовсе это не мой директор, а твой,— пробормотал Ваня.

В моечной он слегка отошел и даже замурлыкал песню.

Пена славно покрыла его тело. Он пел «не жалею, не зову, не плачу», но малый рай кончился, когда Иван пошел под душ.

Именно уже под душем выяснилось, что в бане внезапно пропала холодная вода, и выяснилась эта печаль опытным путем. Ваня шустро выскочил из-под душа.

— Гроба душу мать! Да вы... вы что? Так же запросто человека можно обшпарить!

— А ты иди в парную,— посоветовали Ване люди более опытные.— Там, когда в мойке воды холодной нету, там она может быть.

— Гроба душу! Мыло! — вопил Ваня, ворвавшись в парную.— Холодненькой! Холодненькой!

А ему замечают:

— Ты зачем же весь в мыле лезешь париться? Ты разве не знаешь, что от мыла тут будет вонь?

— Я знать тебя, змей, не знаю! Мне глаза щипет, а он хреновину тащит,— ярился Ваня в поисках крана.

Нашел. И, держа голову под облегчающей струей, ругался так страшно и ужасно, что поток его слов остановил строгий голос:

— Постыдились бы вы, молодой человек. Довольно молодой, а позволяете такие гнусные речи.

— Щас, щас. Я тебе щас отвечу,— сулился слесарь.

Но пока он промывал глаза, захлопала дверь, и по промытии глаз в парилке никого не оказалось.

Панкрат тогда вышел в моечную, но там люди сидели уныло и ждали воды. Иван тогда плюнул, наскоро ополоснулся и побежал одеваться.

Он дышал шумно, а когда подошла тетушка, приказал:

— Подай-ка мне, старая ворона, жалобную книгу. Я там распишу все ваши безобразия.

Тетушка потемнела, открыла кабинку и ушла.

— Книгу, книгу не забудь,— послал Иван вдогонку.

Тетушка не выдержала:

— Фигу — книгу.

— Как так?

— Нету книги,— дерзко отвечала тетушка.

— А где ж она?

— А кто знает? У баб в отделении... Ты иди к ним. Они тебе дадут.

Тут Ванек ослабел и заругался словами окончательно черными.

А между тем за ним уже некоторое время наблюдал какой-то человек — розовенький, толстенький, с женским лицом, бородкой и длинными волосами. Он подошел к Ивану и тронул его за плечо. Иван поднял голову.

— Нехорошо,— сказал толстенький.— Нехорошо так распускаться.

И Иван узнал голос, журивший его в парной.

— Ты еще тут будешь,— буркнул он.— Иди отседа, козел патлатый.

— Нехорошо! Нехорошо уже не только потому, что вообще нехорошо, а также и потому, что завтра — родительский день, а это у русских — праздник. Так что — нехорошо. Грешно.

Тут Ивана озарило.

— А-а! Святоша! Очень приятно! Ты че сюда приперся? У тебя ж, говорят, одна ванная десять квадратов. Ты зачем сюда пришел, опиум для народа?

— Ванная комната у меня действительно довольно вместительная,— сказал человек, в котором Иван узнал попа из Покровской церкви.— Ванная у меня вместительная,— повторил этот человек.— Но дело в том, что я люблю париться и стараюсь, когда есть свободное время, посещать общественную баню. Кроме того, не опиум для народа, а опиум народа. Так будет правильней.

— А ты откуда знаешь, как будет правильней?

— Мы этот вопрос, дорогой товарищ, изучали в семинарии.

— Дак, а вы... это... разве вам можно такое изучать в семинарии? — ошалел слесарь.

— Не только можно, но и нужно,— отвечал поп, но уже нехотя.

Очурав Ивана, он заторопился.

— Постой, постой,— придержал его Иван.— Постой, разговор есть.

— Не о чем нам с вами говорить, дорогой гражданин,— хмуро сказал поп.— А кроме того, я тороплюсь.

— Да я... щас.

И Иван, проворно натянув одежду, вышел вслед за батюшкой, который ждать все-таки не стал, а пошел своим ходом.

И в самом деле, что ему за интерес?

Но пошел он своим ходом прямо в деревянную пивнушку, притулившуюся близ бани. И там Иван его догнал. В пивнушке было людно. Толкались. Поп угощался на воздухе. Слесарь обратил внимание на тот факт, что нос попа — красен.

Добыв пару кружек, Иван уселся на завалинке, вынул сушеную щуку и сказал:

— Располагайся, батюшка. Угощайся.

— Постою,— ответил батюшка, но все же присел. И рыбкин хвостик взял.

— Вот ты мне скажи, не знаю, как тебя зовут,— задушевно начал Иван.— Скажи, какой толк вот от этой твоей религии?

— То есть как это «толк»?

— Ну вот что я, например, буду от нее иметь, если вдруг стану боговерующим?

— То есть как это «иметь»?

— Ну как иметь? Ну, вот чем мне станет лучше, если я стану боговерующим?

— Где тебе станет лучше?

— Где? Сказал бы я тебе где... Как где? Здесь.

— А тебе здесь не станет лучше.

— А где?

— Там.

И поп указал на небо.

— И тут.

Поп приложил руку к сердцу.

— Эхе-хе,— закряхтел слесарь.— Вот ты себя и обнаружил. Вранье все это! Вранье! Что там? Там наверняка ничего нету. Там — планеты. А в грудé у меня и так полный порядок. Тьфу!

Слесарь с досады плюнул и попал попу на ботинок. Поп посмотрел на ботинок и ничего не сказал.

Но и ботинок не вытер.

Беседуя, взяли пива еще. Глазки служителя культа блестели, а слесарь был уныл.

— ...впрочем, кроме этих, весьма отдаленных историй могу рассказать тебе другую, непосредственно происходившую на земле. Хочешь?

— Валяй,— отвечал задумавшийся слесарь.

— Был один человек,— торжественно начал поп.— Он жил во Владивостоке и был из командного состава торгового флота. У него было много денег и чудный дом посредине Владивостока. Моряк жил весело, в труде и праздности, а однажды он задумал уехать из родного Владивостока вдогонку за красивой женщиной, в которую он влюбился.

Тогда к нему пришли моряки из управления и сказали:

«Продай нам свой дом. Мы из него сделаем контору, где будет производиться учет. Мы тебе дадим за это много денег».

Но штурман любил свой город, а также был богат. И он сказал:

«Мне не надо никаких денег. Я дарю свой дом городу, и пускай здесь будет контора».

«Хорошо,— ответили моряки.— Вот тебе бумажка с печатью, что ты безвозмездно подарил нам свою квартиру».

И моряк взял бумажку и уехал вслед за красивой женщиной.

Прошли годы. Любовь не подтвердила его надежд. Моряк побывал в тюрьме и, будучи уже пожилых лет, оказался в городе К., где решил снова строить себе дом.

Для этого он пошел в исполком и сказал:

«Я хочу построить себе дом. Дайте мне пятьдесят тысяч ссуды, которую я потом отдам».

«А вы кто будете такой?» — поинтересовались у него.

Моряк все про себя рассказал, не утаив, что он был также и в тюрьме. Последнее не произвело благоприятного впечатления, но дело заключалось не в этом.

«Вы поймите,— мягко объяснили моряку.— Вы, конечно, подарили дом. У вас есть справка. Но мы не можем давать ссуды с бухты-барахты. Это — смешно. В крайнем случае поезжайте во Владивосток. Может быть, там для вас что-нибудь и сделают».

«Это что же получается? Что, во Владивостоке одна советская власть, а у вас другая, что ли? — обиделся моряк.— Когда было надо, я помог. Так пускай и мне сейчас немного помогут, когда я нищ и наг».

«Нет. Этого мы сделать не можем. В крайнем случае мы можем дать вам комнату где-нибудь»,— твердо ответили моряку.

«Не надо мне вашей комнаты!» — закричал моряк. И поехал он не во Владивосток, а наоборот — в Москву.

Пошел он куда надо, но и там ему ничем не могли помочь. Потому что вообще-то, если говорить честно, претензии его были довольно смехотворны, если говорить честно.

Вышел тогда моряк на площадь. Горько ему, обидно, и вдруг видит он: прямо перед носом — кресты, купола.

Эх, думает, была не была. Где наша не пропадала. Обращусь-ка я к религии. Может, она поможет?

С превеликими трудностями добрался он до важного церковного чина и напрямик изложил ему все дело, предварительно честно объяснив, что сам он — человек неверующий и прибегает лишь по крайней нужде...

«Это неважно,— сказал чин.— А дело вы сделали божеское, отдав дом под контору. Сам я ничего не решаю, но буду целиком на вашей стороне. Оставьте адрес и ждите ответ».

И моряк, оставив адрес, возвратился в город К., где стал ждать, проживая в общежитии гормолзавода.

И через определенное время его вызвали для вручения чека, по которому он получил в банке пятьдесят тысяч наличными деньгами. Вот так.

И поп, закончив, сильно выпил из кружки.

Слесарь слушал эту историю, переходя от уныния к радости и наоборот. Под конец он приободрился и при последних словах попа напал на него:

— А-а! Вон ты какие речи завел! Дескать, никто не помог, одна религия помогла. А-а! Вон ты как!.. Ну, погоди! Погоди! Ты дорассказываешься. Устроят тебе с такими историями... обедню.

— Это было во мрачные времена культа личности Сталина,— испугался поп.— И деньги старые. По-новому их было бы пять тысяч.

— А-а. Ну если старые, тогда — другое дело,— смягчился Иван.— А все-таки ты, наверное, врешь.

— Незачем мне лгать. Зачем? А тот человек жив. Он сам мне это рассказывал.

— Ну и что он, как? Живет в своем доме, что ли?

— Нет. Вот тут — плохо. Деньги не помогли ему. Покатился дальше вниз. Встречал я его уже в Норильске.

— Понял,— сказал слесарь.— Намек понял. Вот видишь, что получилось? Получилось, что те-то дело знали, когда не дали денег, а?

— Получилось, что знали.

— Вот тогда и получается, что твой рассказ ни к чему.

— Так я же ведь и не хотел, чтоб «к чему». Я просто рассказал. Без всякой задней мысли.

— Нет, уж тут ты не виляй. Не люблю! — опять распалился слесарь.— Без мысли или с мыслью, а религия твоя по новой терпит ужасное фиаско. Все! Точка! Молчок!

— Ну фиаско так фиаско,— забормотал поп.— Надоел ты мне. Я пойду.

— Посиди, че уж так сразу.— Иван почувствовал

себя виноватым.— Сиди. Можем о чем-нибудь другом поговорить. Тебе сколько лет?

— Сорок один.

— И давно этим самым занимаешься?

— С детства открыл душу Господу.

— А родители что? Тоже при церквах околачивались?

— Нет. Тут обстоит сложно. Отец у меня был красный генерал, атеист, неверующий, а мать — уборщица. После смерти отца открыла душу Господу, и меня воспитала христианином.

— Однако опять ты врешь! Как же это так? Отец — генерал, мать — уборщица. Разве так может быть?

— Все может быть.

— Как же это так? Вот у меня, например, мать тоже долгое время работала уборщицей, так и отец рубил мясо на колхозном рынке. А у тебя... Нет, тут что-то не то. Странно.

— Странно так странно. Отвяжись. Странно ему... Да и какая тебе разница? Оба они уже давно в сырой земле, царство им небесное, вечный покой.

И поп осенил себя крестным знамением.

— Мои тоже копыта откинули,— задумчиво сказал Иван.

Поп покривился.

— Ну вот, видишь ты как! Разве ж так можно? «Копыта откинули»! Ведь ты говоришь про величайшее таинство на земле. Про уход в небытие. Ты если не уважаешь уход в тот мир, так хоть уважай своих родителей.

Иван не согласился.

— Хоть и складно ты мелешь, батя, а все-таки я на твои речи плюю. Я тут чую вранье, и ничем ты меня не перешибешь и не переубедишь. И — точка. Молчок.

— Значит, ты своих родителей не уважаешь?

— Я не уважаю своих родителей? — возмутился

Иван.— Да я тебе знаешь щас что? Да я — мать, маму милую... Я тебе знаешь что?

— Ну ты! Тише, тише! Что размахался? — прикрикнул поп.

Иван сник.

— Оно конечно. Зачем понапрасну махать. Я тебе лучше расскажу.

— Вот. Рассказывать рассказывай, а рукам воли не давай.

— Да ладно. Я это так. В общем, я почти всю жизнь жил с матерью один, потому что наш отец давно умер.

— Как и я,— перебил поп.

— Что — как и ты?

— Мой отец тоже умер давно. Ну ладно, ладно. Рассказывай. Не мешаю.

— Старик умер очень давно. Он был здоровый, и у него случился удар. Я о нем почти ничего сказать не могу, поскольку тогда, по молодости лет, его еще не раскусил. А потом он сразу умер.

Но — мама, мамочка моя милая! Поскольку это было долго, я очень ее любил. Не знаю, как бы любил, если — быстро... Не знаю. Наверно бы любил. Матерей все любят.

— Постой. Не понимаю. Что — долго-быстро?

— Жизнь ее и болезнь. Она всю жизнь была как бы одна и болела.

— Чем?

— Тысяча болезней была у мамы. И одна тяжелей другой. А только какая разница — чем?

— Нет, я сравнить.

— Вот. И она болела. А я ж человек, понял. Я иной раз прихожу выпивши. И она на меня смотрела. Понял? А еще, о господи, еще иногда она меня раздражала. Это больная-то. Понял? Раздражала.

— Понимаю,— сказал поп.

— Так ведь я тоже могу не выдержать. Ведь я-то —

человек, человек. Двуногий. Понял? Бывало, не выдержишь, смотришь, как она стонет и мучается. И думаешь — скорей бы уж! Скорей! И тебе легче, и мне жить надо. А потом — стыдно. Стыдно до того, что не стыдно даже, а тошнит от стыда.

— Ну, ну,— поп тихонько погладил руку Ивана.

— А потом она умерла,— продолжал Иван.— Она перед этим два месяца лежала в больнице, и я к ней каждый день ходил.

Тут Иван замолчал, и поп долго не мог от него добиться какого-либо продолжения.

— Поди ты к дьяволу! — говорил Иван, отвернувшись.— Поди! Не хочу! Не хочу!

— А ты скажи,— уговаривал поп.— Ты скажи, и станет легче.

— Легче не станет,— говорил Иван.— Легче не станет,— говорил он, глядя на попа бешено.— Легче не станет,— слабо закончил он.— Легче не станет. А впрочем, почему бы и не рассказать? Она перед этим два месяца лежала в больнице, и я к ней каждый день ходил. Ты знаешь, что это за заведение — больница? И я знаю. Туда, где едят суп с капустой и лежат на кроватях с панцирной сеткой. Медицинское обслуживание у нас бесплатное, поэтому больные лежат в больницах бесплатно. Они там лежат. Которые — умирают, которые получают инвалидность и пенсию по ней, а некоторые, выздоровев, возвращаются в ряды активных тружеников.

Так вот, мама моя инвалидность уже имела. Причем не какую-нибудь, а инвалидность первой группы.

Иван поднял палец.

— Первой группы! Возвратиться в ряды активных тружеников ей уже не было возможности. Нулевой группы нету, поэтому оставался один путь — помереть.

И она лежала в больнице, в палате, мимо которой я сейчас часто прохожу, мимо окошек. И она не могла переворачиваться, да ей и не надо было. А когда было

надо, то тут приходила по просьбе других больных санитарка. И она ее переворачивала. И на санитарку я не в претензии. У ней больных много. Разве она за всеми успеет? Она лежала. Потом ее перевели в коридор, за ширму.

Раз вечером мне мама говорит:

— Ты бы мне, сына, купил мороженое.

Тихо так говорит. Ласково на меня смотрит.

— Об чем разговор, мама,— отвечаю.— Завтра тебе будет мороженое.

И точно — на следующий день я отработал и иду. А мороженого нигде, как на грех, нету. Всегда есть, а тут — нету. Я туда-сюда, а его нету. Я тогда догадался и иду в кинотеатр «Луч». Пустите, говорю, меня. Мне только взять мороженое. Я — в больницу.

Пустили. Я кепку в залог оставил, что не пойду бесплатно смотреть кино. В подвал спустился, взял мороженое. Иду, прихожу, а мне говорят — нету. Ее уже — нету. Понял?

— Понял, понял! Говори! — умолял поп.

— Я мороженое поставил у них там. Два стаканчика. И иду. Мне говорят, ты куда идешь, ведь ее нету. А я иду. Вижу — голая панцирная сетка, а ее — нету. Матрац полосатый скатан, а ее — нету. Авоська на подоконнике, там какие-то огрызки и консервы «Маринованные яблоки», а ее — нету. Она их не съела. Я тогда пошел, а мне говорят, вы заберите. Я ничего не говорю, а мне говорят — вы заберите оставшиеся вещи. Я их взял — авоська, костылик у ней был, а больше ничего. И пошел. Вот так. Все! Точка! Молчок!

И замолчал.

— Да-а,— сказал поп.— Да-а.

А что он еще мог сказать? Оказалось, что смог.

— Видишь ли, ну что я тебе могу сказать? Тут утешение одно, что там вы встретитесь. А земные утешения — ну что тут, какие земные,— бормотал он.

— Ага, щас, «встретимся»,— вяло отвечал Иван.— «Встретимся»... Прямо...

Наступило молчание.

— А ты что говорил, что ты как я? — спросил Иван.— Это в каком смысле?

— Чтó как и ты?

— Ну, вот ты сказал, что ты как я. Это когда я говорил, что у меня отец давно умер.

— А-а. Да нет. Не «как и ты». У меня — давно. У меня уже зарубцевалось. Отец мой был генерал... Ай, неважно! Мы с матерью от его генеральства ничего почти и не получили. Наоборот даже.

— Наоборот?

— Тебе сколько лет?

— Двадцать четыре.

— Ну так ты, наверно, ничего не помнишь. Да и я вспоминать не хочу. Одно скажу — сгорел красный генерал. Я вспоминать не хочу. Раз все забыли, то и я вспоминать не хочу. Неважно! Раз моя жизнь уже проходит, то зачем мне вспоминать? Претерпел, да и ладно. Я зла не несу. Потом говорят, что это больше не повторится...

— Что-то я тебя плохо понимаю.

Но понимать Ивану уже и не хотелось. Он сидел расслабившись, покачивая кружку. Поп нашел прутик и ковырял зе́млю.

— А только все-таки я прав,— вдруг сказал он.

— Почему? В чем?

— А в том, что вот — смотри. Есть великие праздники: Май, Новый год, Октябрьские, День шахтера, Парижская коммуна. А где же праздник про родителей? Про родителей-то он где, праздник? Про родителей, которые — суть... и оставили нас в этом мире? Где, я тебя спрашиваю?

Иван молчал.

— Такого праздника нету! — подытожил поп.

И они оба замолчали. Тут из-за угла вынырнул нищий.

— Ой-ой! Офонарели! Ой-ой! Подайте на уродство! Поскольку — суета, тлен, разложение.

Но увидев попа, осекся и хотел исчезать.

— Тимофей! — приказал поп.— Ну-ка поди сюда, Тимофей!

Тимофей подошел, клоня голову долу.

— Тимофей,— строго сказал поп.— Сколько раз тебе говорено, чтобы ты жил делами рук своих и поменьше христараднichал? Ведь ты, в сущности, здоровый мужчина. Допустим, тебе претит мысль работать на производстве. Но ведь ты можешь, допустим, плести для кладбища железные и бумажные венки?

— Батюшка! Батюшка! — зарыдал нищий.— В артель не берут, батюшка! Это — воры и подлецы! Я б сам хотел плесть венки. Это хорошо, богоугодно и выгодно. Так только они меня не берут, сироту. Тама окопалися — Валька три кости и Сидор-паук. Я у них просился взять, а они не берут.

— Хорошо, Тимоша. Ты ступай, а я попытаюсь для тебя что-нибудь сделать.

— Уж как я буду вам благодарный! Даже вы сами не знаете как, а то — офонарели...

Нищий удалился.

— Нету,— сказал Иван.— Ведь действительно нету. Нету. Такого праздника нету.

Поп сиял.

Иван встал и подошел к обрыву. Ваня стоял на горе. Была мирная весна. На огородах жгли ботву. Дым немножечко шел вверх, а солнце уходило в небо. Иван стал смотреть на город.

Прямо были разбросаны мелкие деревянные домики, тесные кварталами новостроек. Далее видел скопление народа за высоким забором колхозного рынка. Башенный кран. Дымила черными трубами старая тюрьма. Ле-

тел самолет ИЛ-18. Блестела куполами церковь. Асфальтовое шоссе лоснилось под солнцем. Проносились, рыча, тяжелые «МАЗы» и «БелАЗы».

И туда и сюда бежали, шли, ходили какие-то люди. Некоторые были высокие, некоторые — низкие. Кой-кто были пузатые, кой-кто — тощие. Одни несли сумки, другие — портфели. Многие были одеты очень хорошо, многие — не очень. Ходили, жестикулировали, разговаривали друг с другом.

— Нету,— повторил Иван.— Нету. Да. Нету.—И внезапно крикнул: — Но — будет, будет! Обязательно будет! Не может быть, чтобы не было. Это будет очень странно, если его не будет. Этот праздник будет, и будет скоро. Надо пока погодить, а потом он очень скоро будет.

Поп сиял.

— Будет, будет,— шептал Иван Панкрат, слесарь проектного института Сибводпроект, остро вглядываясь в город.— Точно вам говорю, что будет!

А поп все равно сиял.

ГРИБЫ

Я проснулся и не слишком рано и не слишком поздно. Немного полежал, глядя в потолок. Оделся, побрился и вышел.

Солнечно было на улице. Воскресенье. Всходила жара. Ломались тени. Высыхал асфальт.

Мрачный человек в полосатом, как тигр, пиджаке, но грязном, сидел у подножия гастронома № 50, имея что-то перед собой. Мне бы его обойти, однако проклятая способность неизбежно встречаться с людьми взглядом опять мне помешала.

Я смотрел на мужика, думая о своем, а мужик мне и говорит:

— Самолет разбился в доску — одолжите папироску.

После чего я и вынужден был предложить ему сигарету «Ростов-Дон» из твердой коробочки.

— Курить в Сибири «Ростов-Дон», хоть пускай и козырные? Ну, ты даешь, братка! — заверещал полосатый, но не пояснил, что означают его странные слова.

— Не хочешь, так свои кури,— сказал я.

— Своих пока нету,— объяснил человек и представился: — Страдаев Петр, рабочий.

После чего и рассказал мне всю свою жизнь, состоящую из детства, ФЗУ, Советской Армии, завода резинотехнических изделий и грибов.

— Я встаю рано! На зорьке! — возбужденно кося глазом, кричал явно повеселевший Страдаев.— Сажусь в электричку — и с ходу в росный лес. Понял? Сосновые иголки щекотят мне кожу. Я становлюсь на колени, радвигаю мокрую траву. И там — о чудо! — еще мокрый гриб! Белый, с коричневой слизью. Прекрасный, братка, продуктик, который я с ходу ножом режу и с ходу ло́жу в козырное ведро.

Слушать его было приятно и не утомительно. Слова

его были легки и большей частью от меня отскакивали.

— Раздвигаешь траву, говоришь? А зачем? — рассеянно обратился я.

— Так ведь чудо же там! Там — чудо! Гриб! Грибы — это необыкновенные продукты сельского хозяйства! Ни фрукт, ни овощ — ничего, а — все! — продолжал кричать Страдаев.

И только тут я заметил, что перед ним стоит эмалированная мисочка, полная до краев. А рядом помещается то самое, по-видимому «козырное», ведро. Тоже эмалированное, прикрытое аккуратненькой тряпочкой.

— Пожалуй, и куплю,— сказал я.— Поджарю на сливочном масле.

— А почем продаешь? — раздался вдруг твердый голос.

— Совершенно по дешевой цене,— растерялся Страдаев, а я обернулся и обнаружил за спиной юного милиционера в красивой форме.

— Врешь! Собирайся! — сухо заявил представитель порядка.

— За что? Куда? — запричитал Страдаев.— Светка, Валерка — детишки! Своими руками. Плод усилий рук,— ныл он.— Вот и товарищи, например, могут подтвердить.

Милиционер тем временем крепко взял его под локоть. Я открыл рот:

— А ведь и правда, он — ничего,— сказал я.

— Так и я — ничего,— рассмеялся милиционер.— А только существует порядок. Торговать надо в специально отведенных для этого местах. Вот сейчас составим протокол, штрафанем, а потом и пускай идет на все свои четыре стороны.

— Я — бедный,— сказал Страдаев.

— Опять врешь. У тебя один пиджак тридцатку стоит,— справедливо возразил милиционер и поволок Страдаева.

Я сначала как-то немножко разгорелся, и мне даже

захотелось Страдаева идти в отделение спасать или сочинить фельетон о том, что торгово-закупочные организации города плохо организовали закупку и торговлю грибами, отчего и появляются около гастрономов различные страдаевы.

Но после резонных слов про пиджак мне его спасать расхотелось, и они удалились — юный представитель порядка и корыстный Страдаев, согнувшийся ради жалости в три погибели.

— Светка! Валерка! Детишки! — слышался его удаляющийся голос.

— А! Старик! Видел! Видел? Это же — готовый сюжет! Как раз для тебя! А! Пиши! Пиши! — крикнул случившийся рядом один мой приятель.

И я ответил ему правду. Я завопил, воздев кулаки:

— Подите вы к черту! Надоело мне все это! Надоело! Я про красоту хочу писать и про одухотворенные отношения между людьми. Про то, как кто-то кого-то ненавязчиво спас и как это было в высшей степени благородно! Как седой учитель смотрит на кленовый листок и вспоминает свою прекрасную жизнь! И о том, как влюбленные жили долго, а умерли в один день! К черту! К черту!

Приятель попятился и сказал, что в последнее время плохо стал понимать мои шутки.

А не понимаешь, так нечего со мной и разговаривать

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕСТОКОСТЬ

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

ЗА ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Евгений Анатольевич Попов

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

Редактор О. С. Ляуэр
Художественный редактор Е. Ф. Капустин
Технический редактор И. М. Минская
Корректор Н. П. Задорнова

ИБ № 6991

Сдано в набор 19.07.88. Подписано к печати 02.01.89. А 04103. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Таймс гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14. Уч.-изд. л. 13,78. Тираж 100 000 экз. Заказ № 556. Цена 90 коп. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Попов Е. А.

П 58 Жду любви не вероломной: Рассказы.— М.: Советский писатель, 1989.— 320 с.

ISBN 5—265—00613—3

Имя Евгения Попова впервые прозвучало со страниц журнала «Новый мир» в 1976 году. Напутствие молодому тогда прозаику дал Василий Шукшин, предварив журнальную публикацию своим добрым словом.

Рассказы Евгения Попова отличает стилевое единство, юмор и краткость письма.

4702010201—051

П ——————— 106—89 **ББК 84 Р7**

083(02)—89

90 коп.

Евг·ПОПОВ ЖДУ ЛЮБВИ *НЕ ВЕРОЛОМНОЙ*